

Виктор Потанин НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1р. 10к.





•

6

1

2

3

4

5

7

Виктор Потанин

НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ



Повести и рассказы

Москва
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

Р 2

ББК 84.3Р7
П 64

Автор предисловия И. Стрелкова

Художник Г. Валетов

Потанин В. Ф.
П64 На чужой стороне: Повести и рассказы/Автор
предисл. И. Стрелкова; Худ. Г. Валетов.— М.: Дет.
лит., 1988.—336 с.: ил.

ISBN 5—08—001336—2

В книгу известного советского прозаика вошли повести: «Над зыбкой», «На чужой стороне», «Легкая», и рассказы: «Все пройдет, Мария...», «Северный ветер», «Танцуем без перерыва» и другие — о душевной целостности и красоте простого человека, труженика, о том, как пренебрежение памятью предшествующих поколений приводит к утрате нравственной опоры в жизни, одиночеству и бесприютности существования на земле.

П $\frac{4803010102-512}{M101(03)-88}$ — 316—88

ББК 84.3Р7

ISBN 5—08—001336—2

© Состав. Предисловие. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1988

ДОМ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Виктор Федорович Потанин живет в городе Кургане. В Курганской области находится его родное село Утятское, бревенчатый отчий дом, тихая речка, обелиск на сельской площади с фамилиями погибших в войну — там и фамилия отца писателя, и много его дальней и ближней родни.

Родина... Для людей, среди которых рос писатель Виктор Потанин, это слово было таким же ясным, как хлеб, как земля. «А о них,— написал он в предисловии к одной из своих книг,— без нужды не говорят».

Там же, на курганской земле, живут и герои книг Виктора Потанина. Настоящие писатели не ищут своих героев где-то по свету, а знают их очень близко и давно, с самого раннего детства.

Надо сказать, что детство во многом определяет судьбу писателя. И тут дело не в том, с каких лет человек ощутил потребность взяться за перо. Виктор Потанин начал писать очень рано. Маленькие рассказы, воспоминания, мальчишечьи клятвы.

Мать будущего писателя была учительницей, очень хорошей учительницей. Она не давала ребятам заданий на дом и старалась развить в них умение творчески осмысливать свою жизнь. И в этом отношении Виктор Потанин оказался достойным учеником своей первой учительницы. Но то, чему можно *выучиться*, еще очень мало

для такого труда, как труд писателя. Если перебрать в памяти детство наших любимых писателей, мы увидим у каждого раннюю чуткость, раннее сострадание к чужому горю, раннюю ответственность за чужую судьбу. Это и есть главные черты таланта — «души прекрасные порывы», как сказал Пушкин. С них все и начинается в становлении писателя. И очевидно, поэтому каждый талантливый писатель непременно обращается в своем творчестве к детству, отыскивает там точки, по которым можно ориентироваться в сегодняшней жизни и в будущем.

В издательстве «Детская литература» уже вышла книга Виктора Потанина «Белые кони» — про детство Степы Луканина. Это было нелегкое детство. Война, скудная еда, тревога за ушедшего на фронт отца, ранняя необходимость для мальчишки взять на себя мужской труд. Но Степа под бременем невзгод не очерствел и не озлобился. Военное детство поторопило развитие детской души, наделило отзывчивостью и добротой. Очевидно, поэтому из военного детства вышло немало талантливых писателей. Василий Белов, Валентин Распутин, Василий Шукшин. К этому поколению принадлежит и Виктор Потанин.

Когда-то, еще начинающим писателем, он получил совет известного прозаика Сергея Антонова насчет двух путей, открывающихся перед каждым вступающим в литературу. Первый — перестать быть индивидуальностью, отказаться от своего видения мира, работать по шаблону, сочинять серые поделки. Второй — оставаться мужественным, беречь свой талант, развивать его своеобразие.

Выбор тут не так прост, как может показаться вначале — ведь ясно же, что второй путь правильной. Однако первый-то легче! И к тому же этим путем нередко быстрее приходят к шумной популярности, к тому, что кажется всеобщим признанием, хотя на самом деле это всего лишь мимолетный успех, который не убережет от неизбежного забвения. «Ты стал немодным — вот расплата за то, что модным был когда-то», — сказал о таких легких лаврах Маршак.

Виктор Потанин — и это видно по тому, что он написал, — идет вторым путем. Не спешит дать в печати интервью, над чем он сейчас работает. Не мелькает на телеэкране. Сидит за своим письменным столом и пишет.

И то, что вышло из-под его пера, не спутаешь ни с чем другим.

Проза Виктора Потанина... О ней уже написаны серьезные критические исследования. Его называют мастером слова, потому что он умеет «рисовать словом» — есть у критиков такое определение мастерства писателей, умеющих передать живую жизнь во всем ее многообразии, так что читатель начинает чувствовать и дуновение ветерка, и холод утренней росы, и запахи пашен и полей. А для читателя такое чувство реальности всего, о чем написано в книге, есть одно из условий, по которому он судит, правду говорит ему книга или нет.

Но для этого, конечно, надо быть и самому настоящим читателем. Тогда, при чутком и вдумчивом чтении, будешь удивляться еще и тому, какой энциклопедией жизни являются повести и рассказы Виктора Потанина.

Энциклопедией мы называем справочную книгу, содержащую сведения по разным отраслям знаний. Так вот, повести и рассказы Виктора Потанина дают всю полноту представления о делах и заботах, составляющих жизнь рядового труженика нашего времени. Энциклопедичность Виктора Потанина особенно сказывается в том, как он описывает беседы и споры своих героев, ведущиеся с нашей российской дотошностью и непременным желанием вырешить даже в беседе со случайным спутником самые коренные вопросы бытия. У Виктора Потанина в повестях и рассказах не встретишь «маленького человека», у него каждый — индивидуален и поразительно интересен. Причем писатель никого не представляет нам как бы с припиленным на виду ярлыком «положительного» или «отрицательного». Читателю предстоит самому добираться до понимания, кто есть кто. Возьмите хотя бы Веню из повести «На чужой стороне». Все в деревне его жалеют, и читатель готов сочувствовать начинающему невезучему художнику. Тем сильнее наш гнев, когда Веня раскрывается во всей своей злобе и неблагодарности к своим корням на земле, к родному дому. Умеет Виктор Потанин подвести читателя к размышлениям о том, как же все-таки не просто прожить самую простую и обыкновенную жизнь.

Думается, что включенные в эту книгу повести и рассказы не нуждаются в подробном разборе и пояснениях, что хотел сказать автор. Пусть каждый ищет и найдет там свое — главное и сокровенное. Виктор Потанин не раз

говорил, что пишет для молодого читателя. Потому что будущее в руках молодежи. Юношеская искренность прозы Виктора Потанина может многое дать для развития души, научить любви и пониманию, возвысить чувства и мысли.

Ирина Стрелкова



ПОВЕСТИ





НАД ЗЫБКОЙ

1

В тот вечер были именины. В коридоре шумели парни, курили, потом шли вызывать девчат, и девчата выбегали к ним веселые, покорные, готовые ко всему. В угловой комнате играла радиолка. Я сидел за столом в этой комнате и грустил. Именины были мои, а мне не хотелось стариться, да и угощение кончилось. Скоро все гости разбрелись по общежитию.

В комнате остались трое — я, Петро и Оня. Не хотелось никому говорить. В молчании тоже не много радости, и Оня поставила пластинку «Брызги шампанского». Простая музыка, с длинным рыданием, захлестнула печалью, и Петро закурил. Его глаза цепко сузились, но музыка скоро кончилась, и он ушел в коридор. Я кивнул Оне и поставил ту же пластинку.

Пластинка рыдала, а мы танцевали. Я видел близко ее лицо, ее белую крупчатую кожу и прямые внимательные глаза. Видно, сильно сдавил ей пальцы, она вздрогнула, но голос вышел тихий, утешный:

— Надо ж! Надо ж! И сильный парень-то у меня, и волосы-то — из кольца в кольцо...— Она легонько потрогала мой висок и засмеялась.— Вот какие мы нынче хорошие, да всегда бы так...

И Оня опять засмеялась и опять заговорила, но я слова слышал, а разобрать их не мог, да и мешала близость ее лица, на которое все еще боялся смотреть. А она говорила что-то семейное, милое, и голос был

материнский, ровный и утешительный, потому стало стыдно: что́ это она так со мной? А может, и совсем не материнский был этот голос, а какой-то иной — таинственный, приближающий навсегда. Я ведь воспитывался у бабушки, и голос матери слышал редко, по праздникам.

Оня нашла мои глаза, я их отвел, но все равно обрадовался, все равно захотелось взглянуть вперед, еще ближе сдвинуться, захотелось сказать в эти глаза такое же ясное, и они уже были рядом, совсем рядом — только наклонись к ним... Музыка заиграла громче, поднялась кверху, опустилась и опять поднялась. Я посмотрел вниз. Увидел и глаза, и губы, и опять было хорошо. Почему хорошо мне, почему кругом тихо, почему стены медленно наклоняются от меня? Будто укачивает кто-то, и музыка ему помогает, и глаза ее не отпускают меня.

2

Мы жили в одной деревне, вместе поехали в институт. Повез нас в город школьный конюх Карпей Васильевич, многодетный крепкий старик. В дороге часто останавливались, кормили лошадь свежим овсом-кошеником. Брала его из-под сиденья, и всю дорогу от этого овса сладко дурманило голову и хотелось дремать. И еще запомнилось, как стояла над головой бесстрашная птичка прямым и щемящим столбиком и все порывалась что-то кричать. Еле-еле отстала. Я подумал: птичка к удаче, а Оня нахмурилась. Она знала все сны и приметы — когда что сбудется и не сбудется, да и по возрасту была старше меня года на три. В институт нас приняли легко и свободно, сразу дали общежитие, приласкали, и жизнь понеслась вперед. Но быстро остановилась, потому что Оню нашел Петро. Даже и не заметил, когда они познакомились. Петро появился возле нее внезапно, будто и не отходил никогда. Работал он шофером в ближнем районе, в город приезжал часто, сразу приходил в общежитие — и Оня делалась странной и грустной и забывала меня.

...А вот все-таки вспомнила.

Пластинка кончилась, и сразу вошел Петро. Он увидел, как мы разжали руки, и отвернулся. Я почувствовал себя виноватым и разлил по стаканчикам остатки вина. Выпили хмуро за именинника, и Петро опять вышел курить.

Я знал только, что он воевал: правая рука у него сгибалась до половины, а щека внизу вся изрыта осколком. Хоть и молодой был, а призвали, да и сам, говорят, сильно желал на фронт. Может, метил в герои, а попал под разрывную пулю, и пуля та была еще с милостью — лишь повредила правую руку.

Петро долго не возвращался, и я радовался и снова поставил ту же пластинку, потому что в те годы все любили эту пластинку, и я тоже любил. Танго кинулось вверх и зарыдало, я тронул Оню за руку, и мы пошли танцевать. Уже в середине музыки, в каком-то самом рыдании, она погладила мои волосы, и сразу сделалось удивительно, не поверилось; она снова погладила, я дышать не посмел, только потолок видел: как разбегается там желтый кружок от лампочки, как он тихо гаснет в углах, — и там темно уже; потом забылся совсем — куда двигаюсь, что со мной — и вдруг неловко повернул голову и сразу увидел ее лицо, ее глаза, ее волосы, а еще раньше губы задела что-то прохладное — я нечаянно поцеловал ее, когда поворачивал голову. Она не обиделась, еще ближе прижалась, потом засмеялась радостно и сразу стихла, и я опять поцеловал. Стало не страшно, музыка опять бросилась к потолку, заиграла с усилием, а мне уж совсем было не страшно, только одно обижало, печалило: чем сильнее она гладила мои волосы, тем больше проступало в ней материнского — того нежного, обволакивающего, от которого не спастись. Да и говорила она не со мной вроде, не в мои глаза смотрела, не мои гладила волосы. Столько в ее взгляде настало жалости, того сострадания, которое доступно лишь матери.

— Да пойми ты!.. Не изменяю я. Да с тобой же я... — И снова заплакала. — Никому-то тебя больше не надо. Да как это мы встретились! Ой, не надо реветь, а то сынок будет нервный, измучимся...

И она точно очнулась, ладонь поднесла к лицу.

— Какая я пьяная, господи-и. Да я все перепутала. А пили — не пили. А Пети-то с нами нет, да где ж он закурился?

Взглянула на меня робко, потом удивленно, а секунду спустя — сердито. И тут вошел Петро. Наши руки разжались, он отвернулся, и сразу в глаза бросилось — какая чуткая, злая у него спина. Я не мог на него прямо смотреть, еще сильнее испугался его шрама, его молчаливых, по-

корных глаз, а почему — сам не знаю. Подумаешь, потанцевал с ней, пошептался — не жена ведь еще, не засвоена,— и вдруг он обернулся. Она вспыхнула, схватилась за лицо, потом сделалась бледная, повела глаза на меня, в них долгий упрек. И я уже мучил себя и за поцелуй, и за танец, и за счастливое свое лицо, которое только что, еще миг назад, прикасалось к ее щекам, но все равно во мне еще ничего не остыло, а, наоборот, продолжалось, и жизнь вся — прошлая, настоящая — летела в каких-то теплых, сонных кругах, и невозможно представить, что они погаснут когда-то.

Я пошел к столу. Петро взглянул на меня и прищурился, пальцы растегнули на рубашке верхнюю пуговицу, потом полезли за папиросами. И в ту секунду заговорила Оня — и Петро вздрогнул, весь подался вперед.

— Вы понимаете? Слышите? Вот живем мы и хотим всего. Ну, чтоб все у нас было, и счастье было, и чтоб дети когда-нибудь выросли... А успеть-то как? Ну, скажите мне поскорее — как успеть?! И себя вырастить, и детей поднять? Вы слышите? — И она рассмеялась в себя и прикусила губу. Головой покачала.— Как бегут дни! А жизнь-то, жизнь-то одна, и никак ее не растянешь.

— Оня, что с тобой? — испугался Петро.

Она его не услышала.

— И ничто не дается даром. За все платишь и платишь.

— Чем платишь?..— спросил я тихонько, но она улышалась, усмехнулась.

— А вы не слушайте, не слушайте девку пьяную, Анисью Михайловну. У меня сестричка есть, такая хорошая, ты знаешь ее, а Петя не знает. Так она взамуж закаялась. А уж тридцать пять прожила — и несчастная. Так что сдумала? Давай бражку сама варить да пить вместо чаю! А чаек этот быстро подкатит — она и зовет какого-то Коленьку, заговаривается. Сама себе сына придумала, а он, родной, и не бывал в животе... Мужиков-то война прискребла, а второй помет — еще маленький. Вот и воем над бражкой сестра, а ведь тоже зачем-то на свете. А зачем? — Она устало опустилась на стул, на лбу выступил пот, и глаза нехорошие.— Ну, что вы, что оба смотрите?.. Загуляла Анисья Михайловна, а вы смотрите... А музыка-то! Вы слышите? Брызги, брызги, а ведь не вино это, а жизнь наша — брызнет, растает. Ну, хватит, тан-

цевать хочу... Пойдем, Петя?.. Пригласи, Петя, свою невесту.

Я зажмурился от ее голоса, а голос звучал опять, но шел не ко мне, а к нему и был тихий, призывающий — таким шепотом говорят последнее, запрещенное, такой шепот стыдно подслушивать.

Они танцевали, меня не слышали. Волосы у него стали потные, скатались на один бок в липкую челочку, а затылок был круглый, наполненный. Над воротничком шея выступила, и кожа здесь проступила слабая, розовая, как у ребенка. И вдруг Оня остыла — лицо сделалось обреченное, будто прощалось с кем-то, и вот сказано последнее, и уж говорить нечего. Но Петро заметил перемену, и сама Оня заметила. И в тот же миг словно проснулась, что-то вспомнила, оттолкнула его от себя по-веселому, но сразу притянула еще крепче, роднее, а потом закружила, закружила на месте и засмеялась радостно на всю комнату, и я не мог уже смотреть на нее, отвернулся. И сразу кончилась музыка.

Летел снег, летели короткие темные тучи, и луна стояла низко, сердито, по ней пробежали тени. Ветер и начинался у самой реки, и дул с ближней широкой улицы. На другой стороне, по длинному пологому берегу, оживали городские окраины — лепились плоские домики, слабые, смятые временем, послевоенной нуждой. К усадьбам примыкали большие, просторные огороды, занесенные снегом. В огородах по снегу мелькали серые тени — может, то падал, дробился в снегах лунный свет. В домах мигали огоньки, но мигали неясно и отдаленно, как сигналы уходящих вдаль пароходиков, и от этого мигания стало холодно, томило предчувствие. Оня взяла Петра под руку, и тот сразу оглянулся на меня, сверкнул взглядом. Но я все равно шел за ними, тогда он сказал что-то Оне, и они зашагали быстрее. Я тоже прибавил шаг, но догнать их не мог — так сильно они спешили, убегали от меня. Может, так и было, что убегали, — кто знает.

Остановился. Они шли уже далеко, такие живые, отчетливые в лунном свете. Куда торопятся? Зачем идти им в дальние улицы? Потом вспомнил, что у Петра в Заречье есть друг, Петро там и ночует. Но почему он взял с собой Оню? Взял в середине ночи! А может, она еще вернется?

И с этой мыслью пошел обратно. У дверей общежития смеялись девушки, но этот смех был теперь чужой, посторонний, он даже обидел меня, и я в сердцах отвернулся. А глаза мои все время тянулись к дороге, и подумалось вдруг с ясностью, почти с радостью: если сейчас Оня вернется, скажу ей самое последнее, главное — позову ее в жены. Она не возвращалась.

На первом этаже зажгли свет — готовилась к завтраку наша вахтерша. Кто-то выскочил на крыльцо, полуголый, стремительный, и повалился в сугроб. Со мной еще учились ребята-фронтовики, они ничего не боялись: ни снега, ни проруби, — лишь бы весело да хорошо для здоровья.

Посветлело в небе — уже утренний свет. Означились ясно улицы, погасли в городе фонари, но Оня не шла. И тогда стало плохо. Что это — ревность или жалость к себе? Но только думалось: зачем на свет появился, зачем дожил до этих лет, раз стою в таком позоре, в бесчестье, и никуда мне из него не выбраться.

Тихонько пошел к реке. Огни в Заречье уже не горели, по мосту бегала собачонка и тявкала. Увидев меня, бросилась в ноги. Шерсть на спине у ней вылезла до самой кожи — наверно, собаке жилось холодно, — а правое ухо было откушено, болталось на тоненькой живой ниточке. На другом берегу зашевелились люди. Они спускались к реке. Их было трое или четверо, в одной фигурке я чуть не признал свою Оню. Так же и она ходит — высоко держит голову, плечи при ходьбе покачиваются тихонько. Вот и ближе люди, но вместо Они образовалась девчонка-школьница, даже не взглянула на меня, прошагала быстро, помахивая портфелем. Снег у ней под валенками громко поскрипывал, собачонка визжала, и в ту секунду я внезапно почувствовал, что смертельно замерз. В последний раз оглянулся на берег.

Они не было.

3

К весне, по теплым дням, она уехала. Увез ее Петро в свою деревню, там и свадьбу отгуляли. И как она стала жить на дальней чужой стороне — не знаю. Даже узнавать не хотел.

В институте Оня перешла на заочное, стала приезжать

на сессии два раза в год, но я уж боялся встреч с нею. Бывало, подойду совсем близко, даже слышу голос и дыхание, слышу, как волосы на голове поправляет, как они шелестят под гребенкой, сейчас бы окликнуть ее, пристать с разговорами, но в тот же миг словно кто-то остановит меня, будто возьмет за руки, скажет: не надо. Может, гордость меня мучила, измывалась. Давно заметил, что эта гордость мешает нам в самый нужный, в самый удивительный момент, из-за нее-то и проходит мимо столько дорогих часов и мгновений, что потом, в будущем, эти самые часы вспоминаются с особенной затяжной грустью, и уж кажется, до боли кажется, что именно в них-то и было самое счастье, до которого потом добирался всю жизнь, да так и не добрался.

После института направили меня в молодежную газету. На распределении наш декан — старичок Иван Павлович — пошутил: «Отдаем тебя, голубчик, на поруки. От школы легко отделался. Ну, чего теперь — строчи, оправдывайся».

Декан знал, что советовал. На каждой лекции я прятал голову за портфель и писал статьи и заметки, и на фельетон не однажды замахивался, часто и рассказик проскакивал — и ничего с собой поделать не мог. Хотелось подняться над вечностью, понять человека, высказаться, — вот и писал.

Работалось в редакции легко, играючи, будто за тем и родился, чтоб писать срочное в номер, сочинять внезапные репортажи и очерки из деревенской жизни. Я ходил по городу веселый, сияющий, точно всего уж достиг. Особенно хвалил редактор за очерки, удивляясь простому, народному подходу к теме, завидуя языку. А чего завидовать? Я просто вспоминал своих деревенских товарищей — Карпея Васильевича, колхозного бригадира Митю Лебедева, вспоминал бабушку, вспоминал все их слова, движения — и приписывал их своим героям. Выходило легко, со значением, поражало всех точностью, и я сиял. Уже думалось о будущем, о своей книге, я уже писал ее по вечерам, и книга выходила тоже легкая, правдивая, и уже виделось, как держу ее в руках — свежую, гляцевую, с большой фамилией автора на обложке.

Но главное — все время хвалил редактор, угощал си-

гаретами и говорил со мной о сложном, заманчивом: о модных поэтах, о музыке, и даже доверительно читал стихи. Стихи его были личные, такие же молодые и звонкие, как сам хозяин.

Стихи я хвалил, редактор задумчиво мял сигарету и шурил глаза.

Скоро я дошел до того, что перестал пользоваться черновиками, диктовал все подряд на машинку, но все равно выходило складно, возвышенно, и через день появлялось в газете. Стал ездить по всей области, завел знакомства и записные книжки, писал дневник по воскресным дням, и было уже грустно от того, что я так талантлив и надо мной построили крышу. Уже стало тесно в газете, в родном коллективе, надоели летучки и заседания, и я не знал, как уберечься от них. Я почти страдал. Выручали интересные командировки — я любил дорогу.

А издали за мной наблюдал редактор, втайне радуясь, что не ошибся во мне.

Но все в жизни проходит, горе, как и радость, объявляется незаметно. Помню, редактора вызвали в Москву. Его оставили там работать в большой газете, а у нас объявился новенький — короткий желтоглазенький человечек. Особенно удивили всех его уши — огромные, нелепые, они все время подрагивали и шевелились. Но еще больше поразило другое: что этот новенький — теперь наш редактор.

Он меня выделил с первой минуты и с первой же минуты усталился на мою голову желтыми, болезненными глазами, и я вздрогнул. В мутных зрачках плавали кровавые жилки — не то от усталости, не то от злости. Потом у него задергалось веко. Одно веко было спокойное, не мигало, а другое дергалось, не остановишь, и я не мог удержаться от смеха. И он уже потом никогда не забывал этот смех.

Жизнь стала невыносимой. Я боялся даже смотреть в его сторону, обходил его на лестнице, в коридоре, узнавал его еще издали.

Он чувствовал это и посмеивался у меня за спиной чуть слышным дребезжащим смешком. И не печатал мои очерки, считал, что чувства вредны газете, они приводят к лжи, размягчают, а читателю нужны цифры и факты, а не туманная слизь. Я ждал, что меня уволят. И не ошибся. В тот день он вызвал для конфиденциального разговора.

— Даю вам последнее задание. Еще раз проверю. Но постарайтесь по-деловому. Покажите этого человека на фоне соревнования. Он, безусловно, ударник. Не забудьте общий анализ надоя и конкретный. Для меня, конечно, важнее второе... Ну а не справитесь — придется расстаться.

Я медленно взглянул на него. Веко вздрагивало, возле лба вилась муха. Откуда она — на земле еще снег.

Он опять стал говорить со мной сухим голосом, но я уже опустил голову. «А ведь муха все равно в рот залетит», — подумал я со злорадством и не спеша поднялся со стула. Редактор тоже встал, глаза успокоились, и голос стал потише, помедленней, только грудь взволнованно поднималась. Наверно, от злости. И не ошибся.

— Нам Чеховы не нужны. Не по квартире мебель. А в общем, все зависит от вас.

Но задание было интересным. В ближнем районе объявился дояр. Совсем еще парнишка, а обогнал всех доярок и занял в колхозе первое место. Захотелось написать о нем просто и строго — не девка ведь, а сидит с подойником, захотелось о его любви рассказать, ведь должна же быть она, должна же, раз парнишке девятнадцать лет!

4

Поехать к дояру долго не мог. Началась весна, по дорогам — распутица, воробы в талой воде встряхиваются. Дымятся и просыхают улицы. А в полях еще дуло, метелило, и снег обманно проваливался, и была особенно ледяна и простудна снеговая вода. Для такого случая надо особую обувь, в ботинках ехать — считай, прямо на гибель. Я и караулил погоду, ждал морозца. Но весна прибывала, делалось больше солнца, и лучи его подошли совсем близко к земле и настигали и конного, и пешего, и любую машину, и в полях замерло движение — залило водой все большие дороги и дорожки. Вскоре прилетели грачи, в городе уже исчез снег. Улицы запрудили детские коляски, из одеяльцев выглядывали младенцы и высоко задирали руки. А по утрам над городскими крышами поднимались туманы, но они были быстры, мгновенны — всего до первых лучей. Днем на улицах пахло березой и дымом: в ближнем пригородном совхозе жгли на полях

солому. Город вдыхал эти запахи, и наслаждался, и в этом забытьи сделался тише, притаился в новом, радостном ожидании, даже машины шумели по-другому, боясь подавать сигналы; только вострепнулись люди. Ах, как я запомнил ту весну, тех прохожих, которые забирали меня с собой и несли, несли куда-то, и я подчинялся. Все смеялись, говорили громко и суматошно, часто посматривали на небо, и все думали, что с ними что-то случится, должно же, наконец, что-то случиться после долгой зимы, после бурь и метелей, и каждый ждал себе перемен и заранее верил в удачу. И эта вера сняла с одних горе, усталость, другим дала уверенность в своих силах, третьих свела друг с другом. Но мой редактор не изменился. Поглядывал на меня хмуро и с нетерпением, и я решил ехать.

Один знакомый охотник одолжил высокие сапоги, отвез меня на мотоцикле километров за тридцать и высадил. Дальше ехать опасно: колея вся в воде, ближний мостик затоплен, будто прошло половодье, да и рядом не лучше — сугробы осели, а под ними вода шумит. Охотник пожал мне руку и покачал головой: как, мол, дальше пойдешь, да и зачем идти дальше, сидел бы дома, пока не просохло.

За спиной умолк мотоцикл, и сразу сильнее ожила вода. Шумит, перекачивается под снегом, и в этом перекачивании чудится какой-то звон — может, в ушах легонько позванивало или от мотоцикла еще чудился шум. Стало страшно. Это и не страх даже, а беспокойство, ожидание: вот-вот случится что-то нехорошее, — и эти сигналы никогда меня не подводят.

Медленно обошел затопленный мостик, ноги ступили на твердое, потом совсем легко зашагалось, и я выбрался на высокое место. Под ногами была земля, от нее поднимался парок, совсем рядом со мной ходили грачи и собирали соломинки. Глаза у птиц горели ярко и фиолетово и меня не замечали. Я прибавил шаг, но беспокойство не проходило: будто смотрит в спину чужой человек, а я его не вижу. Стал оглядываться по сторонам, прислушался — безлюдье, шум снеговой воды. Изредка громко хлопала крыльями птица. Что со мной? Поднял глаза вверх — и не увидел неба. Большая туча, клубясь, свирепая, быстро падала на меня, вот уж ветерок тронул щеки, уколол глаза холодом — и сразу посыпал снег. Осмотрелся



опять — куда-то пропали все птицы, но все равно стало повеселее, будто шел уже не один, да и ноги шагали уверенней, и сапоги поскрипывали по-веселому, и я сам стал насвистывать. Все равно когда-нибудь дойду, дождется мой дояр, не убежит. А с неба валился не снег, а мелкий снежок. Будто полетели белые мухи, живые, назойливые, они залетали за воротник, и тело ужималось и вздрагивало, как от уколов иглы.

Кружился снег, холодил щеки, но чудилось мне тепло, зеленое лето, рыбалка — полный рай с зари до зари, живи вовсю, пользуйся раем. Дышалось так легко, что не чувствовал воздуха. Только сильно ныли ноги в резиновых сапогах. Думалось тоже легко, без усилий, и все представлялся мой дояр. Хотелось быстрее с ним встретиться, хотелось увидеть его девушку, чтоб потом написать о любви. О любви в газете мы писали при старом редакторе много, почти в каждом номере, и я сам думал о любви постоянно, но думалось о ней как-то устало, привычно, будто я уже все испытал. Чудят, мол, люди, встречаются, женятся, потом ссорятся, остывают. Но уж пошли дети, куклы, колясочки, а с ними — новые ссоры, тоска.

В редакцию много приходило любовных писем, люди звали кого-то вернуться к семье, бросить новую любовь и уйти к прежней, молили вспомнить детей, приласкать старость, и делалось горько от этих писем, и уж не верилось ни в любовь, ни в нежность, ни в первое чувство, ни в последнее, да и самому не везло. Девушки думали обо мне слишком хорошо и торжественно. Им представлялся муж, обеденный стол, ребятишки, а мне хотелось в общении духовности, высокой неразберихи чувств. И это стало для меня тоже страданием — и почти не осталось надежд на счастье.

И снова представлял своего дояра, уже заранее жалел его, чувствуя все его мысли, желания, и их тоже было жаль, да и какие на такой работе желания. Но особенно жалел его мать — страдает, наверное, гнетется, старая, ведь погибает сын среди коров и навоза, да и никто в мужья не возьмет такого, посторонится. А может, не прав я, может, гордится парень собой, может, ходит веселый и непреклонный, как генерал, может, радуется старая мать за сына. И в голове быстро ложились строчки будущего очерка, веселые, первозданные, и еще сильнее хотелось увидеть дояра.

Идти теперь труднее. Снег повис над головой тяжелыми хлопьями, закрыл дорогу и небо. Стало еще тише, хлопья скользили бесшумно, а потом вроде проваливались куда-то, и сам я уж вроде не по земле иду, а где-нибудь по луне, — так тихо везде, безмолвно и жутко. Шагов своих не слышу, хочу услышать — и не могу, только донимает дыхание. Спереди — снег, над головой — снег, и сделалась такая тоска по людям, по живому голосу, по живым лицам, что захотелось сейчас же, немедленно, кого-то увидеть, сказать кому-то хоть одно слово, чтоб ощутить себя здоровым, полногласым. Но это же невозможно. И от этой тоски, от невозможности, от все еще не остывшего ожидания чего-то я зажмурился. Когда открыл глаза, сразу заметил двух всадников. Будто поблазило. Но нет, не проходит. Они колыхались в снегу, как в тумане. Кони шли тихо, будто на ногах пуги. Всадники покачивались, молчали, снег заносил их с головы. Ни топота копыт, ни ржания — едут точно по воздуху, только спины покачиваются. Я взмахнул рукой, громко крикнул, всадники поднялись в седлах — я все это не столько видел, сколько чувствовал сквозь серую пелену, — и вдруг всадники испуганно завизжали, загикали, но кони бежать не могли: видно, снег проваливался и копыта застревали в снегу. Закричал еще громче, просил подождать, остановиться, но всадники опять завизжали, заболтали ногами, и вдруг один резко покачнулся и упал в снег. Другой сразу остановился и спрыгнул на дорогу. Я догнал их и сразу потерял голос. Хочу что-то сказать — и не могу: то ли чудится, то ли наяву. Всадники оказались ребятишками. Ехали они на быках. Почему на быках? Но быки были живые, шевелились и кротко моргали. Они казались такими тихими и походили с головы на состарившихся собак. К тому же покорно болтали хвостами. Я так засмотрелся на них, что забыл про ребятишек. Но скоро вспомнил, оглянулся — они смотрят на меня, как на бандита. Сделал шаг к ним, — ребятишки вскочили на быков и замахали кнутиками. Быки потрусили вперед мелкой усталой рысью. Я улыбнулся, пошел следом. Ребятишки все время оглядывались, махали кнутиками, мне стало весело, и я прибавил шаг.

Совсем близко залаяли собаки, ребятишки засмеялись громко, стали чаще оглядываться, ободренные близостью жилья, и у меня тоже родились новые силы, ведь впереди деревня, куда я так рвался.

Возле домов совсем тепло, тихо, все завалины наголе, над ними парок курится. Быки привернули к очень большому дому и остановились, опустив головы. Ребятишки спрыгнули почти одновременно и уставились на меня. Быки начали оглядываться на ребятишек и помыкивать, точно без них тосковали.

Старшему мальчику можно было дать лет семь или восемь, в глазах уже проглядывалась острая мысль или подобие мысли, ресницы напряглись от внимания. А младший, наверно, прожил на свете лет пять всего, не больше, зато казался по всем статьям веселее и бойчее. Младший и нарушил оцепенение, стал кидать в своего друга снегом и целил прямо в лицо, а старший только добродушно смеялся, закрывая щеки руками. Я подошел к ним вплотную.

— Где тут Палины живут?

— Мы — Палины,— ответил мальчик постарше и улыбнулся.

— Как так? — Я удивился, совсем не поверил. И даже подумал: наверное, разыгрывают.

— Палины! — подтвердил мальчик, опять улыбнулся, но уже гордо, заносчиво.

Теперь я рассмотрел его одежду: шубка-дубленка, на ногах — кирзовички, шапка хорошая, из кролика. И на другом мальчике такая же шапка, такая же дубленка, только на ногах не сапоги, а валенки с галошами. Но все это в глазах задержалось недолго, ушло без следа, осталось одно удивление: неужели все-таки Палины?

— А Иван Палин — ваша родня? — спросил я у старшего, и тот сразу прищурился.

— Он у коров. Подожди дядю Ваню в ограде.

Я медленно пошел к воротам. Быки разом посмотрели на меня и подняли рога. Старший успокоил:

— Они не будутся. Смирёны.

Зашел в ограду. Сразу увидел женщину. Она сходила с крыльца: в одной руке ведро, в другой — чугунок. Увидев меня, замерла. На плечах такая же шуба-дубленка, овчина выкрашена до густой черноты. Лицо широкое, скуластенькое, глаза большие, еще не испорченные старостью, в них — сухой огонек, любопытство.

— Здесь живут Палины? — спросил я еще раз: надо было о чем-то спросить.

— Здесь с утра жили,— и огонек в глазах взметнулся нехорошо и прицелился.



— Мне Ивана надо, Ивана Палина...— У меня вышло тихо, нерешительно, да и смущали настойчивые глаза. Женщина помолчала, скулы сдвинулись с места и напряглись.

— Иван Иванович у коров. А может, к Таньке убрался. Дело-то к ночеве.

— К какой Таньке?

— А ты проверяющий, аха? Надо ж: отчет-подотчет.— Глаза ее смотрели в упор.

— Я из газеты.— И голос в этот раз получился отрывистый, да и обидела недоверчивость.

— Этого не хватало. Подкатила милиция. А мы люди не дурны, никого не избидели.

— Я хочу про вашего Ивана написать. На всю область пойдет,— сказал я добрым, убеждающим голосом.— Все будут читать, прославится,— добавил уже тихо и улыбнулся, чтоб убрать ее недоверие, приблизить к себе. Но в глазах у ней опять сухой огонек, сжала сухие свои губы.

— А у нашего Ивана есть отчество. Отец был у него — не в огороде нашли дитенка.

Она поставила на снег и ведро, и чугунок, тяжело вздохнула:

— А чё, приказ написали, чтоб мужику сидеть под коровой? Само последнее дело, по-нашему. Да и не по своей воле сынок полез под корову. Вначале думала — сглазил кто, а потом вижу — из-за Таньки-вертючки. Уставлялась да уставлялась да голяги показывала, летом-то всё вместе купались на Тобольчике, да и накупались — приманила к себе парничка. Иван Иванович наш и пожелал в коровник, и группу первотелок набрал, а по весне по той, как стали растеливаться, и корма были — парню-то возчики повкуснее сыпали, и концентраты сыпали,— гляжу: сынок-то доит и доит. И Танька рядом, Пахомова, в новом шитье под коровой,— совсем хорошо. А как с Танькой поссорится — по работе отплачиват. Обгонит, а та похихатывает: все равно, мол, мой — крутись не крутись. А сама малехонька — со стакан.

— Вот и напишу про обоих. Как любовь помогает.

Женщина вздрогнула, но быстро успокоилась. Посмотрела медленно на мои сапоги и засмеялась, но смешок вышел ехидный, буравчиком.

— Ох, востря-як!

— Так у них же любовь?
— Ох, неладно. Прямо в душу без смазки. Милиционер и есь.

Она опять засмеялась, потом прислушалась к ребятишкам. Они кричали, повизгивали. Я кашлянул.

— А ты хорош говорок. Напишу, напишу, а ты присмотришься сперва. Про скотину што решать — и то к скотине месяц-другой присматривашься: чё да почему, а ты уж и давай любовь разбирать. Ты детный, бездетный?

— Бездетный.

— Сразу видно по фасону.

Лицо у женщины успокоилось, и взгляд стал уже добрый и приближающий, да и ребятишки за оградой сильно смеялись; я чувствовал, как мил и дорог ей этот смех. И мне уже захотелось опять говорить с этой женщиной, захотелось к ней в дом зайти — не в ограде же стоять, разговаривать, — а в доме напиться чаю, достать свои блокноты и записать туда свои новые мысли о человеке.

Я любил тогда неторопливые, задумчивые разговоры, любил узнавать от людей самые последние, далекие тайны, любил и сам исповедоваться перед незнакомым и находить в этом утешение. Но особенно нравилось слушать, замечать, как человек в нервной краске, в смущении по сторонам оглянется — не слушают ли чужие, не подсматривают ли, — а потом начинает говорить, говорить. Что тянет его к откровенности, к этому запретному, самому тайному, горькому до слез, до самоистязания, — что его тянет к этому — никогда не знал. Только русский способен на эту боль, испытание ведь, испытание же — говорить о себе перед встречным и поперечным, перед прохожим, перед проезжим, вообще перед чужим человеком. А уж потом и про этого человека забывает — лишь бы говорить, освободиться от последних тайн и мечтаний, от последних надежд и горя. Поговорит, освободится — и вроде легче, вроде свободней опять: проглянуло небо, и жить захотелось, и пришли надежды. Только часто страдает сам же от такой откровенности: потому что уже тянется за ним прозвище дурачка-простачка и уж ничем от него не отмыться.

— Достаются нам детки... Достаются, — повторила задумчиво женщина и позвала в дом.

В прихожей сняла шубу, шаль осторожно свернула

и положила на полку под вешалкой. В доме было светло от больших окон, от высоких потолков и чисто. Я тоже разделся. Хозяйка стояла посреди комнаты и наблюдала издали. Глаза выжидают. Я ближе подошел и вздрогнул от неожиданности. Передо мной стоял другой человек. Только лицо такое же скуластенькое, но кожа на лице уже старая, потемневшая, и глаза теперь не кажутся молодыми — даже цвет не поймать, только зрачки ясно означились в глазной белизне. Может, и бывает так: глядишь издали — человек статен, ясен голосом; поближе присмотришься — куда стать потерялась, и голос с хрипотцой, и глаза увяли, покорно моргают. Так и здесь. Но меня отвлекла хозяйка:

— Проходи вперед. Чё торчком?

Я вернулся в прихожую и снял сапоги. Зашел в одних носках, и это понравилось.

— У нас всегда чисто-пречистенько. И детей приучили.

Сели возле стола: я с одного бока, она — с другого. Лицо вблизи совсем старое, уставшее, а руки и грудь полноватые, и эта полнота — нездоровая: или сердце болит, или ноги плохо ходят. Прошла минута, глаза ее — опять на меня, что-то ждут, да выдать себя боятся.

— Хочу видеть Ивана Ивановича, — ответил я на ее безгласный вопрос. — Дояр-то — редкость. За границей полно их, а у нас брезгают мужики. А ваш — просто герой, напишу для примера.

— И не выдумывай. Хоть бы по своей воле, а то эта вертучка ухайдакала. Не к нам будь сказано — еще в сношки приведет да посадит себе на шею. Как ты думаешь?

— Может, любовь у них? — Меня вдруг потянуло на спор, сам на себя разозлился.

— Любовь — для детей. А они, болтают, для себя сложились. Каки тут дети... Подозреваю, что Танька уж и потрепана, то-другое повидала. Как ты думаешь?

— Да никак не думаю. Мое дело — сторона, — засмеялся я, поудобней устраиваясь на стуле.

Мне уж многое начинало в ней нравиться: и глаза, хоть и усталые, но мягкие, и голос, тихий, поблекший от прошлых забот, и одежда, хоть и поношенная, но чистенькая, и сама женщина была чистенькой, аккуратной, как синичка. Скажешь лишнее — вспорхнет и улетит. Только эта была посмелей синички.

— В милиции, говорят, полно работы. Плачет робе-

ночек, потерялся,— успокой. Пьяный на дороге землю ест — подыми да оштрафуй...

— Так это в милиции! — сказал я громким, рассерженным голосом, но она нисколько не унялась.

— А кто тебя проверит? Ну-ко! Ну-ко! — И она засмеялась. Быстро смех прервала: — Как же нам не бояться тебя? Вся моя родня боязлива. Как-то дядя мой, по отцу дядя,— Прохор Кузьмич — ехал в поезде, да пьяненький, да уснул. Проснулся, а рядом на полке — милиция. Ну, думат, пока спал — так арестовали. «Можно,— говорит,— напиться сходить?» — «Сходи»,— милиционер позволят. Ладно — напился... «А в уборну-то отпустишь меня?» — «Мне чё, сходи»,— милиционер позволят. Ладно — сходил. Кака-то уж станция замелькала, закричал народишко. Милиционер засобирался, и Прохор Кузьмич за им. Сошли — хорошо. «А ты куда, деревня лохмата?» — милиционер оглянулся. «Да я же твой арестованный»,— отвечает. «А кто тебя арестовал?» — «Да ты!» — мол. «Ты чё, пьян ли, притворяешься?» — вспылил этот в шинелке, зафыркал. А уж поезд ушел, теперь ори-заорись. Вдвоем остались возле овражка. На другой-то стороне овражка, за рельсами,— и сама милиция. Милиционер туда, и Прохор Кузьмич за им посыкнулся. Тот, в шинелке, хохочет-заливается. Вот и в милицию зашли, вот и стемнялося, у дяди-то уж и руки затряслися: как теперя домой? Без ареста, а не ускочишь, хорошо — тот, в шинелке, пособил, отправил под утро... Вот так и живем, человек молодой. Говорим да говорим да свою головушку и подставим. Секи, руби, милуй... Вот и я, стара дура, себе петель напетляю, чё скажу худо, неладно, а ты — тут как тут. Чик-чик — и запутал...

— Да я же из газеты,— сказал я тихим, умоляющим голосом, но терпения уже не было, и закипала злость на нее.

И сразу стал придирается к ней: и взгляд уже не понравился, больно хитренький; и одежда плоховата, застирана, поди, в чемоданишке лежат лишние деньги, а в магазин сбегать скупится; и голос какой-то осипший — наверно, в молодости винцо попивала или, хуже того, покуривала. В своих мыслях я скоро совсем уверился, да и не мог я никак ошибиться: слишком долго проработал в газете, научился читать человека на расстоянии.

— Ну и чё ты про сынка моего напишешь? Как круглые

сутки вымя теребит, если в редакции, дак... Ох и нехорошо! Вот посади тебя под корову — ты стал бы сидеть?

— Не стал бы,— сознался я сразу и еще больше уверился: нет, она хитренькая, с подковырком. А чего меня ковырять?

— Не стал бы, говоришь? А ему желашь? А сынок мой тоже не в поле подобран. Разве бы пошел под корову, кабы не Танька? Оторвала у нас право крылышко. В само горе волокет. И Анисья Михайловна подтвердит.

— Какая Анисья Михайловна? — спросил я и вздрогнул, будто ступил на иголку, лицо холодком опахнуло, нехорошим, больным холодком.

Уж прошли годы и годы, а не забылась она, не источилась в памяти, а забыть сильно хотелось, чтобы не мучила. И сейчас, при звуке ее имени, я вздрогнул и напрягся от страха: вдруг увижу ее когда-нибудь, вдруг заговорю с ней, а вдруг и она ко мне тоже стремится, помнит и вспоминает, думает по ночам? Все это мелькнуло в голове мучительно быстро и так же быстро прошло, и вернулось успокоение — столько лет не виделись, так уж не увидимся. А в свою деревню она, говорят, не вернулась.

Опять заговорила хозяйка. Прошло мое минутное забытье, очень хотелось курить, но я не решался.

— Какая-затакая! Наша Анисья Михайловна, сноха моя, всему дому голова,— сказала хозяйка удивленным, сдавленным голосом: неужели, мол, не знаешь, да кто ты после этого. Но, странно, от ее голоса я совсем успокоился — мало ли на свете похожих имен, совпадений. И поспешил уговорить ее:

— Я в вашу семью не лезу. Просто вспомнилась одна девушка. Дело давнее... Лучше на ферму сводите, а то времени мало.

— Мало время, так зачем ехал. А до фермы — полтора километра, бегом не ускочишь. А мне еще управиться надо, да в магазин за бутылочкой надо, гостей жду дорогих, саму хозяйку. От самого моря едет, грелась там, а сейчас в дороге нашей измерзнет, вот и как раз бутылочка.

Совсем успокоился. Зачем моей Оне ехать к морю, да еще в зимние месяцы? И странно, как только назвал ее в уме «моей», как только вспомнилось ее лицо, ее голос, будто вчера еще слышанный, такой близкий, родной, так опять поднялось предчувствие, да и женщина стала вглядываться в меня очень внимательно, словно увидела только

что или обвинить желает. Но это держалось мгновение, потом прошло, в комнате посветлело, — это снег перестал и выглянуло небо. Женщина вышла на кухню, открыла форточку и ребятишкам что-то сказала, но они не перестали кричать. Она вернулась все равно довольная, с ласковым хмыканьем и покашливанием, и на меня посмотрела с вызовом, и вдруг улыбнулась:

— Как они растут нонче! Не узнает Анисья Михайловна...

И опять я насторожился. Какая Анисья Михайловна не сходит с ее языка?

— Молодая у вас сноха?

— Ох и востряк! У снохи-то муж есь — законный, единственный, наш дорогой Петро Иванович. Вот у него и спрашивай. Где-то уехал за ней на станцию. Боюсь — нету дороги, завязнут. Да, поди, не завязнут, не допустит...

И после этого опять что-то рассказывала, но я уж не слышал: голос бубнит рядом, а слов не понимаю, очнуться не могу, поднять голову не могу. Вот оно, предчувствие! Но все равно взял себя в руки, решился на последний вопрос:

— Петро Иванович ваш работал в сельпо?

— Работал, конечно. И сейчас там шоферит. Дают уж за выслугу.

— Анисья Михайловна ваша жила в Поляковке? И когда это было?

— Жила она. Мать теперь оставила там да сестру. Сестру несчастну — измаялась без детей Клаша. Спаси ее, сохрани.

Верить — не верить, но уже не могу не верить, хоть и надеюсь на что-то. Неужели это дом ее, а эта женщина — ее свекровка, а там бегают ее дети? Нет, быть не может. Уж слишком все просто, а значит, неправда.

— Ты чё, знаешь Клашу-то? — опять бубнит рядом ее голос, но я почти не разбираю слов.

Но неужели она про ту Клашу?.. Видел ее месяц назад в родной Поляковке. Ездила, скреблась по снегу на новом велосипеде. Педали терялись, велосипед не давался, сворачивая в сторону, и Клаша валилась в сугроб, да опять целилась ехать, да опять падала. На меня взглянула насмешливо, подняла одну бровь. Она уж давненько на меня посматривала: что, мол, осиротел, женишок, дожился до ручки.

— Больно много знашь, человек молодой. Чево-то забавненько. Не к ночи будь сказано...— опять возник ее голос.

Я очнулся. Может, все-таки совпадение. Не может жить она в этом доме, сидеть за этим столом, хоть убей меня, не может.

— А где мать у Анисьи Михайловны?

— В Поляковке. Осенесь большака отправляли к баушке, Виктора Петровича. Десять дней прожил — заревел: повезите. И повезли обратно. Клаши, говорят, испугался. Она его сонного схватит в беремя и зацелует, зацелует. Разе дитенку понравится? Привезли. А младший, Александр Петрович, еле братана дождался.

Я поднял голову и кивал ей в ответ. Хозяйка опять смотрела на меня испуганно, напряглись глаза ожиданием.

— Да не из милиции я!

— Едва ли.

Щеки у ней покраснели, кровь подошла к самой коже, и сжался лоб. А глаза неотступно изучают меня, в них и страх, и любопытство, и неосознанная мольба о прощении, как у всякого робкого пред лицом власти. Но постепенно мысли опять начали отходить к Оне, к тем именинам, и представлялось снова, как танцевали, как музыка путалась в своем рыдании, как вино пили, как целовался. Брызги, брызги... Брызнет, растает. И рядом лицо ее было. Нет, не она!

— В институте она училась?

— Училась, батюшка, училась. Петро Иванович там и высватал... Так и запиши в документ. С нас уже раз снимали допросы...— И вдруг заплакала.

О чем она плачет? О чем все-таки плачет? Не могу слышать я женский плач, всегда ухожу от него или убегаю. Но куда тут убежишь? Лицо ее стало почему-то знакомое, будто виделись где-то. А может, и не виделись. Просто бывает такое лицо, которое встретишь на пароходе, или в поезде, или на чужой деревенской улице, а потом тужишь память и силишься: где видел его,— да так и не вспомнишь.

Щеки у ней припухли, стали добрее, под глазами тоже припухло, не то от слез, не то мешочки повисли, а глаза сделались совсем покорные, виноватые, как у тех быков,— хоть наказывай их кнутиком, хоть по шерсти по-

гладь. А на лице, заметил, проступила легкая оспинка, по шее прошла эта оспинка и по рукам.

— Таки допросы пережили...— и опять слезы, скулы подрагивают.

Видно, тяжело ей, а сдержаться не может, видно, пришло на память плохое. Но почему плачет, почему не стыдится меня, человека чужого, проезжего,— поберегла бы лучше нервы для своего, семейного, случая.

— Не плачьте, не тратьте слезы. Я не из милиции. Я учился с Анисьей Михайловной.

Сказал и сам испугался своего голоса. Так, значит, я в ее доме сижу, и скоро сама нагрянет. Ну и дояр, ну и завел ты меня далеконочко,— и сам над собой усмехнулся. В своей деревне не привелось встретиться — судьба водит, разводит,— так вот где пришлось, не чаял и не гадал. Хозяйка смотрит на меня пытательно, исподлобья.

— Поди, ложно наводишь. Поди, переодетый какой — всяко бывает.

5

Брызнет, растает, жизнь пролетит. У нее уж дети, и муж, и свекровь, и, поди уж, многое в судьбе своей сделано, переделано, а для меня прошли эти дни и растаяли. И вот уж из газеты скоро уволят. Сейчас подумалось об этом спокойно и безнадежно — все равно ведь уволит редактор, не поймет, не простит. Да и прощать что? Какой вред я принес ему, в чем подозревать меня?

— В какие годы учился? — опять ожила хозяйка. Лицо ее освободилось от слез.— Как скажешь, так и поверю, может быть.

— Лет десять назад.

— Совпадает.

В глазах ее витал интерес, даже и не интерес уже, а большое внимание, зрачки сухо поблескивали и тянулись ко мне.

— Совпадает. А вот определи, котора тут Анисья Михайловна наша? Котора тут расположилась, а котора ее сестрица? — И хозяйка встала со стула и подала мне с этажерки толстый синий альбом. Сама открыла первую страницу.

На снимке я сразу узнал Оню с Петром. Они сидели

на одном стуле, рядом стояла Клаша, а в ногах у них примостился мальчик в светлом костюмчике, в бескозырке. Мальчику всего год или два. Я положил ладонь на фотографию и тихо сказал:

— Слева Анисья Михайловна, а рядом — Петро. А стоит с ними Клаша.

— Петро Иванович, аха... А под ними Виктор Петрович — большак. Он вот про быков-то и узнал. В бригаде выбраковали на мясо, к посевной на супы, а Виктор Петрович к одному приходил да ласкал его, трогал, а потом взял и объездил. И Александр Петрович туда. А чё — пять лет в феврале было меньшому. Мужик. Ему другого быка подготовил Виктор Петрович. Вот и ладно. Да и смирёны попали, а вон какие туши.

— Забавные у вас ребята... — сказал я тихо и улыбнулся, пробуя забыть эту фотографию, но не мог, да и было опять беспокойно.

— Не забавны, а жалостливы. Чужих кошек да собак кормят, а о своих уж — не говори. То голубей приманили. У нас под крышей-то голуби, да-а! Всех-то они любят; поди, где-то зачтется. Или нет?

— Как им быков разрешают? Колхозные ведь.

— А чё колхозу — воевать с дитями? Да и на мясо, говорю, выбраковали быков. В производители ладили, да не получилось, а потом подхлостили да зиму-то кормили даром. Вот в поле выедут — и заколют трактористам на суп, на свежак.

Я представил, какое ждет ребятишек горе, как они заплачут, когда узнают про быков.

— Горе будет для ребятишек.

— Горе, горе... Куда-то бы их увезти на это время, запечатать. Ну а куда опять с быками? Себе забрать, да на племя. — Она засмеялась, довольная, но вскоре оборвала смех. — Значит, учился с Анисьей Михайловной. Значит, надо к тебе с доверием... Ну чё, прости меня, дуру. Худо я тебя приветила, никого на стол не выставила — ни ложки, ни поварешки. — И она убежала на кухню, да быстро, по-молодому, со спины совсем тридцатилетняя женщина, а то и помоложе.

Скоро из кухни потянуло густым мясным запахом, забренчали тарелки, а потом и сама вышла.

— Взгляни-ка в окошко, не поленись. Замаялся Виктор Петрович, поди, осип.



Я выглянул в окно. Старший лежал в сугробе, а на нем сидел младший брат и пытался накормить его снегом. Но ничего из кормежки не получалось, и младший арался придавить старшего животом. И удалось придавить. Оба в снегу, хохочут, оба смотрят на окна. Нас быстро заметили и захохотали еще громче, напоказ, будто не в снегу лежат сейчас, а где-то на сцене и своим выступлением очень довольны.

— Арти-исты! — вырвалось у меня невольно, а хозяйка засмеялась, глаза закрылись от смеха.

— Ты бы поглядел, как они спать ложатся. Добры наезднички. Все подушки в ходу. Правда, Виктор Петрович — помирнее...

Интересно, почему она всех навеличивает и не устает — Александро Петрович да Виктор Петрович, — а они еле до букваря доросли. И только подумал так — и завертелось, поднялось в голове внезапное: Виктор, Виктор Виктор Петрович... Почему имя такое? Могли и другое дать, а они Виктором нарекли.

— Кто имя дал старшому — мать ли, отец? — спросил я вздрагивающим голосом и зажмурился. А вдруг мать?

— Мать дала имя. Настояла. Петро Иванович посыкнулся — Петром бы, мол, по отцу, — но она на него руками-ногами. Смирился. Отошел от нее. До шести месяцев докормили, такой ухобака первый-то сделался да толстушкой — и уж на горшок сам, сам, как тут и было. С другим-то помучились, а этот — как по часам: как мыркнет — так и подставляй горшок. И от больницы избавил — не заболел никак.

— Так, значит, мать придумала? — спросил снова, но уж знал заранее, что ответит. И сразу почувствовал, как вспыхнули мои щеки, да и она что-то заметила во мне особенное — посмотрела пристально и с задержкой.

— Сама мать придумала, сама родила — сама и придумала... В сельпе тогда все выпили, мужики-то потом на станцию ездили, добавили у буфета. Три дня и прогуляли. Обмыли добро. Гости, слава богу, довольны. Попили поели. А ты чё глядишь так — не веришь?

Веришь — не веришь. Смешная ты женщина, странная, и еще что-то в уме промелькнуло, но через секунду мне уже стало так весело, так легко жить на свете, что засмеялся прямо в лицо хозяйке. Ну и дояр, сколько ты дел уже натворил, а сам все еще не показываешься. Завел

ты меня далеконочко, как-то выйду назад... И я опять засмеялся, и опять решил ее попытать.

— Отец, говорите, против был? А она настояла — Виктором!..

— Тебе чё,— удивилась хозяйка,— с какого боку называли, с того и называли, на то родители. С имечка не возьмешь прибыли. Смотря потом по человеку. Мало ли имен...

Мало ли, а она вот в честь меня назвала. Ну конечно же, в честь меня. Уж какое здесь совпадение — на виду все дело. Отдала мое имя сыну. И от того мне радостно. Ведь не мой сын, а все равно радостно, хотелось до утра теперь слушать хозяйку, сидеть до утра в этой комнате и вести разговор.

— Да чё с тобой? Захворал? Вон разожгло шею! Поди, где оступился, а вода-то теперь зловредна. Может, беленькой обогреть?

— Нет! Нет! — испугался я, но она уж несла бутылку, в другой руке соленые помидоры.

Потом поставила тарелку супу. Все, что было в бутылке, вылила в один стакан. Я замахал руками.

— А не выпьешь — на ферму не пустим,— сказала это строгим голосом, и я подчинился.

Ей тоже отлил немного.

— Разе чутельку. То сердце побаливат. Как не болеть-то, ведь все к сердцу.

Выпили. Меня в жар занесло, смотрю — хозяйка тоже раскраснелась и утирает губы платком.

Неужели в честь меня назвала? Виктор Петрович, Виктор... Конечно, в честь меня, чего еще думаю-соображаю. И стало совсем легко, и вроде опьянел, и грудь стала расширяться, будто раздувал ее кто-то мехами. Пойти бы сейчас к дояру, но хозяйка заговорила — заговорила тихим, успокоенным голосом, и этот голос привлек к себе. О чем она? Начинаю прислушиваться, вот и слова уже понимаю. Но зачем сейчас эти слова, надо бы на улицу, в самый раз сейчас к дояру, да пройтись до него по снежку — остудить голову.

— И Александра Петровича обмывали не худо. И я выпила сколько-то. А чё, думаю, не к нам будь сказано,— не выпьешь, дак он обидится, заболит. Нет, я выпила...

Но я уж опять плохо слышал, о чем она говорит,—

слова рядом струятся, перекатываются, как дождик по листьям, но самого дождика нет, не вижу, не различаю, — и опять стали близкими те поцелуи, те далекие, невысказанные признания, опять вошла в голову та далекая музыка. Кружится музыка, лицо Онино кружится, вот уж близко лицо, совсем близко, мои губы задевают его, а лицо смотрит вперед, точно не слышит ни меня, ни музыки. Брызнет, растает, жизнь пролетит...

Заболел, аха?

Хозяйка задела мое плечо, и я увидел ее глаза. Они не мигают, внимательны.

— Так вот и Ольга наша Петровна. Заболела, заболела. А так ждала девочку, и прилетела девочка.

Какая Ольга Петровна?

— Чё теперь после время! Прокараулили Ольгу Петровну. Чё уж. А сколько с ней приняли, такая она дорогая. Все животиком до года, все переделали, а ревет да корчится. Ревет да корчится. Только одна помощь: нарву лопушков прямо с огорода да перед глазами разметну их. Она потянется и затихнет. Да опять. Опять корчится да ревет. Скоро уж и пупок полез. Это место стали мылом намыливать, да посудину глиняную прикладывать натакали, да растирать. Помогло немного, а уж как на второй год перевалило, так полегче сделалось, так и полегче, полегче, изошло все. Чё уж теперь, прокараулили. Нет уж нашей Ольги Петровны.

На лице у нее появились слезы. Сжала подбородок ладонями и поглядывает на меня. Глаза красные, и не вытирает слез. И я не знал, что делать, — как-то успокоить надо, а самому не до этого. Все представлялось: вот-вот дверь откроется, и зайдет Оня, и увидит меня, и я ее увижу. И я не знал, что будет, когда ее увижу. Было страшно и сладостно, и хотелось уйти на дорогу, уехать. Но я чувствовал — не уеду. А у хозяйки все больше и больше слез.

— Не плачьте. Все исправится.

— Мое дело уж не исправится. Да и вино, поди, зря. — И она отвернулась от меня. Хоть бы отвлечь ее, и я вспомнил:

— Почему с вас допросы снимали?

Она вздрогнула, но когда лицо на меня открылось — слез уже не было, только в глазах подозрение.

— Были допросы, велись. Особо коснулось Петра Ива-

повича. Промантулили целый месяц, а чё поделать — не виноват.

— А в чем винули?

— Не винули, а за свидетеля. Видишь, два пожарника к нам приезжали да хотели ревизию. А мы спокойно живем — уж давно не горим, слава богу. Акт написали — и под березы пьянствовать. При них легковушка, шофера сами. Попивают, да вдруг бабу увидели. Она, милая, идет с корзинкой и никого не знат. А они сразу к ней, да все по-за кустикам, по-за кустикам. А кустик-то один хрустнул, она их глазины заметила да и драть. Они за ней — погнало намеренье, — а ноги-то уж тяжелы, от водки отсырели, баба-то уж совсем уходит, вот и степь, и дорожка, поди, думат — жива. И имя этой бабеночки знаю, да не скажу — зачем?.. Ну и бежит. А они в легковушку, а баба оглядывается, да разе убежишь от легковушки! Задохнулась, матушка моя... Да видит — мелькнуло озерцо. Наше озерцо, здесь было дело. Она — в воду, да поплыла, а плыть-то уж силы нет. А они уж, поганье, близко, да радуются. И спикала бы матушка, да на другой стороне Петро Иванович погодился, мыл машину, из поездки вернулся. Ему летом и пообедать некогда — все время в дороге. Он и увидел, да закричал, они и отпали... Вот и потащили в суд за свидетеля. Баба-то, видишь, сдуру подала в суд.

— Почему сдуру?

Хозяйка засмеялась, придвинулась ко мне доверительно, да и голос изменился — стал растянутый, ласковый.

— А знаешь тако дело: мышка рылась, рылась да до кошки дорылась. Один-то из пожарников и совсем не пожарник оказался... Дорого нам обошлось озерцо. Самого Петра Ивановича за то свидетельство чуть с работы не сбросили... Вот оно, озерцо.— И замолчала.

И поплыла вокруг нас долгая, роднящая тишина.

А мне уж виделось другое озеро, другие дни. Это озеро было близко от города, и праздновали на нем вечер встречи студентов. Хоть и сентябрь, а тепло еще, и вода в озере еще теплая, а далеко от берега — катер. А к берегу пришло много гостей — и молодые, и старые, но молодых больше, все они жмутся к воде и смотрят на катер. И вот стемнело, сразу огни на катере, заиграла музыка, поднялись песни.

Пели на катере первокурсники, соревновались в песнях. Катер отошел от берега. Голоса заглушали музыку, но все равно на берегу сделалось удивительно, пахло духами, белыми платьями, и все смеялись и радовались катеру, как чуду, особенно огням его. Да и много ли молодому надо — вчера еще по деревне ходил, один назем да коровы в глазах, а теперь вот какие огни да девушки. Их было очень много, этих девушек, неясных, обворожительных, а ночь наступала, такая же теплая и счастливая, как и день. Она была на катере, ей нравилось петь, быть рядом с музыкой, а мне делалось все лучше, все удивительней. И я совсем осмелел, стал пьяный от этих голосов, от катера и сам не заметил, как подошел к одной девушке, заговорил с ней о музыке: как, мол, хорошо поют на катере, — а потом спросил имя и взял ее под руку. Она не отняла руку, не удивилась мне, только все время молчала и закрывала косынкой волосы. И вдруг рядом со мной встала Оня — откуда она, ведь катер ходит по озеру, — но она смеялась и смотрела на девушку. Я смутился: как это неловко я познакомился. Оня видела мое смущение, еще больше смеялась. Катер подошел к берегу, песен уже не было, только играла музыка, и все люди бросились к катеру, и Оня с той девушкой тоже побежали к катеру, и я потерял их обеих. А рядом в буфете продавали пиво, и я залил свое горе пивом, быстро захмелел с непривычки, да и курить уже начал. В голове закружилось, пошел искать Оню.

На катере качали первокурсников, зрителей все прибывало и прибывало, в голове у меня все сильнее кружилось — от папирос, от пива, от густого ночного воздуха, — и если б встретил ее тогда, то сразу бы и признался, что люблю, надеюсь и жить нам врозь невозможно. Я уж представлял свою свадьбу: такие же песни, такие же люди, такая же музыка — прямо к небу, только это все будет в деревне, на моей родине, и гулять будет вся деревня, и свадьба грянет где-нибудь на лугу. Но я не нашел Оню, не нашел и ту девушку, у которой только что имя спрашивал, держал ее под руку, — и опять напустился на пиво.

Мне подмигивала буфетчица и уже не брала ничего за пиво, только громко смеялась и откидывала далеко рукой волосы. А потом налила в кружку и тоже со мной выпила и засмеялась опять без всякого повода. Рукава

на халате у ней закатаны, на виду были все ее руки, белые руки и полные, на сгибах у локтя с голубыми прожилками. Над нами светил яркий фонарь. И шея была такая же белая, полная, и мне захотелось поцеловать эту женщину в знак какого-то высокого расположения и благодарности, и я бы, наверное, недолго остался возле нее, но внезапно увидел Оню. Она стояла метрах в трех от меня и смотрела на наши кружки, на мою буфетчицу — и вдруг засмеялась и побежала куда-то в сторону, я за ней бросился, но опять не нашел. А на другой день Оня первая подошла ко мне, по голове меня погладила, как маленького, и засмеялась опять. И смех ровный, тихий, какой-то ласковый.

— Неуж никака подходна не находилась? — Хозяйка смотрела в упор.

— О чем вы?

— Погляжу: спишь — не спишь. Неуж опьянел от столькова? Это я вся выроблена — дак вино плохо. А я спрашиваю: неуж никака заваляща не находилась тебе?

— Да не женат я,— опять почему-то смутился, будто грех какой, что не женат.

— Обживешься, женишься, деток поднимешь. Я вот все времечко над зыбкой. Вначале свои были, потом внуки, аха. Скоро Иван Иванович работу задаст. Не согласится, поди, без деток. А Таньку хоть и ругаю, а для работы она — эку и надо. Значит, и детей поднимет. Хай и хвали. Пробойна бабеночка — ничего. Как забегат, засугорит, пойдет подолом отмахивать, только шишки воют. А все равно жалко дитенка. Последний ведь, углажено тут, усмотрено... А ты из газеты, аха?

Я опять подтвердил. Она отогнула на столе клеенку и достала газету.

— На, читай. Не ты один умной.

6

Газета была районная. Я догадался сразу по бледным шрифтам. И фотографий на полосах почти не было.

— Ты середину открой, середину! — торопила хозяйка.

И я послушался, быстро открыл.

На второй странице стоял большой очерк. Над ним заголовок набран почти плакатными буквами: «Горит для

доярка звезда». Я оглянулся на хозяйку, она смотрела на меня радостно, глаза поощряли — читай же, читай. Потом не вытерпела, поощрила меня голосом:

— Наверно, читать-то умеешь хорошо. Так читай про сына.

Вначале автор рассказывал о деревне, где родился Иван Иванович, а потом говорил о нем: «Скоро Ивану двадцать. Во всех его движениях появилась степенность, большая уверенность. Да и слов он на ветер не бросает, что скажет — сделает. Можно твердо заявить, что слово его — гранит. Обязательство в прошлом году взял нелегкое, кое-кто сомневался: а вытянет ли? Но не таков Иван. По вечерам он хоть и хмурится от усталости, но внимательно изучает передовой опыт, подолгу задерживается на ферме, стараясь задать корм так, чтобы он поедался животными с полной отдачей...»

Хозяйка запokaшливала. Взглянул на нее, вижу, ей спросить хочется — нравится ли? Но смущается. Я улыбнулся, она успокоилась — значит, нравится.

А дальше в газете шло самое главное: «Обязательства дояр выполнил к десятому декабря. Сверх них дал еще по 100 килограммов на корову, или дополнительно две с половиной тонны молока. Помогли ему уверенность в своих силах и та особая сила воли, которую называют упорством. Упорство в большом и в малом, на ферме и в личной жизни,— таков молодой Иван. Он научился хорошо массажировать вымя, его зоркий глаз различает любые новинки, все это помогает в ежедневных упорных, но трудных буднях. И новый год начал дояр по-боевому. Если по колхозу суточный надой составлял по шесть килограммов, то Иван надаивал по восемь...»

Хозяйка опять зашевелилась.

— Самостоятельный человек писал. Не знаешь его?

— Не знаю.

— Я тоже не видела. Да жалею. Даже не покормила парня. С фермы было не вытянуть.

Но я уж читал дальше: «Иван Палин — интересный собеседник. О своей работе он может говорить часами — говорить о зоотехнии, ветеринарии, о физиологических особенностях коров, обо всех мелочах своего быта. А когда в колхозе встал вопрос — кого послать на курсы искусственных осеменителей,— выбор пал на Ивана Палина. И не ошиблись. Быстро пролетело время учебы.

Через месяц Иван вернулся в родное село. И с прежним упорством принялся за дело. Сейчас под его началом осеменено уже 148 коров. Но это не предел для Ивана, ведь он много читает хорошей, нужной литературы. И растет человек. И если спросить у Ивана:

— Почему ты пришел на ферму?

— Не мог поступить иначе.

В девятнадцать — открыты все дороги. Можно шагать по жизни твердо, не запинаясь.

— Ну а есть ли у тебя, Ваня, мечта?

Молодой парень шурит в улыбке глаза...» И только я дошел до этого места, хозяйка газету к себе потянула.

— Хватит, а то зачитаешься. Понравилось хоть?

— Понравилось, — сознался я искренне, хоть и казалось, что сам я напишу лучше: и про любовь вставлю, и про весенние ночи, которые ходят над фермой и мешают работать, и про мечты Ванины расскажу, чтоб сразу все его полюбили — и далекие девушки с молодежных ферм, и старые пастухи, и скотники, и доярки, а в особенности — мой редактор. Может, и не уволит тогда, оставит до следующего испытания, а потом постепенно привыкнет к моему слогу и к моим мыслям.

Думать об этом приятно, и я забыл про хозяйку. Она сама о себе напомнила:

— А про швырагалку не помянул. Иван Иванович да Иван Иванович.

— Вы же только ее хвалили, — улыбнулся я, но ей не понравилась почему-то моя улыбка.

— И я хвалю, и председатель хвалит. К скотине — Танька угодница, а вот ростик-то куда деть. Ни заду, ни переду. Как дите в такой заведется — ножку расправить некуда. Рисково дело... А если не забеременет — куда он попал?

— И без детей живут.

— То уж не люди, то уж други. Живут, сама знаю, а как живут — знашь ты, не знашь? Вон птицу возьми, саму глупу — гуся, кто он? А как выйдут птенчики да запишат, дак гусак-то в лыву заскочит и пляшет, яздри его. А если у лошади...

И в это время скрипнула дверь. Я вскочил на ноги, сердце заколотилось — поди, она? Но в кухню вошел Виктор Петрович.

— Можно, баба, сходим на горку? С лыжами?

— Сходи, батюшка мой, только покарауль того. Упаси бог...— И на меня посмотрела, точно для меня сказала последнее, губы сжала в строгую ниточку.

Старший ушел. Она рассмеялась и поправила на столе скатерть.

— Ладно ты задрожал. А они, поди, не скоро. Поди, к ночи.

А я сидел опять на своем стуле и думал о газетной статье.

— Значит, Иван Иванович теперь не доит?

— Как не доит! Обратно попросил группу. Как ему без Таньки-то? Тяжеловатенько.

В комнате стало темнеть. Вначале потемнело в дальних углах, потом по стене пошли тени, вот уж и стен не видеть. День уходил. Я встал у окна и отдернул занавеску — опять сыпал снежок. Деревья были не то в снегу, не то в инее. Деревьев было много, но все одного сорта — одни тополя, тополя. И росли они возле самого дома, ветки задевали оконные стекла. Я их представил в летнюю пору и сказал потихоньку:

— Какие большие деревья.

— А все Николай Иванович. Оставил для памяти, посадил своими рученьками. Вырос да женился, вспорхнул да улетел. Спаситель наш, угодник. А с чего сам поднялся-то, не говори. А про нас все-таки позаботился, — какого бога будем молить за него? Да есть ли такой большой бог?..

— Что он вам сделал? Да кто он такой?

— А дитенок, дитенок. Средний. Не он бы, давно в борке истлела. И про Ивана Ивановича, считай, не писали.

— А почему? — Опять какое-то предчувствие навалилось, даже про Оню забыл, — так испугали ее слова.

А хозяйка молчит, головой качает. Уж и нельзя дальше молчать ей, совсем страшно мне, будто в детстве сейчас: и сказку собрался слушать, и знаю, что сказка с черными бесами, потому и задолго боюсь.

— А ты слушай, не торопи, — обиделась она. — Не на паре едем, а ты понужаешь. — Но быстро оттаяла, и лицо разгладилось, даже улыбнулась мне извиняюще: не сердись, мол, всяко бывает. Вот вспылила, да вот и прошло. С улыбкой и начала говорить: — Война же тогда. И ты должен помнить, поди, уж робил в колхозе. Ну, ясно

дело: мужики-то воюют наши, а мы-то здесь. Да и здесь час от часу смешнее. Еды никакой, а за троих, почитай, буровили. С темного до темного. Летом вроде полегче — рыбка в Тоболе, да и на пашне кой-никакой приварок, а бывает, что и мучки где с кулачок да заробишь, да отходу сыпнут. Да к тому шавелю нарубишь да подмешаешь — вот и на ходу снова. А к зиме похужей. Дак опять — есть картошка. Разе замрешь на ей — не замрешь. Аха. А к весне — вот туго дак туго. Ладно, если где на поле картошка осталась, под снег ушла, тогда ничё. Возьмешь топор да лопату да вырубишь ее — и хорошо. И потом ее — ноздристу, да сладку, да водяну — ну да пошел, ну да пошел. Только уж заболеть тут — уж не отвечаю... Вот и нашего Ивана Ивановича прихватило, да его, поди, не с картошки...

— А с чего? — спросил ее быстрым, встрепенувшимся голосом, потому что она замолчала. А у меня не проходил страх: чего-то жду и боюсь.

— А с того, что смерть в зубы не смотрит. Одна же я оставалась: Петро Иванович на фронте, на танке ездит, старика моего определили в трудармию. В начале войны браковали да браковали, а потом взяли да возвысили — да прямо в эшелон. Я со двумя оставалась, со двумя. Ну, и закуковала кукушечка. Никто мне не рад, и помочь некому. Иван Иванович — совсем ноготок, а Николая Ивановича, правда, уж на работу наряжают. Легко выговорить — наряжают. А тогда уж в колхозе и припас весь кончился, и на работу гонят — спасу нет... А время стояло сухое, аха. Прежде в таки дни хоть рыбкой держались, а теперь и рыба в омута ушла. Хоть ложись да живьем зарывайся. Живем, а чё делать — исть-пить надо, да не каждый день. А Николай Иванович — за мужика у нас. Вот и заподумывал, заподумывал. А чё думать — никто не подаст. Вот и сходил с Васькой Тютриным в садок к председателю за луком. А лук-то первенький, из-под снега почти. Да еще прихватили жмыху. А председатель-то был не наш, присланный, не то раненный, не то контуженный... А до него Сашенька был — хохол, тоже с фронту. Фекла Куприяновна тоже была. В сенокос как раз поставили. Литовки-то делали с грабельцами, да как гектар за день выкосим, так и падаем. И Феклушка с нами. А ее уж тот сменил, раненный. Лицо у него како-то не здешно — тако бабисто да широконько, — нигде больше не

видала. Хотя и роднѣй потом сделался, а не похваляю... Ну, вот — ребята жмыху тогда из амбарчика прихватили по плитке. Амбары-то стояли в огороде у председателя, а сам он жил в правлении, в боковушке, с женой да с дочкой Катенькой белоголовой. А ребят-то наших увидели в огороде, да крик сделался. Они жмых тот — в канаву, на другой день сходила, подобрала, а про лучок-то, про лучок-то забыли. Он у них по карманам был растолкан. Но уж тут и попались. Сам председатель вроде и простить, заподумывал, особенно Катенька, говорят, заступалась — простить, да и только, да и дело замыть, но тут вмешался бухгалтер Рубако, из эвакуированных, он-то и дунул на ребят куда надо. Есть таки изъедуги. Так, за лучок, и повезли Николая Ивановича в колонию, а там на лесопоставки. Дорогой получился лучок. А Петро Иванович в ту пору уже лежал в госпитале со щекой да с головой, а от старика — ни слуху ни духу. Потом узнали — умер в этой трудармии. А тогда живем — и не больно весело. Слабость кака-то долит. То ли уж зов... Усну, аха,— полетят надо мной уточки, серые уточки, задевают крылышками, аж губы чувствуют. Проснусь — не пошевелить ни рукой, ни ногой. Вот и конец скоро мне, решаю... Так побились с полгодика, помантулились, а потом поели чего-то, и ну Ивана Ивановича рвать да рвать — ручьем понужат, уж и кровь. Загнула ему рубаху, а уж брюшко посинело, к пупку — чернота, а уж подойдет совсем, то и будет прощальный час. Наклонилась пониже — Иван Иванович помыркиват: с ангелами уже повел речи — поди, отходит. Вот и долетали уточки, сели к нему на плечико. Ну да чѐ — решаю: пускай и меня зарюют с ним. Так предположила, что обязательно с ним...

И хозяйка опять заплакала. В комнате совсем стемнело, занавески на окнах висели белыми, бессильными крыльями, и ноги у меня приросли к полу. Слышал, как она плачет, как утирается,— свет бы зажечь, но что-то удерживало, да и сил бы не хватило подняться. Так в детстве было: говорит, говорит бабушка, и выходят у ней сказки все страшные, а она как разойдется, так и кончить не может,— и вот уж ноги мои не то холодеют, не то отнимаются, и ползут на меня все звуки и шорохи, и лошадки скачут из всех углов с огненными густыми гривами, а потом и во сне вспоминаются и томят. Сколько лет тогда было от роду — может, три, может, пять,— а вот

сейчас то же самое: ушла из меня сила куда-то и ногами пошевелить боюсь. И голоса у них схожи, и так же бабушка пошвыркивала, так же затихала на полуслове. Но не могу вынести молчания, хочу света, живого голоса

— Ну и что? Как ваш Иван Иванович?

— А легла катышком с сыночком, а он вроде не дышит, губы, правда, помыркивают. Тихохонько ходят лепестком. И вот уж их не слышать. Ветерком, слышу, дунуло — такой слабенький прошел сквознячок по занавеске, — и как будто всю зазнобило. Дотянулась до Ивана Ивановича, а рука сама — как от крапивы, веришь, не веришь? Боязно — поди, похолодел. Опять тянусь рукой а сама полумертва, — и вдруг в стекло зазвякали. Хороший звон, с промежутками. Раньше у нас почту возили на паре. Запрягут пару, и с колокольчиком, — хорошо звенело! Колокольчик-воркун. И тут вроде так, да опять в стеклышко. «Марья Степановна, Марья Степановна!» И голос уж слышу, да не верю голосу, из земли будто бы. Да опять: «Марья Степановна!» Вот и смерть пришла с посылом, зовет манатки укладывать. В путь дак в путь. И приготовилась, и не страшно уж, вдвоем с дитенком идем. А голос опять: «Выйди на минутку. Уснули вроде». Как про это услышала, так облегченье, как чё-то вышло из меня: рано, мол, умирать собралась, на грех не наведи. Встала с одеяла, а меня поматывают, поматывают, пол скрипнул — он опять запомыркивал. Живой еще. Вот и самое облегченье. Я уж к двери подошла, осмелела, уж за скобку взялась, открыть бы, да и только, а последнее дело это сделать боюсь: а вдруг это уж блазнит мне, а сама-то я умерла? А рука самовольно к двери, да и открыла. Как открылась дверь — так мне перевод в руки. Подает соседка, посмеиваясь: «С деньгами тебя».читаю, верчу-кручу — пятьсот двадцать рублей. Как сейчас помню — синенькими чернилами, да с наклоном. Верить — не верить. А ноги сами несут на почту. Да тем же махом и сбегала. Деньги ведь. И ты думаешь от кого — от Николая Ивановича. — И она засмеялась коротким смешком.

Потом посмотрела на меня внимательно, будто впервые увидела, будто я только что зашел в комнату, зашел неизвестно зачем. И мне стало еще тяжелей. Да и надоело сидеть в темноте. Подошел к окну, раздвинул по сторонам шторы, даже разрешения у ней не спросил — само собой получилось. Хозяйка вздохнула за моей спиной.

Стояли уже поздние сумерки, за ними жди ночь. Горели фонари на улице, горели ярко, широко, как в городе. И падал снег. Он, видно, не переставал после моего приезда — последние угрозы зимы. Снег падал тихо, — наверно, стояло безветрие. Возле земли он собирался в тяжелые хлопья, и они облепили деревья и крыши, вся улица была белая. Тихий, прощальный снег. И нет людей. Только далеко кричат ребяташки.

Но проходит минута, и опять грустно, томительно на душе: зачем я слушаю эти долгие откровения, почему не прерву ее на полуслове и не уйду на ферму? Ведь дояр-то мой там, а я здесь сижу — кто же очерк будет писать за меня? А вдруг уйду — и в то время она зайдет? Усмехаюсь сам над собой. Ну, сознайся же, хоть самому себе сознайся, что уже весь сгорел от нетерпения — надо быстрее ее увидеть, поговорить. Вот зайдет — и воскреснешь опять, засияешь. Ну, конечно же, ее жду, потому и не ухожу. Пробую опять в окно смотреть, хочу разглядеть что-то на улице, на дороге, но ничего не удается — белым-бело и белым покрывает. А завтра уже уезжать обратно. А к кому уезжать?.. Ни дома, ни лома, ни детей, ни любви, а теперь, наверно, и работы не будет. К кому приклонить плечо?.. Уж нет на свете моей бабушки, а она ведь меня вскормила и воспитала и над зыбкой моей пела, надсажалась. Но сгнила та зыбка давно в сарайке, нашел как-то для интереса — остались четыре прутика. Вот и все... Вот и снег последний, а там весна, всем радости — и полям, и деревьям, и людям, — а какие мне радости: нет ни друга, ни близкого, ни любви. Грустно опять, и заплакать хочется, но не приходят они — эти свободные слезы. Вот живу одинокий, непонятный, а никому не жалуюсь, не тоскую, не пристаю с разговорами. А разве сравнить мои страдания с этими, с хозяйкиными? Ну, войну пережили — так все ее пережили, что из того. И опять думаю о Марье Степановне. Вот сказать бы сейчас этой женщине, как любил Анисью Михайловну, как во сне ее видел, как прощался с ней на ледяной реке. Может, отпустит душу. Едва ли отпустит...

Вглядываюсь в этот летящий снег, и кажется, что летит он в лицо, и закрываю глаза. Хорошо жилось в детстве! Зачем вырос, зачем ушел из родной деревни, вот бы вернуться обратно, вернуться к своей бабушке и рассказать обо всем, а потом бы лечь в ногах у ней катышком — и уснуть на долгие часы.

Снег летит на меня, а между нами стекло, но все равно опять закрываю глаза. Вот забежит она скоро с мужем счастливая, повиснут на ней дети и закричат от радости, а потом все к столу подойдут и поднимут вино. И что ей мои прошлые и нынешние терзания, та далекая ледяная речка, раз она добилась всего? И чего это плачет хозяйка? Смотрю на нее нехотя, вприщур. Какая-то зависть у меня к этому дому, неосторожная, открытая зависть. Хозяйка не смотрит в мои глаза и опять говорит потихоньку, будто сама с собой:

— Неизвестно, где людей встретишь. Вот тебе и колония. Я на эти денежки и молочка приобрела. Вскипятила да Ивана Ивановича им умыла сперва, а потом — в рот. Коровенки-то у нас своей не было. Была, конечно, да оступилась в проруби, задни ноги нарушила, и вымя задело, доилась тремя сосками. Вот и убрали. Съели в первый военный год. Аха... А на двести рублей купила овсянки у Рубако, он всем в войну пользовался, да и проходу не давал бабешкам — лез с этим делом. А остальные деньги заперла, для расплodu... Вот и ожили, а чё — и теперь живем. Иван Иванович оклемался да с тех пор не болел. А к осени Николай Иванович опять ахнул пятьсот. Опять то, друго купили. А уж и картошка была, и моркошка, ну и приварок — нам зима не зима. А потом, поди, через годик, сижу так же, Иван Иванович заигрался на улице, чё-то нет долго. И пошла поглядеть. Выхожу в улицу, а налегке сама, хотела по-быстрому, смотрю — паренек навстречу. И в сапогах, и в ватничке, и чемодан небольшой, будто какой уполномоченный. Приглядываюсь: молод, поди, для начальника, да и глаза несмелы, да главное — сильно сшибат на Николая Ивановича. Он ближе — как есь сын, как лил да капал. Ближе да ближе, и вот уж: «Здорово, мама! Я матерьялу привез, пальто сошьем». Како, говорю, ишо пальто, а сама реву, не утираюсь. Он опять ко мне: «Не реви, мама, меня насовсем выпустили, последний год я работал на угле, там и деньги, а раньше не удалось послать. Ваня как?» Я сама не своя — мамой ведь называют, слово-то какое хорошее. Живем, мол, не люди и умрем не покойники. А он опять: «Мама, замерзнешь стоишь, а Ваня где?» Замерзну, говорю, не замерзну, а Ваня наш живой, тобой и спаслись, Николай Иванович...

Под окном раздались голоса, и опять я не мог сдер-

жаться, встал на ноги. И слышу, как сердце забухало, и в голове нехорошо. Но дверь молчит, и в ограде тихо

— Да не бойся. Они на машине подъедут. Поди, подстыла дорога. А это доярки — на дойку

Хозяйка встала и зажгла свет. Лампочка вспыхнула так ярко, что я зажмурился. В комнате повеселело, и сразу прошло оцепенение мое. Только сейчас заметил на стенах вышивки в рамках из дерева, на украинский манер, справа небольшой шкаф-угловичок, там синие и голубые рюмки, стаканы и подстаканники, и все это при огне заблестело и вспыхнуло — не отвести глаз. Хозяйка заметила мой удивленный взгляд.

— Посудку расстарывалась Анисья Михайловна. И не то бы нажили — дети же. Все им, все им. Да они, правда, помогают. Вон тогда сынок мой, Николай Иванович, как помог. В чемодане у него нашла пять буханок, да колбасы килограмма два. Я ее до той поры ишо почти не пробовала. Да банка свинины, да мануфактура. У нас пир горой, все горе долой. Жалко только — уехал скоро Николай Иванович. Подружил с Катей председателевой, Катериной Васильевной. Кака она хорошая, все бы по лицу гладил. Два года прожил и уехал. Север, говорит, Север — отец мой родной. Привык, видно, в колонии-то. Дочь у них — Тамара Николаевна, да опять в положение ходила. Вот-вот должна родить, ждем со дня на день. Видно, много ему детей наносит, утешит мужа. А чё больше надо? Вот Анисья Михайловна так рассудила: ради них люблю смерть приму, пусть только им хорошо. А зачем, думаю, смерть — пусть растут с папкой, с мамкой, пусть надышутся от родителей. А быват, что избегают. Детей-то. Аха.

Как-то внимательно посмотрела на меня и отвела взгляд. Сжала подбородок ладонью.

— Есть таки. А рódят по ошибке, так бегут от дитенка, как мыши от кота. Да в интернаты сдают, да справки фальшивы, а сами живут. Как жить после этого?! Вот Анисья Михайловна так поставила: будут дети здоровы — вот и счастье мое. А я согласна. Только за што ее жизнь ковырнула, нашу Анисью Михайловну, за каки грехи...

— Как ковырнула?

— Да так я, сама про себя. — И она опустила голову.

Стул под ней скрипнул, стаканы в шкафу зазвенели тихонько. И вдруг стало невыносимо в комнате. Вдруг

представилось. как зайдет скоро Оня, как взглянет на меня в первый раз и что-то скажет Сам не знаю, почему я так боялся ее первых, самых первых слов. Мне их не вынести Неужели все еще люблю ее? И этот вопрос изогнулся передо мной, как живой человек, и как живой побежал в сторону, спрятался. Надолго ли? И я рассмеялся сам над собой. И опять Оня приблизилась, не хочу думать об этом, а она — рядом, так близко, так явственно, что я зажмурился.

...Может, то и была любовь, единственная, печальная, которая стоит в человеке с молодости до старости, о ней и пишут, и рассказывают, а люди все не могут ее хорошо рассмотреть, вдохнуть в себя, насладиться до самозабвения, до последнего счастья, за которым уж и смерть не смерть, и беда не беда. Но нет конца ожиданию, и снова ищут и ищут эту любовь и не находят. Находят, конечно, но только редкие, а может, и то хвастают, что находят, а от других она исчезает в своих дальних туманах, в тех белых снегах, которые лежат и зимой, и летом и не тают, только манят к своим вершинам. И человек идет к ним, всю жизнь идет, вот уж и жизни конец, а он все идет. И бывает, что остановится, назад оглянется и вдруг почувствует, покажется, что уж была с ним эта любовь на той далекой-далекой дороге, до которой уж никакого нет возврата, да и редкий пойдет в обратную сторону. Побойтся людей, а еще больше себя, что не вынести... И подумалось с такой тоской, с такой тяжестью: а я ведь по одним школьным коридорам с ней бегал, ходил с ней по одной улице...

— Важно, чтоб дети были счастливы. А мы уж при их — над зыбочкой...— опять заговорила хозяйка, и я начал медленно приходить в себя.— У тебя сколько их?

Я сразу понял, что опять о детях, и ответил сердито:

— Нисколько.

— Виновата, винюсь, ты уж отчитывался. А поди, все же врешь?

И она поймала мои глаза и уцепилась за них. Не то смеется, не то лукавит и не моргнет.

— Без жены-то?

Она сокрушенно покачала головой. На кухне скрипнула дверь. С ума сведет эта дверь. Но вошел старший.

— Баба, мы еще поиграем?

— Сильно-то не заигрывайтесь. Мать скоро...

— Аха! —И старший убежал

Она повернула лицо:

— Чё не закусываш? Помидоры свои, не какие-то
А уж хорошо покормлю, когда приедут. Одним застольём..

Я позавидовал ее спокойствию. Вот говорит о том, что приедут, а сама спокойна.

— Значит, нету бабы. А что — по здоровью не женишься или кака обрала? — И хозяйка взглянула на меня жалостливо, даже и ответа не ждет, жалеет зара нее.— Детей-то хоть любишь? Чужих хоть?

Я улыбнулся. Что ответить — не знаю. Никогда не думал. Да и не нравились никогда мне семейные, степенные люди. У нас в редакции они вечно бегали с сумками, кузовками, закупали продукты, говорили все время о ценах, о магазинах, а мне от этого было тошно, да и жалел их порой. Только, бывало, на улице встретишь какую-нибудь кнопочку в шубке, в яркой вязаной шапке, под которой такие же яркие, пухлые губы,— и на миг задумаешься, представишь своего далекого, еще не рожденного сына, да сразу и улыбнешься и все забудешь. А когда попадал в большие семьи, когда к столу садилось много народу — и все это пищало, стучало тарелками,— мне виделось в этом что-то печальное и щенячье, сразу хотелось выбежать в какое-то широкое поле, отдышаться. И больше в такие семьи не заходил. Мне казалось, что у меня есть свои печали, свои страдания, без которых, как сказал один гений, невозможен рост, движение человека. И я нес эти страдания молча, но бережно, потому что были они, наверное, выше, чем у других. Я горевал о давней любви и потерянной, сочинял книгу, мучился от одиночества, от своего редактора, от вечной будничной скуки жизни. И не было выхода. Ну, что еще хуже этого?! Но кто поймет это? Ну вот эта женщина, что сидит возле меня. Разве поймет она со своими зыбками и пеленками, со своими воспоминаниями, от которых устала уже, а конца-краю не видать, разве поймет она мою жизнь, и прошлое, и настоящее, мои стремления и ожидания? Да ей просто ничего не увидеть из-за пеленок, да и смотреть ничего не захочет. Да и зачем смотреть ей — она счастливей в сто раз меня. Вот приедут сейчас и будут вино пить, ребятишек кормить конфетами, будут смеяться, дурачиться, долго не виделись, наскучались. А мне-то здесь что делать? Сидеть да поглядывать? Нет

уж, пусть одни, пусть без свидетелей. И я решил — посижу еще минуты три для приличия и пойду разыскивать дояра. Хозяйка вздохнула громко, точно напомнила: я рядом сижу я жива.

— Кто имеет их, тому жить охота и душа на месте. Вон Анисья Михайловна как до детей привязчива, чё горевать Петру Ивановичу. Жена-то, говорят, за гуж, а муж-то за другой. Так и жили. И в последнее время все хорошо, даром что на костылях матушка наша.

— Кто на костылях? На каких костылях? — спросил я испуганно, думая, не заговаривается ли уж или ослышался. Но хозяйка точно не замечает меня.

— Как хорошо зажили! А то война была, то горе, замучились со горями. Была бы ишо жива Олюшка. Тогда и костыль не костыль.

— Что вы меня морочите! Что за костыли? — не вытерпел я. И получилось у меня с раздражением, но что поделаешь — устал.

— Просты костыли... Она с Петром Ивановичем на машине перевертывалась. А как было: по грузди ездили, да уж обратно, хоть ничё не набрали, только ноги измаяли. И вот уж едут. За рулем сам Петро Иванович, жена рядышком, молчит, нельзя под руку-то... А уж хорошо зажили, крепко, аха. Уж и дом поставили большой, крестовой, где сидим, и в ящик положили кое-што. Запасали для деток. Штоб потом полегче. Петро Иванович всю зарплату домой, Анисья Михайловна хоть поменьше — учительница, но тоже деньги домой. Им уж завидовали. Одна бабеночка так и намекнула сыну: не видать, мол, тебе с ней счастья, как свинье неба, потому что был-де у ней в городе молодой студент. А Петро Иванович на нее и кулаком, и словом, а бабенка, Настя Вахрушева, ух бойка, поди, и кусатся, не дает спуска. Нет, говорит, студент тот был, люди его видали, да чуть ли они не с одной деревни. Он Анисье Михайловне своей ни слова, ни полслова, а заподумывал: чё за студент? Не ест, не пьет. И присмирел будто бы. С отцом его такое же дело случилось, аха. Как-то съездила я до станции с Павлом Васильевичем Паршуковым в одном ходке, дак муж-то меня всю изъел, а ночью кряхтит да курит, кряхтит да курит. А не ехать было нельзя — опаздывала к поезду. И сынок в отца. А то не думал — Настюха же по зависти. И корит, и корит студентом. Нахальная баба. Да, поди,

был какой студент пустяковой. У какой девки студента не было, у реденькой... А может, ты и есть тот студент, раз земляк? — спросила меня неожиданно, но таким равнодушным голосом что я не понял. Но она повторила — Не тебя в виду имела Настюха?

Я вздрогнул, и даже сообщение об Ониных костылях выпало из головы. Хозяйка замолчала. На губах притаилась улыбка.

7

И опять поднялась та музыка. Брызнет, растает, жизнь пролетит. Откуда знать меня Насте? Какое радио ей наболтало? С какой горькой осины упал этот слух им на головы? Смешно и грустно, но больше грустно.

— Поди, не ты совсем. Я так предполагаю — и никакого студента не было. Напраслина. От зависти да от сплетни. Не ты, значит?.. Ну чё уж, признайся? Мы сами люди хитры. Все живем да хитрим.

Посмотрела внимательно, и в глазах — снова не то лукавство, не то сожаление, но быстро пропало. И все равно стало стыдно, неловко за себя, что молчу. А в чем сознаваться? Она опять посмотрела внимательно, вздохнула так глубоко, что поднялась грудь. Прислушалась к улице, там было тихо, только изредка где-то далеко, в конце деревни, начинался собачий лай. Собака лаяла лениво, с длинными промежутками, злости у ней не было, а разорялась для порядка. Так в чем подозревает меня хозяйка? Она не дала мне додумать.

— Разговорились-то я ничево. Винцо, поди, подъехало! Ты сам-то пьющий, не пьющий? Да не сознайся, где же! А Петро Иванович наш не пьет, только уж прижмет когда, то уж за рюмку. Из-за студента было начал, да прояснило.

— Что прояснило?

— Жался, жался да рассказал жене про студента. Анисья Михайловна как зальется — знаю, знаю, мол, этого человека. И назвала чье-то имя. И Петро Иванович, видно, знал человека. И направилося дело. Так смехом прошло... Другое помешало горе.

Лучше бы она молчала совсем. Боже мой — смехом, смехом прошло!.. Так что же это Она про меня сказала? Почему Петро сразу, после Настюхи, не понял, что речь

идет обо мне? А может, даже и за парня не считал меня? Смехом прошло?! Ничего себе — смех...

— А он не вспомнил того человека? Не говорил?

— Как не говорил? Хорошо знал он студентика. Погоди, как он его... Ты скажи — дак и я скажу. Аха — писарем называл. Да еще как-то, под вид того, што бумажно скребёлко... Все ничего. Да другое горе свалило. Такой сделался дождь — окладник. Я уж тебе заикнулась. Не забыл?

— Что не забыл?

— Как из лесу-то ехали. Она прижалась к Петру Ивановичу и не злат, чё ждет. Вот уж рядом оно, зачем не видят, не слышат. А колесики вертятся, а машина идет в ту сторону...

Она заплакала. Громко заплакала, и я сразу почувствовал — эти слезы надолго. До этой минуты у меня не было к ней ни сострадания, ни жалости, одно любопытство томило: а что дальше сделалось с моей Оней? А сейчас у самого повернулось какое-то колесико, и я уж пожалел, что говорил с ней не своим, грубым голосом, надо бы породней как-то быть, а как — сам не знаю. И я стал ее утешать.

— Успокойтесь, Марья Степановна, — первый раз ее назвал по имени-отчеству. Она приподняла голову:

— Батюшко ты мой! Назвал меня, взвеличал. Да я тебе все сейчас расскажу. До косточки. — Она придвинула стул поближе, сама придвинулась, лицо ее оказалось рядом с моим, и опять открылись в упор глаза. — Говоришь, Марья Степановна! От кого узнал мое отчество? Ох, дура, я же сама тебе назвалась. Да ты слушай, не егозись... Едут они, аха... Нет, не могу.

Она встала со стула, подошла к окну, потом опять села.

— Хоть бы за рулем — не сынок, то — сынок... И вот подъезжают к тому озеру. И вдруг стрилили. Порно так, гром пошел. И сразу подле машины упали уточки. Рядом упали, можно доплюнуть. Аха. Глядят: та утка жива и друга жива. И побежали вперед, раз живы. Ну да пошел, ну да пошел, свету не видят. А охромели. Мои уж из машины — да за имья. Подбежали, а то — не уточки, а утята. То ли дробь в крыле, то ли со страху так. Што думать — сынок накинул мешок на их да в кабину. И поехали понемногу, и не знают, куда приедут, што

ожидат. А жарина, хоть август вроде, все окна в кабинке растворены, ветерок. Едут-поедут. Знали бы, ведали... А ветерок с озера. Все жалели, что не взяли доченьку. Прогулялась бы по полям. Аха. А ветерок подувает, ветерок. От него, поди, и отдохнули утята. Отдохнули в мешке мало-помалу. Да как из мешка-то пырхнут — да сразу к окошку. Петро Иванович растерялся да давай утят ловить по кабинке. Жена кричит, машина сама идет. Схватился за руль, да уж поздно, колесо-то уж с кочки на кочку, да в канаву, да набок. И перевернулась машина ихня. Тут уж не до уточек. Разе поймашь!..

— А сами как, сами?! — заторопил ее, уже чувствуя, что горе надвинулось. За Оню тяжело, и опять тороплю хозяйку, хоть и боюсь ее слов.

— Сами, говоришь, как... — У хозяйки затряслись плечи.

И уж в самый последний миг чувствую, что сейчас услышу такое страшное, от чего и моя жизнь куда-то рухнет и переломится, съедет в канаву. Но все равно на что-то надеюсь, даже пробую утешать:

— Успокойтесь, Марья Степановна.

— И не спрашивай, человек молодой. Так их жизнь повернула на все четыре колесика. — И снова плачет громко, и плач теперь сухой, неприступный.

— Успокойтесь, Марья Степановна.

— Я успокоюсь, они не успокоятся. Оба бедра сломало у Анисьи Михайловны, да ударило об железину. А ноги-то!.. Ноженьки-и-и!!! Помяло да придавило, была без ума. Мертву подняли. Оттрясли... Нет, не могу.

— Успокойтесь, Марья Степановна!

— А у машины кузов к озеру убрисило. Вот кака сила! Понаехало милиции. Петр Иванович стоит, побереженел. А ее уж, матушку, — в больницу, со врачом... Нет, как хошь, не могу.

И как походила она сейчас на мою бабушку! У той тоже, прижмет посильней — и слезы, слезы до изнеможения, а через час, глядишь, опять на ногах: прошла туча, дождь пролился, и небо высохло, синева опять, воздух, и ожила улица, и в полях по-другому. И везде теперь по-другому: трава, дорога, и сам другой, видишь то, чего не видел. И бабушка, бы ало, радуется, забудет, что умирать скоро. И я опять на какой-то миг забыл про Оню, про сообщение Марьи Степановны, про то, что сижу

в этом печальном доме, знать бы — так проехать его стороной.

— Реву все, тебе, поди, надоело. Дак жалко ведь... Отправилась в белу палату Анисья Михайловна. А сынка выпустила милиция, простила. А в чем вина? Да ни в чем. Сам по краю ходил.

Последние слова сказала чуть слышно, лицо стало вдруг слабым и неуверенным, а глаза — безучастны. Тяжело. Неожиданно. Какая теперь она с костылями, с болезнями, какое у нее лицо? Думалось о чем-то темном, тоскливом, как дождливый день. И жаль, жаль. Но странно, уж скоро заметил, что жалость эта — непонятная, без боли, смятенности, да и скоро кончилась. И уж началось в душе — сперва потихоньку, потом посильнее — что-то мстительное, уверенное: вот, мол, пошла за него, решилась, потому и жизнь такая. Сама судьбу выбрала, теперь вспоминай. Вспоминай меня и казись! Теперь и Петро бросит калеку. А если не бросит — измучится. Пускай мучится — туда и дорога, раз не хотел меня признавать. И еще долго набухал во мне, копошился этот подленький червячок. А потом уполз куда-то — и стало стыдно, так стыдно, как будто я хотел убить человека, убить святого, безвинного, без причины. Хозяйка ровно подслушала:

— Петро Иванович у нас за няньку. И за женой — уход, за дитяи — уход, и за мной — уход. Мать же, а сила-то где моя? То в желудке рези, то слабею, лежу, а пить-ись поднеси. В войну на одной картошке, а толсты были, а теперь и похлебать, и состряпать есть что, а не толсты. А все живу, колыбаюсь.

Она задумалась. Что-то еще, видно, вспомнилось. А мне вдруг отпустило душу. И не то чтобы отпустило, а все равно полегче, будто угорел — и открыли форточку, и окропило голову свежим воздухом. А все из-за того, что подступила ко мне одна чудная мысль. Вот сижу, мол, сейчас в этой комнате — и молодой, и здоровый сижу, и свободный от всякого плена: могу встать сейчас и уехать куда-нибудь, и никто за мной не погонится — ни мать, ни жена, ни малые дети, — и ни о ком мне не надо заботиться, не обязан я никому ничем, никому не должен, ни перед кем не отчетен. Вот и сейчас — возьму да встану из-за стола, возьму и совсем уеду из этой деревни и не встречусь с этим героем-доярком, а потом вернусь в город и уйду из газеты, насовсем, навечно, — и покачу в какое-нибудь При-

морье, к далекому океану. А что, правильно — к самому океану, а там поступлю на пароход и поплыву в Антарктиду, в другие дальние океаны, буду ловить рыбу, смотреть на воду, на незнакомые земли, на чужих людей, буду стараться разгадать их далекую душу. И все пойму, разгадаю. А впредь — еще вся жизнь, да самая лучшая жизнь, и еще долго плавать в этих радостных даях. А потом напишу книгу. И о своей любви напишу, и о своих скитаниях, и в особенности о любви, об Оне... Опять об Оне? Сам не заметил, как снова к ней подошел. Неужели все еще любил ее до этого самого последнего дня? Но почему хозяйка молчит? Почему я ее не расспрашиваю? Может, дальше-то и говорить нельзя — так плохо с ней стало. А я ведь по ночам бредил ею, а теперь не хочу даже дослушать хозяйку. А может, просто боюсь?

— А что дальше? — какой-то забавный получился вопрос, как будто о постороннем, да и голос мой, чувствую, не в меру спокойный.

— Известно, што с Анисьей Михайловной.— Хозяйка ответила таким же спокойным голосом и опять замолчала.

— Да что было-то?

— Больница, приемный покой. И главное — не допускали к ней сперва. А Петро Иванович так порывался, а про меня уж и слова нет. Сердце выболело. Кабы лезь да можно, думаю, свои бы ноги отрезала, пусть она ходит, я бы в гроб за нее. Вот как нам угодила с сынком. Вся деревня была на дыбах. Чё да чё с ней, Марья Степановна? А ее ведь повезли в город, в районе даже братья не стали — не умеют еще. Так Петро Иванович каждый день в город — туда да обратно, туда да обратно. Возле оградки стоит там: в оградку пустят, а дальше — никак. Растерялся он.

— Как растерялся? — спросил я быстро, наверно, испуганно, и сразу в памяти поднялся Петро — тот молчаливый, угрюмый парень, и щека его тоже представилась, такая же угрюмая, с темным шрамом внизу, даже запах от его папирос вспомнился, густой и едучий. Наверно, он очень не любил меня. Да и как любить, если говорил с ним я всегда злым голосом, а часто совсем отвертывался в сторону, а он в ответ все молчал и молчал. Вот и вымолчал Оноу.

— Как, говоришь, растерялся...— повторила хозяйка.— Попивать стал. Разе — не растерянность? И курит

потом, и курит. На степь уйдет — вижу: тошнехонько. Само бы главно — в уме устоять. В таких делах не шути, живо — дурдом. А я тогда написала письмо Анисье Михайловне и жду, с кем бы в город. Написала: отбивайся, как хошь, матушка, от сырой земли. Да прибавила маленько: все, мол, хорошо, дети здоровы, бегают, сами успокоились тоже. Чё уж — и мы хитрим. Таки хитры родились. А в ту минуту завернул в горницу Петро Иванович, да уж выпивши, хоть и на ногах ишо, а запашок далеко. И с собой принес к тому. Как сейчас помню до последу. Чё после того — не помню, не хочу. — И опять лицо рукой закрывает, запошвыркивал нос.

— Не надо, Марья Степановна. Не расстраивайтесь. Пожалейте себя.

— Пожалейте, говоришь. Меня живу в землю надо, на куски да разбросать, — кака виновата. Прокараулили ведь Ольгу Петровну... — Но последние слова ее как бы прошли мимо, не задержали внимание, и я опять пробовал ее успокоить:

— Не надо, Марья Степановна. У каждого — свое.

— А думаешь — легко. Плонула бы на себя да растерла... Как зашел он — да сразу бутылку на стол: «Давай, мать, сами себя пожалеем. И мы люди». Люди, конечно, и выпила с ним. Как выпила, ну уж все и забыла, как в родимчике. Он отпаивать да отпаивать. Вот тут Олюшку и прокараулили, нашу Ольгу Петровну. Она ведь в постели лежала, в простуде, с горлышком. И в грудке чё-то. А на улице сильно охота. Ну, видит — со стопкой мы, в то время и выбежала. И к Тобольчику с девочками. Они ее и выманили. На берегу вышел спор: кто в воду полезет. Ну, полезешь, дак тебя и похвалят. У нас директор школы есь, Санечка Петров. Тому чё — в прорубь дак в прорубь, в снег дак в снег. Привыкши. И они тоже прыгнули, девочки, научились у Санечки. Олюшка тоже прыгнула, спаси бог отстать. Прибежала домой — зуб с зубом не стыкается. Посинела матушка — и сразу в жар. К утру жар-от задавил. Вот так, человек молодой...

8

Брызнет, растает, жизнь пролетит. Вот и у самой дочка растаяла. «Ну что вы, что оба смотрите?.. Загуляла Анисья

Михайловна, а вы смотрите... А музыка-то! Вы слышите? Брызги, брызги, а ведь не вино это, а жизнь наша — брызнет, растает...» Опять поднялось то далекое — видно, не прогнать его никогда. И как быстро несется время, — как утешать его бег, как понять быстротечность? И не для того ли судьба дает человеку эти встречи, такие внезапные встречи, чтоб понять ему в своей душе какую-то главную, особую тайну и, поняв ее, судить и судить себя самым последним судом, ничего не прощая? И наверно, в том заключается она, эта тайна, что человек вдруг догадывается, понимает, что в душе его все меньше и меньше остается любви и добра, всего того святого и вечного, на чем он стоит. Но как сохранить в себе последние капли добра, у кого занять силы для этого? А где Оня берет эти силы? Только все равно тяжело, невозможно понять мне, что Оня, моя Оня, уже детей рожала, и не только рожала, но и схоронила уже одну, самую дорогую. И эти дети — Онины дети; никак не представлялось, что это ее дети, моей Они, моей навсегда. А ведь так и думалось тогда, что — навсегда, навсегда! «Вы, понимаете? Слышите? Вот живем мы и хотим всего. Ну, чтоб все у нас было, и счастье было, и чтоб дети когда-нибудь выросли... А успеть-то как?.. И себя вырастить, и детей поднять? Вы слышите?» И я слышу опять ее голос, слышу так явственно. И тот вечер сейчас весь в голове. И другой вечер — сейчас в голове.

...Тогда была осень, дождливый день, дороги сильно испортились. А нам надо до города, на занятия. Еле поймали попутную. Ехали в кузове, машина была гружена пшеницей. Вначале — дождик, тепло, едем медленно. Дорога разбитая, колеса — ковыль да шлеп. Дождику стало больше, но на Оне пальто с воротником, шалюшка хоть и старенькая, но пуховая. Дождь прошел — ветру больше. И продувает, видно, шалюшку. Потом и совсем стало продувать, когда вырвались на плоское место. Тогда легли на пшеницу ничком, но все равно холодно, поближе друг к другу привалились — и сразу тепло, хорошо, хоть и ветер над головой. Шаль на ней уж давно намокла и теперь распарилась от тепла, распушилась и запахла козой и полынькой, и вдруг захотелось обнять ее, зацеловать всю под эти запахи. А она, наверное, ничего не чувствовала, лежала вниз лицом, закрылась варежками, голова успокоилась на варежках. Но я все равно прикасался к ее

шали лицом, мои губы упирались в этот шерстяной ворс, целовали и целовали его, целовали бесконечно весь путь. Одного боялся: что лицо ее там, внизу, догадается, что делаю, догадается — не простит, засмеет. Но она лежала покорно и успокоенно, будто спала. Когда доехали до первых городских домиков, когда крикнул возле нас паровоз, она повернулась ко мне лицом и громко сказала: «Я ведь уснула...» И еще что-то сказала, но заглушил гул машины, и опять паровоз крикнул, застучал по рельсам. А лицо ее было не сонное, — правда, точно не знаю, ведь сумерки, но глаза ее смеялись и щеки тоже, и мне стыдно стало: поди, как-нибудь догадалась, что делал над шалью. В маленьком переулке нас высадили, и мы повернули с ней к общежитию. Опять пошел дождичек, а шаль все так же пахла какой-то воздушной свежестью, как сено в рядках, которое давно скошено, но еще совсем не увяло, да и не увянет потом всю зиму. Мне было весело. Хоть и молчала она, но я чувствовал, что и ей тоже весело. Может, оттого, что нагостились в деревне, а может, и ждала кого-то в тот вечер. И ожидание радовало.

— Задавил жар. В кою пору скрутило!.. И вот понесли на руках нашу Олюшку, невозвратную Ольгу Петровну. Чё дальше было — а чё дальше? Да и чужой ты, не поймешь. Чужа кровь хоть и чует, да чужа... А про себя — што сказать? Молила смертушку, да раньше срока не сунешься... А вот Петро Иванович сделал попытку. Через день, как снесли нашу Ольгу Петровну, в стайке застала за хитрым делом. «Зачем, — говорю, — ты веревку нашел?» А он отвечает: «Бревно к матице привязываю». — «Разе выпадат бревно? И бревно ново, и потолок новый, простоит, поди?» — «Простоит», — согласился и распустил петлю. Как взглянул на меня — да и грохнул на том же кругу: «Кто бы хоть ружье дал, дак убился бы, а с веревкой не буду, не могу. Все равно, мол, не простит Оничка». Сел на порог-то, слезами уливался... «Нет, — говорю, — сынок, хоть в самый раз нам туда обоим, да не подходит. А кто этих двоих подымет, да с женой неизвестно что, а уберемся с тобой — и рухнут безвинные души». — «Рухнут», — согласился. «Ну, вот тебе сказка-присказка. Так што к матице больше бревно не привязывай, еще нова крыша, авось простоит годка три...» Вот и отвела беду. А дальше хуже того. Опять — главна испытка. Да така, не к нам будь сказано, — хоть снова в гроб. Ведь к Оне допускать стали!

Петро Иванович приедет в больницу и докладывает о домашности. А она уж сидит в подушках. Голову вздымет — и слушат. На первый раз и то хорошо. А первый вопрос всегда: «Как Олюшка?» — «С горлом, — отвечат, — не в порядке, простыла». — «А вы с маслом молочка — и пройдет». А на другой раз зашел в палату — она снова: «Как Олюшка?» — «Маслом, — говорит, — поили, прогрели, уж в доме бегат». А чё в груди у него — одному ему известно. «А обо мне спрашивала?» — «Спрашивала, велела врачей маме слушать», — и опять молчит. «А подросли волоски?» — «Подросли, — говорит, — нову ленту купили, была синя, теперь белу заплели». А чё в груди у него, а-а? И опять молчит сынок, не глядит на жену. А той досадно. «Почему на меня не смотришь? Заболел?» — «На работе, мол, устаю». — «А раньше как, не уставал?»... Ну и так да дале. А нам — каково? Кабы, думаю, лъзя да можно, дак сходил бы туда, к нашей Ольге Петровне, да повидался, да вызволил. Нет, оттуда не вызволишь. Родить-то родили, а пожить не дали душе. Сроду не забыть, как сидели радовались над зыбочкой. То я за главну няньку, то Анисья Михайловна. У матери — одна песня, у меня — друга...

Она затихла на полуслове. И затихло почему-то само лицо, не шевелились ресницы, только слегка подрагивали ладони. Они и выдавали волнение. Да и щеки дышали нервной пунцовостью, но эта пунцовость сильно шла к ней — молодило кожу, да и глаза, освещенные из глубины этим волнением, казались большими, блестящими и совсем молодыми. И только сейчас я заметил по-настоящему ее наряд — старенькую вязаную кофту домашней работы, а под кофтой виднелась простая блузка, сшитая из плотного ситцевого материала, с круглым и глухим воротом. И от этого ворота, от вдовьей опрятности на лице еще больше обострялась скуластость и та затяжная задумчивость, которая и смутила меня на первых порах. Но теперь я уж привык к ней, привык к ее ровному голосу с придыханием, с перекашливанием. И вот умолк голос — и чего-то не хватает, не нравится тишина.

Иногда уснешь летом под дождь на крыльце, и вдруг проснешься: что с тобой да где ты сейчас? Оказывается, дождь перестал, стало тихо, не капает, потому непривычно. А было и пострашней. Умерла бабушка, и я долго не мог жить в родном доме: не хватало ее голоса, ее шагов, да

и многого другого, и ничем не заменишь. Правда, оставила мне бабушка после себя «вечную память» — сшивную тетрадку. Моя бабушка писать умела, где выучилась — и сама не помнит, только всю жизнь записывала по всем месяцам, по числам, погоду: когда дождь выпадал, когда вёдро, как зима на лето приходится — не приходится, в каких числах сирень зацвела, в какой день — ягодник. Травы тоже знала, травами и лечила себя и семью.

Тетрадку эту нашли у ней под подушкой. На первой страничке написано: «Внуку моему Виктору Степановичу на вечную память». Описала для меня сорок целебных трав, хотела, чтоб лечил я ими своих детей и сам лечился, записала сорок колыбельных баюшек, хотела, чтобы пел я их и насказывал над своим сыном или дочерью, когда родятся. Записала для меня сорок самых главных советов и наставлений на все удары судьбы. И наверно, думала она, что теперь ее внуку уж ничего не страшно, обо всем она позаботилась, все учла.

В своем воспоминании я успокоился, отошел немного. Уж совсем смирно смотрел на хозяйку, и это ее тоже успокоило. Руки у ней перестали подрагивать, зато лицо стало незаметно оживать, оживать и вот совсем ожило: глаза то распахнутся, то снова прищурятся, видно, сказать что-то хочет, но я опередил.

— А какую вы песню пели? — спросил я неожиданно, потому что загадал что-то. Загадал и сам испугался предчувствия: а вдруг сбудется?..

— Кому пела? — не поняла она.

— А над зыбкой, над Олей вашей.

— Я по-старому пела...

— Нет, все-таки? — И я насторожился: а вдруг все же сбудется. Даже дышать перестал от нетерпения.

— А пела я вот што. Так, собирала:

Баю-баю-баю-бай,
Поди, бука, под сарай,
Поди, бука, под сарай
Коняам сена надавай...

— Ну а дальше, дальше-то?! — Уже чувствую, что голос повысил, но не могу успокоиться. Ведь сбылось!

Правда сбылось, сам перед собой врать не буду. Вот и предчувствие! Стало радостно, невыносимо сидеть, и

я вскочил на ноги. Она покосилась с недоверием. Потом взглянула в упор:

— А што — дурна песня?.. Не дурна если — слушай.

Кони сено не едят,
Все на Оленьку глядят...

— А еще? Что еще? Ну, вспомните! Что вам стоит?

Она опять взглянула в упор, но теперь весело, глаза засмеялись. Такие глаза, что сейчас скажет: вот чудак, навязался на мою шею! Но сказала другое:

— Мое слово ничего не стоит. Только осудишь стару да захохочешь.

— Нет, вспомните!

Она рассмеялась опять и расстегнула сверху на кофте две пуговицы — то ли жарко стало, то ли по рассеянности. И опять — улыбка, детская и безвинная, но смотрит на меня покровительственно и как будто хочет пожалеть.

— И про гусей пела, и про елочку, про теремок пела, про кота да про курочку. Но чаще, поди, про барина.

— Вспомните?

— Вспомнить недолго. Вот оно, подбежало:

Баю-баюшки-баю,
Живет барин на краю.
Он не беден, не богат,
Полна горенка ребят,
Все по лавочкам сидят,
Кашу с маслом едят...

А мне уж нет терпения. Такие же баюшки оставила в той сшивной тетрадке бабушка на вечную память. Я загадал на них — и сбылось. А хозяйка опять замолчала. Взглянул вперед — она головой покачивает, глаза усталые.

— И до того эти песенки добормочешь, што задремлешь. Каки-то мухи уж мелькают перед глазами. Саму покачиват, а то и заснешь — и встанут опять глазки голубеньки. Во сне ли, наяву. Очнешься, а в зыбке — глазки голубеньки. Смотрит на тебя, гуркат. Правда, у грудных они у всех голубеньки, но у нашей на особе. Так си-ильно голубеньки, аж горячо. Глядит, глядит да сморщит носишко, зальется. Смейся, думаешь, смейся над нами. Смешно мы живем, недостойно. Она больше того зальется, — да по-разумному, будто все уж и поняла...

И задумашь, задумашь, как жить им придется, нашим Олюшкам, вынесут ли наши тяжести. Каки им наказы дать, она в зыбке лежит, а ты уж ей приговаривашь, кого любить, от кого бежать, к кому приклонить потом голову. А то задумашь, что мы уж все за них вынесли: и холодно и голодно, и войну провели, столько положили врагов. Мы, поди, последни страдальцы. После нас дорога на катана. Иди да иди... А ты чё ответишь мне?

Но я уж о другом думал, потому что все это я уж знал давно, от бабушки, почти те слова и те же мечта такие же глаза смотрели на меня ласково и туманно, желая долгой жизни, счастливой судьбы. И образовалась вдруг какая-то цепочка, какой-то тугой неразделимый ряд между той, умершей, и Марьей Степановной: те же ожидан наказы, те же песни над зыбкой. Поди, и у Марьи Степановны такая же тетрадка под подушкой запрятана, вон как она из-за детей мучается. И Оня моя мучается.

— Парень, язык потерял?

Но я и на этот призыв хозяйки не откликнулся, потому что ушли мои мысли к прошлой радости.

9

Исполнилось пять лет, но бабушка все равно меня под песню баюкала. Притворюсь спящим, она сядет возле кровати и затянет про буку и про барина, про Кота Котовича, про Петра Петровича. А я не признаюсь, что слышу, все понимаю, а она поет и поет. И Олюшке, значит те же песни приносила Марья Степановна. Все исполнилось, как загадал. Загадал: совпадут эти песни,— значит любила меня Оня тогда. И совпали песни,— так хорошо сразу стало и радостно, будто и нет у Оней детей, мужа, той могилки в ближнем бору. Будто сижу у ней дома по-простому, как в прошлые времена, а она зайдет скоро, молодая, свободная,— и сразу ко мне. А потом — в ночь, на улицу, куда захочет, куда позовет. Недаром играла та музыка, сводила в танце. И вот куда привела.

— А ты што замолчал? Не дослушал.

О чем вы?

— Чудак. Видно, што детей нет. Знашь хоть, отчево детки родятся? Или сам маленькой? Она улыбнулась и отвернула лицо.

Смейся теперь, Марья Степановна, смейся. А у меня все равно сбылось,— опять стало хорошо, и уж не жалел, что за столом остался, а не ушел на улицу, не жалел, что все еще не встретился с дояром. Ни о чем не жалел

— Так и сидели, куковали над зыбочкой. Ночь при дет — остаюсь я одна. Кому в работу это, а мне в утеху. Сижу, караулю. И опять думаешь, как тебе придется, Ольга Петровна. Поди, и война ишо будет.... Только и без войны погинула... Месяц в земле поляживат, а мать не знат, не ведат. До больницы-то ишо не донеслось о нашем горе. А кто и узнал — и тот скрыл. А сама Петру Ивановичу верила, да и только, а по палате знакомые возьмут скажут: счастлива ты мужем, Анисья Михайловна: не пьет, не курит, на бабешек не смотрит. Похоже, что сильно любит, аха? Она только схохочет: курить-то, мол, сильно курит, а ко мне — добрый, правильно, а к чужим женщинам не привыкал, доверяю... Вот и про Олюшку доверяла. Сама уж на подушке, обе руки — в ходу, а про ноги не обнадежили сразу. Ходить, сказали, будешь немного, но без костылей не обойдешься. А што вперед загадывать? Может, и поправятся ноги, по жизни смотря... Значит, на поправку пошла час от часу. И обратилась к нему: «Приведи мне Олюшку на минуту. Приведи!..» Но врачи заступились за него: «Нельзя вам, Анисья Михайловна, волноваться, лишне волнение — лишня болезнь. А муж и так по вам беспокоится, где еще такой муж». Врачи уж знали про наше горе, вот и заодно. И опять живем понемногу, да кака там жись. В больницу ездим попеременно, то я, то он. Глаза сделались у него нехорошие, уставятся на тебя, уставятся — и хоть стой, хоть падай,— такой взгляд. И вот подходит главна испытка...

А мне уж хотелось уйти на улицу, окунуться в снежный воздух, подышать во всю грудь. Да и надо бы к дояру, ведь послали по делу, а я просидел целый день за столом: то вино пил, то слушал хозяйку, то занимался воспоминаниями. Узнал бы редактор, как готовлю свой очерк, как озабочен я дояром,— сразу бы выгнал, да еще высмеял. Но я сидел на стуле и знал твердо, что буду сидеть до конца

Странно это, непонятно. А может, ничего странного, непонятного... Может, люблю ее все еще и жду возвращения, чтоб посмотреть... Какое лицо у нее, какие волосы, какой голос, как ходит она? Но как же ходит все-таки?

И мне представились костыли, ее плечи над костылями, ее шаг, нервный, скачущий, — и больно в глазах... Неужели все еще любил и люблю? Хочу представить ее лицо и никак не могу. Вижу глаза только, потом отдельно — волосы, отдельно — голос, особенно слышу голос, а потом все пропадает, и опять нет ничего. Зато рядом стоит голос Марьи Степановны.

— Главна испытка — как пытка. Он в больницу опять приехал, да в воскресенье, врачей-то никого. Запустила в палату нянечка, сама вышла за дверь. Анисья Михайловна как к нему обернулась да засмеялась нехорошо: «Все уж вы надоели. И ты надоел, Петенька, не сердись. Привези-ко давай детей. Хоть бы Олюшку...» Он повесил голову и на той же ноге — домой. Легко сказать — привези. Олюшка-то давно песочком в бору засыпана, а на могиле уж осенняя травка. Вот тут и задача через число... Он приехал домой да сел на лавку, потом встал и — в магазин. Купил этих как их, — ты скажи, дак и я скажу. Аха — духов в палочке, да на другой день и повез. Говорит, это тебе послали мать с Олюшкой, а сами пошли по грузди, по последни, а то уж заморозки, скоро отойдут, а кадушка стоит недосолена. Она захохотала: грузди отошли давно, как же вы, где раньше были? Вроде поверила или так. Только спросила потом: поди, все простуда у дочки? А он опять не растерялся: давно захватили простуду, надрали веток сосновых, трехгодовалых, да набучили в кипятке, а потом Олюшку — в корыто, с ногами. Потом маслом напоили, как велела... И опять поверила, да, поди, притворилась. Когда надо, мы ведь, бабы, притворямся. С тем Анисьей Михайловну и домой. Сынок подъехал на другой день на машине. Врачи вышли, — я уж знаю, про чё думают.

Марья Степановна вздохнула устало, опять, вижу, набухли глаза. Я подошел к окну. Снег еще падал и повисал на сучьях, как вата. Деревья не шевелились. Светили на столбах лампочки. Деревья в этом свете блестели от снега, тронь за нижний сучок — и упадет на тебя вся вата. А мне помнится, опять помнится...

В тот далекий год я прятался под деревья от бабушки. Был такой же снег, такой же вечер, и она меня кричит, ищет. А что искать, весь садик-то — кругляшок: три тополя да две акации. Но бабушка ищет: а я прячусь, смешно мне, жарко от волнения, а она ищет — и вот идет ко мне,

протянула руку, горят глаза, а я как стукнул по сучку — весь снег на бабушку. Но все равно поймала меня, сграбастала, хохочем вместе — неизвестно, кто маленький. А поздно ночью пьем чай и спим рядом, и во сне я опять в снегу, кричу и смеюсь. Она будит меня, поит от жару смородиной. Опять засыпаю, она шепчет: «Расти, дитятко. Как-то поживется...»

— Давай к столу. Што-то мне жутковато,— отрывает меня от окна хозяйка.

— Успокойтесь, Марья Степановна.

— Ты меня не успокаивай, лучше посиди рядом... Доскажу — будет легче.

И я сажусь с ней опять за стол, и почему-то так грустно — будто приговоренный.

— Ну вот, хорошо. Это Петра Ивановича место. А сейчас ты сиди, раз мужик... Ну, значит, подвез ее к самой ограде, открыл кабинку. Она спустила костыли тихохонько, сама спустилась. А к ней — сыновья: «Мама! Мама!» А мой сынок поберестенел. Я на внучат цыкнула: вот, говорю, достану суконный ножик, ну-ко домой. Но куда! Они за нее сохватались: «Мама! Мама!» Отпустили, правда. Она сразу: «Где Олюшка?» Мнутя ребята. И тогда сказала тихонько, будто по глазам нашим чиркнула ножичком: «А я знаю где». Глядим — у нее голова повалилась назад, да назад, да стук об кабину. Сынок сохватал ее: «Што с тобой, што с тобой?» Воду льем на лицо, не разжимат зубы. Вот они каковы, деточки... У тебя неуж нет?

— Да нет же! Сколько раз говорить?

— И без жены бывают. Неуж обходил каждую бабу?

— Может, они обходили.— Я усмехнулся, а в душе пообиделся, зачем в рот полезла с оглоблей.

— Может, и они...— спокойно сказала Марья Степановна и согласно кивнула.— А я вот с малых лет замужем. Сперва жалела себя — ростиком маленькая, это потом уж сделались подлиннее кости. А совсем маленьку дразнил меня тятя — жихорько. Говорят, лежу это в зыбке, он встанет надо мной и насказывает, насказывает, а самому не пожилось. Умер в чахотке. Да и меня рано замуж выдали, потому што нехватки да недостатки да нечо ись. А на мужа — не покривлю. Он рыбак был, ну, заготовитель. Мы с ним все летечко-залетечко жили на островке, посреди всей воды. Утром сети поставим и купамся,

купамся, тут у меня и стирка, и обед приготовлю, аха. Кака-никака, а помощь. Чё не так — он подучит, да ведь не ссорились. А што ссориться? Бывало, пошумлю на пьяного, а он обернется на меня — ты не выркай, не выркай! Вот и вся ругань. Поругамся так — и опять ловим рыбку. А он ездит в город, сдает. Хорошо было. Вон Петро Иванович тоже не ссорятся. Только тогда поссорились.

— Как поссорились?

— Не то слово. Она от воды-то пришла в себя. А Петро Иванович поберестенел. Хоть в гроб клади — не отмочишь. А она его заметила, да как костыли подымет, да на мужа: «Ах ты, ремок кудрявый! Ты зачем это скрыл?!» Внучатами побожусь, так и сказала: ремок. А еще, думаю, учительница, а како слово нашла. Но што делать, раз не стерпела. А сынок-то, сынок-то увивается перед ней — виноваты, мол, виноваты, хоть режь на куски. Она у нас и опять обмерла, аха... Ну, како теперь здоровье! Курорты да курорты. То на ближни ездила, нонче уж к морю повезла себя. Вчера телеграмму получили — выходите к моему поезду. Сынок — сразу на станцию. Видно, вернутся с часу на час... Отдохнет, поди, до воскресенья — да опять в школу. Тут вчера к нам директор зашел: «Еще не приехала?» — «Нет», — отвечаю. «Худо дело». Он, видишь, ей какое-то порученье принес... Вроде пообиделся, давай глазами стрелять. А я ему: «У тебя чё, куда ветерок, туда и умок? Не успеет приехать, а ты опять в упряжь!» Вроде пообиделся, давай на меня покрикивать, а я с того же краю: «Ходишь тут, шваркашься, а у тебя вон ученики во все стороны побежали». Он занырял в окна: «Где побежали, где?» А я хохочу, залилась. Он и выскочил от меня. Аха. Не люблю его — тоже не женится, ни кола, ни двора, да и попиват, черт его бей, один раз ученикам уж попался сырой. Хочет свалить заведыванье на Анисью Михайловну. И костыли ни при чем! В город собрался наш Санечка Петров. А я не отпущу на заведыванье. И так дóбро на ней выезжают. Всю зиму еще вечерню школу вела, да в школу-то на центральну усадьбу попадала — там уроки-то. Как среда, как суббота — так подгоняют машину за нашей Анисей Михайловной. А запуржит — дак на тракторе. Вот как! Моя сноха сто тысяч стоит, не дам губить последние здоровье...

Брызнет, растает, жизнь пролетит. Как давно это было, и грустно от этой дальности времени, невозвратности. Вот живет человек, дорогой мне, любимый, а совсем не так, как я живу, совсем не так. И у смерти была, и дочь схоронила, и опять детей учит, и опять любят ее все люди: и в семье за хозяйку, и в школе без нее не могут. Так ее любят все! Да и стоит ли жить на свете, если тебя не любят? И было грустно, что ничего еще со мной не было: ни настоящего горя, ни забот, ни семьи. А ведь казалось до этой встречи, что я самый печальный на свете, одинокий, непонятый, точно безродный. Кому весна, кому радости, а мне на шею — редактор с дурным характером, да и что редактор, если рядом — ни друга, ни близкого, ни любви. И я чувствовал себя маленьким, беззащитным, и вздрагивало мое тело от будущих опасностей и тревог. А ведь никаких опасностей еще не было, ни тревог, ни печалей. Все впереди — и жизнь, и печали, и неизвестно, какая выйдет судьба. И почему-то завидовал Оне: она прошла уже далеко по дороге, — пройду ли я? Хватит ли тех советов в заветной тетрадке?.. И я улыбнулся сам над собой. И эта улыбка вызвала облегчение, и я понял с какой-то ясной, холодной отчетливостью, что с этой встречи мне уж никогда не стать прежним, и вся моя жизнь надломилась, и неизвестно, когда срастется, и что судьба моя будет такой же трудной, как у Они, как у бабушки, как у Марьи Степановны, как у всех людей на свете.

Сквозь шторы пробивался с улицы яркий свет, и я подошел к окну, чтоб посмотреть на деревья. Они стояли такие же тихие, как и час назад, только снегу на сучьях было больше, и он сильнее искрился в усилившемся свете фонарей и еще сильнее отливал синим, будто такой и пал с неба. Позавидовал деревьям: они уже большие, им не страшно. Потому и спокойны. Я всегда завидовал спокойствию в природе, и в особенности в деревьях. Я любил их в раннюю весеннюю пору, когда они еще без листьев, но уже распрямились и пошли к солнцу. По весне у меня начиналась тоска по жизни, по какой-то другой, необыкновенной жизни.

Тоска вырастала, когда уехала Оня, тоска вырастала, когда пришел в газету новый редактор и стал притеснять

меня... Но зачем думать об этом — лучше смотреть на деревья. Крыши домов давно уже слились в одну крышу, источились, а снег валился, валился — прощальный отжимок. А потом будет тепло, зелень, полая речка, а в июле — теплые ночи и ожидания. Ох, какие это ожидания! Какие ночи! Не спится, не думается, только чудится, представляется ее лицо, той единственной и желанной. И лица еще нет, только ощущение, только вздох от лица и воздух, но все равно уже стихло сердце и притаилось, а ночь тиха, обманчива и чудесна. А если работаешь, если пишется какой-нибудь очерк, то этого ожидания еще больше, и хочется мучительно, свято описать этот праздник души, это ожидание, и чтоб высоко над этим, на какой-то небесной горе, стоял человек. И чтоб он любил кого-то, чтобы его любили, и чтоб этот миг, тот последний миг встречи, соединения, высек новую жизнь — ожидание. И чтоб опять над этой купелью стоял человек, был первой над ней и последней тенью, и чтоб этот человек был сам автор. Но сам он в эти ночи задыхался от желаний, от предчувствия встречи, он любил Оню еще больше, каждую ночь он прощался с ней — и не мог проститься. Может, то сама кровь поднималась вверх, и сияние ее было так огромно, что даже у спящего открывались глаза и видели снова свет. И всегда весной я сочинял стихи. Они поднимались, стыдливые, бестелесные, и сразу погибали, а взамен их приходили такие же, только еще стыдливей. Они писались об Оне, даже не о ней — о воспоминании. А потом, в своей деревне, я увидел ее издали. Она шла с маленькой девочкой и с Петром. Потом все трое побежали. Все трое смеялись, у всех было словно одно лицо, и я не подошел, и все это длилось один-единственный миг. Неужели уже нет той девочки, неужели никогда не побегит она навстречу воздуху, неужели она зарыта уже боровым белым песочком и никогда не встанет?..

От усталости, от летящего снега стало трудно стоять. Я сел к столу, положил ладони на скатерть. Не хотелось ни говорить, не шевелиться.

— Уснул, поди, милиционер? — засмеялась хозяйка, мои мысли сразу нарушились, и я увидел перед собой снова ее лицо. Оно было каким-то таинственным и лукавым, только лоб напряженно сжался. Губы шевелились уже, хотя не было пока слов. А слова поразили. Я думал, что ослышался, но я же не мог ослышаться: — Анисья-то

Михайловна уехала беременна. Спаси ее, сохрани. Потому и к морю пожелала. Там, говорят, уж больно хорошо.

— Да не может быть?! Ей не разрешат...— сказал я испуганно, но Марья Степановна улыбнулась.

— И не разрешали в больнице. Особо — Петенька. Но она уж задумала. Баба коли задумала, аха. Рожу, говорит, Оленьку, все равно рожу! Сыновья, говорит, для матери, дочь для отца. А пока он у меня обделенной — и смеется, смеется тихонько, поди, подступись к ней. А на костылях сама. Увидишь — дак испугаешься. Я, говорит, и костыли скоро брошу, разработаю ноги. Едва ли...

— Дочь ждете, а она — сына...— уж потом догадался, что сорвалось глупое, но сразу не сообразил. Зато хозяйка поняла меня с ходу и засмеялась.

— Будет третий солдат! А што? Только провожать их туда тяжело, а встречать легко. Вернется оттуда — на любу машину сади, наряжай на любу работу. Нынче как: мать с отцом не выучат — армия выучит. И хорошо, без заботы.

— Неужели родит?..— спросил я снова, и уж не мог скрыть в голосе страха. Было жаль Оню, как близкого человека, и не думалось уже о тех поцелуях, о том дальнем вечере — исчезло это, ушло куда-то, остались боль за нее и страх.

— Ты чё напужался? И родим, и вырастим! — засмеялась опять Марья Степановна.— И зыбка есть, сохранилась от Ольги Петровны. А што, как повешу зыбочку да запою: ой, гу-гу-гу-гу-гу-гу, семь гусей на берегу... И уснет наша Оленька или Петенька. Последнего нарекем по отцу. Аха-а! Петро Петрович Палин, проходите, беседуйте. И родим, и вырастим! Вон земля наша, матушка, сколько раз на костылях ходила, бывало, уж у смерти — конец, а глядишь, опять оклемалась, новы люди пошли, живем дале — не тужим. Ох и хитра земля!

— А если не родит? — спросил я чужим и зловещим голосом и сразу пожалел, что спросил.

— Таково не бывает. Мы-то на што — пособим. Родит наша Анисья Михайловна. Пособим! — Она опять засмеялась, лицо успокоилось, совсем освободилось от слез, и глаза опять сияли по-молодому, опять сильно покраснелись щеки, точно зашла с мороза.

Но сам я никак не мог успокоиться, уже не с жалостью думал об Оне, а с отчаянием: на костылях ведь, а рожать



собралась, вынесет ли, уцелеет ли на земле? Мимо окон прошла машина, свет ослепил нас. Хозяйка бросилась к шторе, но быстро сникла.

— Нет, не они.

Гул машины потерялся вдали, и опять стало тихо. Только в ограде кричали ребятишки да на кухне скребла когтями кошка о гладко покрашенный пол. И вдруг мне захотелось, нестерпимо захотелось сейчас же на ферму. А может, стремился оттянуть встречу с Оней, и надо было побыть одному на улице, чтоб приготовить себя. Значит, на ферму.

— Я хочу к Ивану Ивановичу.

Хозяйка недовольно качнула головой:

— Каких ты все доярок из мужиков ладишь! Сказано же, что не по своей воле он, а из-за Таньки. Ругать ее сильно не буду, но только привередничат она.

— Пойду все равно.

— Дело хозяйско. Зачем только мучишься, в твои годы, поглядишь, все парни на тракторе. Вон как дома кругом завернули, да и то ли настроили бы — ведь ничё не достать. И деньга появилась у многих, крепка деньга. А ты кого? Себя замучил и людей хошь.

— Я, может, книгу напишу про Ивана Ивановича!

— Не прибавляй, даже слышать не хочу.

— А почему? Почему не уверены?!

— Потому что потому, человек молодой. Ишо книгу — не к нам будь сказано.— И ничего не добавила больше, оттого стало не по себе.

— А почему не напишу, Марья Степановна?

— Вот заладил. Да изойдешь пузырями... Сам-то еще в зыбочке, самого-то надо качать-укачивать. Ну чё ты видел? Русску печку да калены кирпичи. Вот встанешь на ноги да пойдешь по земле — тогда и... Ну, поглядим. А на дойку сходи. Не убудет, поди, от нашей доярки.

Хозяйка крикнула Виктора Петровича. Тот смиренно встал у порога. Она обратилась ко мне:

— Вот тебе провожатой. Да машину слушайте. Как машина — то и они.

Мальчик молчал и шел сзади. Казалось, что он меня побаивается в темноте. Начиналась ночь, но снег все еще летел, и оттого было тихо. В доме я не посмел закурить и сейчас радовался первым затяжкам, в голове началось кружение и постукивало в висках. Тишина успокаивала, только в небе чудился какой-то шорох, но это шелестел снег, а может, просто представлялось, что он шелестит. Дорога теперь выровнялась, и снег по дороге стал мягкий. Нога слышала его, как одеяло. Дышалось легко, воздух густой и свежий, хотелось подольше задержать его в груди и пить, пить.

Безветрие, дома кругом зыбкие, окна светятся, но как-то слабо, будто в тумане. Мальчик отстал, он шел вперед не лицом, а спиной. Я удивлялся, как он не падал, но он шел и шел. Окликнул его: «Поскорей можешь?» Он быстро догнал меня, но не сказал ни слова. Опять двинулся вперед спиной. Прошли мимо нас две молчаливые фигуры. Обе в снегу, не видно лица, безголосые. Мальчик от них отшатнулся, потом обогнал меня. Прохожие не разговаривали. Я оглянулся на них, но они быстро пропали в снегу. Впереди забрезжил широкий свет. Так и дошли до фермы. Я остановился, чтобы унять дыхание.

Горело везде электричество. Большие навозные кучи отдавали тепло, над ними плавал туман. Рядом с дверью стоял старик с вилами и курил. Из двери тоже пробивался пар, а в глубине шевелилась какая-то сырая теплая масса. Это шевелились коровы, тихонько помыкивали, и мычание было домашнее, успокоенное. Старик повернулся, оставил вилы. Я его принял сперва за старого, но лицо его близко, под фонарем, выглядело моложе, и руки у него были крупные, сильные. Смотрел он пристально и задумчиво — казалось, знал что-то про меня и не признавался. Спросил у него про Ивана Ивановича.

— Ванька-то? Нарасхват он у нас. Наш Ванька сто тысяч стоит.

Я улыбнулся, вспомнив слова Марьи Степановны об Оне. Такие же точно слова.

— Ваньки нет. Собрались да ушли туда.— И он показал рукой на дорогу.

— С кем ушел?

— А на што? С Танькой ушел. Жениться не женятся,

а народ дразнят... Пошли, погода позволила.— Последние слова сказал медленно, точно действительно знал чего-то, не признавался.

Мальчишка всхлипнул от смеха и дернул меня за пальто.

— Они навстречу попали. Я видел...

— Почему не сказал? — Я повернулся к мальчишке обиженно, но он опять засмеялся:

— Они были обнявши...

Скотник угостил меня папиросой. Когда я наклонился к нему прикуривать, то отчетливо бросились на меня его глаза, большие и хитрые. Даже показалось, что подмигнул.

— Давай покюрим... Вот женятся, дак дити пойдют.

Я кивнул ему, согласился.

— Моя вот четверых принесла, дак хорошо.

Он опять подмигнул и с наслаждением затянулся. Потом перестал курить и сказал такое смачное, что я испугался за мальчика. И почему-то не выговаривал букву «у», все юкал да юкал. Видно, надоело разыгрывать. Отбросил папиросу и взялся за вилы. Я кашлянул, он кашель истолковал по-своему:

— Без вил пока не обходимся. А навоз — уж трактором, трактором. Знашь бульдозерну лопату — не знашь?

Теперь показалось, что он помрачнел отчего-то и перестал улыбаться. И теперь букву «у» хорошо выговаривал.

— Моих двое на ферме, дак хорошо. Да в школе двое. Придут сюда же.

— У вас дочери?

— Дочеря, все дочеря. Как пойдут рожать после — знай припасай одеяла.

— Зачем одеяла? — удивился я. Уж не смеется ли он, в самом деле.

— А спать-то на чем — на соломе? — И опять казалось, что он смеется и что-то знает. И вдруг открылся: — Ты из газеты, да? До тебя был такой же, вы чем-то походите. На одном солнышке онучи сушили... Тот за Ваньку вцепился, и больше — шабаш. А ты к коровам зайди. Что им надавано, не надавано, что почем Молоко погляди на жирность, а то мои дочеря туда воду спускают.— И он опять засмеялся, но сразу же перестал.— И чистоту проверь, а то сразу свой интерес выдал. Тебе что, наша Танька знакома? Не знакома?

Я удивился: откуда он знает про мою газету? Вот уж правда — в деревне не скроешься. Скотник смотрел на мсня и хмыкал, посмеивался, словно в чем-то подозревал. Сразу захотелось уйти. Он не задерживал.

— Через часок приворачивай. Оба будут... — И засмеялся нехорошо.

Еще долго я слышал этот смех. Было беспокойно, и мерзли руки. Я их совал в карманы, но они все равно мерзли, и хотелось на кого-то разозлиться. Обидно, что не встретил. О чем буду писать? Мальчик опять шел сзади, видно, меня побаивался. А может быть, уже не любил. Я чувствовал, что счень устал, хотелось в деревню, в тепло, в висках постукивало, и закрывались глаза. На скотника я уже не сердился, наоборот, вспомнилось, как он кривлялся, только зачем он, кому подражал? Наверное, кто-то из начальства говорил на такой манер, а он передразнивал. Но я-то при чем? Улыбнулся — завтра посмотрю на его дочерей, завтра приду сюда на весь день... А Оня? Но теперь уже все равно. Я знал, что мне никуда не уехать, пока не увижусь, и это было как приговор. «Дочеря туда воду спускают...» Да он же шутил, конечно, шутил, и я улыбнулся. И опять на секунду забыл про Оню, хотелось идти и идти к горящим огням деревни, словно там будет отдых. По дороге была тишина, снег светился, мерцал под луной и казался ненастоящим. И луна тоже вышла ненастоящая: слишком большая, желтая, медная и все время то двигалась ко мне, то отдалялась. Под ней шли и шли облака. Завтра будет хорошее небо.

Видно, я сильно измучился. Тело мое качалось, и ноги уже плохо слушались, хотелось прилечь на снег. «Сам-то еще в зыбочке, самого-то надо качать-укачивать», — и голос очень тихий, живой. И лицо ее стояло рядом, только не мог вспомнить его во всех подробностях: оно стояло в уме, но вместе не складывалось, где-то встречалось прежде, но где? На какой пристани, на какой дороге встречалось, в каком поезде смотрел на него? Что хотите со мной делайте, а хорошо знал его, давно хранил в памяти это лицо. Странно, Марья Степановна, странно и удивительно, где мы с вами встречались, ведь знал же вас, разговаривал, смотрел в ваши глаза.

Снег за спиной тихо поскрипывал, мальчишка шел осторожно, стараясь не догонять. Дышалось так же легко, но что-то изменилось в воздухе, и ресницы отяжелели,

застыли. Иней, зимний иней — это всегда к теплу. Мальчишка задышал сильнее, поднялись огни, на ближней улице засмеялась девушка. Она засмеялась внезапно, без предупреждения, и я вздрогнул и остановился. Меня сразу догнал мальчишка и покорно пошел рядом, словно ждал наказания. Улыбнулся ему, но он не видел моей улыбки, в носу у него заложило, дыхание было тяжелым. Доигрался снежками... Опять улыбнулся ему, хотелось потрогать его за щеку. Вот иду сейчас с ее сыном, а тогда шел с ней. И эта мысль поразила своей правдой, дохнуло холодком времени. Луна поплыла от меня, живая, холодная, так же дробился в снегу лунный свет. Сколько прошло с тех пор времени?.. И сразу отвлек мальчишка:

— Зачем вам дядю Ваню? Может, найду?..

И задышал часто, испуганно, будто был виноват.

— В газету надо. А искать дядю теперь не надо.

— В газету!..— удивился мальчик и, кажется, успокоился. Не слышно дыхания.

А мне вдруг расхотелось писать. Да и надо ли теперь? Я вспомнил про ту вырезку и сразу понял, что писать не могу. Трудно и страшно, непостижимо, ведь надо писать про Оню и про Марью Степановну, про всю их семью, про Таньку и Ивана Ивановича. И про любовь... Нет, не могу! Пусть увольняют!.. Подумалось об этом горько, с тупой болью и отрешенностью, хотелось уже другой, новой жизни, новых встреч и дорог, и я не мог уже теперь жить по-старому, да и сам я теперь другой.

Мамка твоя любит отца?

Мальчик засмеялся и побежал от меня. Почему спросил — сам не знаю, но уж поздно, поздно. Мальчик побежал, вот уже совсем далеко.

— Куда ты, Витя? Остановись!

Он остановился.

— Куда бежишь?

Он посмотрел на меня и опять засмеялся, да так и не переставал смеяться, шел вперед дурашливым кривым шагом и пинал снег. А ведь он мог быть моим. Моим сыном! Стало стыдно, я зажмурился, точно он слышал.

В улице было темней, глуше, чем за деревней. Где-то рядом опять возник женский голос, но его заглушил другой, мужской и нетерпеливый, а в конце — опять женский смех. Хотелось любви, и такой же ночи, и такой же спокойной улицы, и чтоб рядом — такой же смех.

— Пойдем завтра с нами? На быках научу...— Мальчик кашлянул и засмеялся.

Взял его за плечо, но плечо вывернулось — мальчик снова побежал от меня и теперь не оглядывался. Стало темнеть в улице — это туча медленно закрывала луну, и, когда совсем закрыла, сзади меня плеснул свет. Машина выскочила из переулка и шла с полными фарами, шла весело, раскидывая снег. Потом услышал, как закричал мальчик: «Мама! Ма-ама!» Фары пронеслись мимо, и гул затих в конце улицы. Мальчик побежал вперед. Вот и дождался... подумалось не то о мальчике, не то о себе. А ведь можно и не ходить... Но я все равно шел и шел. Потом опять услышал крик впереди:

— Скорей!.. Мама приехала!

Мальчик дышал запаленно, несло от него теплом.

— Она без костылей ходит!..— И сразу нырнул в ограду.

Дом казался теперь большим и высоким, везде пылал свет. И в ограде был свет. Я пригнул голову и шагнул в этот свет, как в огонь.

ЛЕГКАЯ

1

Говорят, к сорока годам в человеке что-то стихает и успокаивается и все чувства, желания входят в свои берега. А если разобраться, то много ли — сорок лет? Просто жизнь так коротка, быстротечна, что надо ловить свое счастье, пока еще можно, пока в тебе бродит горячая кровь. А если она уже не горячая, если все прошло, миновало, — и вот уж рядом печальный закат?.. Об этом и еще о чем-то смутном, тяжелом думал школьный учитель Валерий Сергеевич и молча курил. Сигарета не успокаивала, да и отвлекала девочка, дочь погибшей во время недавнего пожара телятницы Антонины Катайцевой. Девочка сидела напротив и смотрела в пол. Глаза были сухие, настойчивые, таили обиду.

— Пойдемте к маме... В последний раз.

Он вздрогнул:

— Что ты говоришь, Нина?

— Пойдемте к маме! Я боюсь одна на могилку...

Учитель в который уже раз думал о смерти Антонины и о том, что девочку надо как-то устраивать, и устраивать надо ему...

— Пойдемте?.. — сказала девочка.

— Ну хорошо.

Он все курил, вздыхал, а девочка хмурилась, молча ждала у двери. Погруженный в свою нелегкую думу, он вышел наконец на крыльцо... Потом медленно шагнул со ступенек.

Он выбрал самый дальний, окольный путь. Девочка шла рядом, отрешенно смотрела под ноги. Вот уже кончилась улица и начались поля. Учитель свернул с дороги и замедлил шаг. За полями, глубоко в лесу, был школьный трудовой лагерь. Там жил его сын — пятиклассник Сережа. Валерий Сергеевич любил приходить к нему неожиданно. Вот и сейчас он решил повидать сына. Нина потянула Валерия Сергеевича за руку, обращая на себя внимание.

— Я уеду, а кто мне напишет?

— Я напишу. И Сережа напишет. Ты ведь дружишь с Сережей.

— А еще?

— Все напишут...

Она обиженно замолчала. Сандалии неслышно ступали по песку; она шла, точно подкрадывалась, и этот легкий шаг настораживал его, потому что кого-то напоминал. «Ну, конечно, ходит, как мать...» — вдруг догадался Валерий Сергеевич, и сразу жалость пронзила — ведь Нина же теперь сирота, круглая сирота.

— Тебе будет хорошо в детском доме! Да и город большой, театры... Я бы сам пожил в городе.

— Какие театры? — прервала девочка и улыбнулась. Улыбка была тихая: Нина хотела заплакать или в чем-то признаться, и нерешительность эта, видно, томила. — Извините, я перебила.

— Ничего, Нина, ничего.

— Я попрошу...

— Говори, говори, — подбодрил он, а у самого все замерло, затаилось: к чему она клонит?..

— Я потом... — Она замолчала.

Учитель обрадовался молчанию.

«Какое тяжелое лето... Вот уж целый месяц ни тетрадей, ни школы, а все нет желанного отдыха. Да и жена далеко, в Чебоксары уехала. Хотела недельку погостить у родителей. Но разве обойдешься неделькой? А была бы рядом — все бы полегче. Вот теперь он должен решать, как быть с этой девочкой. Но почему именно он?!» — вопрошал он кого-то и нервно покашливал. Дышалось трудно, точно перед грозой.

— Вы завтра меня повезете?

— Завтра, Нина. Не беспокойся.

— Я так... Все равно...

Она словно бы молчаливо осуждала его за что-то, и лицо ее было сухим, серьезным — без кровинки лица. Иногда опасно посматривала на небо, будто ждала непогоду, грозу и заранее боялась ее. А в небе уже шли облака. Они родились внезапно, из ничего, и медленно потекли над лесом.

Девочка опять подняла глаза, и он улыбнулся.

— Чего там увидела? Запнешься! — Он попробовал пошутить и отвлечь ее, но шутка вышла мрачной, глухой.

— Не запнусь! — так же мрачно ответила она и еще внимательней стала смотреть вверх.

Одни облака были белыми, другие темными, иногда два облака сливались в одно, и тогда это новое облако казалось серым, белесым, но все равно за этим облаком уже чудился дождь.

«Хорошо, что дождь снова, — значит, трава пойдет и накосим сена...» — подумал с облегчением учитель. За годы жизни в деревне он уже привык к таким мыслям. Вот и сейчас он подумал вдруг о своей корове, об овцах, которым надо поставить сена. Дождь сейчас, после долгой засухи, был очень кстати — после дождика любая травка в рост пойдет, оживится.

Девочка остановилась, поправила волосы.

— Ну что, споткнулась? — опять попробовал пошутить он, но та не поняла шутки:

— Я легкая, не запнусь...

— Какая?

— Легкая. — В ее голосе прозвучали досада и боль.

— Легкая, легкая...

Он не заметил, что говорит вслух. И опять подумал об Антонине: «Как они похожи все-таки — мать и дочь! И походкой, и голосом... Ну что из того — пусть похожи». Но все равно мысль об этом стала опутывать его, и не было сил от нее отмахнуться, избавиться. И он покорился ей, стал думать о давнем, о прошлом. Но в этом давнем поднялась опять Антонина — мать девочки, и ему вспомнились его двадцать восемь лет... Институт он закончил поздно, не вовремя. Теперь бы в педагогический не пошел ни за что, а тогда вернулся из армии — и сразу бух, как с обрыва, благо что институт в родном городе. И вот он — сельский учитель. А что делать — сам выбрал... Зато сразу же повезло в малом — с квартирой, с хозяйкой. Вот

она стоит перед ним — Антонина Ивановна, улыбается, а в глазах — добрый, искренний свет.

— А ты Тоней меня зови, можешь Тонечкой. Не остарела пока ведь, не остарела. Не в невесты, так хоть в сестры гожусь. Я так полагаю.

— Кому в сестры?

— Да хоть тебе. Я ведь и постарше всего немного-то, каких-нибудь десять лет.

— Сколько же вам, Антонина Ивановна? — спросил он уже вольным, веселым голосом. Возле нее было очень легко.

— Кто ж у бабы года спрашивает? Я совру — ты поверишь. А ты Тоней зови. И чтоб без всяких там хвостиков да без отчеств. Ты ведь еще и посватать можешь меня! Видишь, кака баска да молоденька, — и сразу засмеялась громко и весело. И вдруг застеснялась: — А ты сердишься, не сердись!

— Я ничего.

— Ну вот хорошо, все правильно. Не всем быть молодым да красивеньким, а некрасивых куда? В чулан на замок? — Она засмеялась снова, но быстро сникла и опустила голову. — Я в войну ведь так выхудала, и после я не поправилась. Видно, сжались тогда мои косточки от больно сладкой еды... Ну, чё замолчал, Валерий, Валерий... Аха, Сергеевич? Ты вон молодой какой да посадистой, ну прямо офицер, аха, капитан.

— Я не офицер...

Но она уже не слушала, прервала его, увлеклась:

— У меня муж тоже был офицер. Такой brave да сухонькой, руки в боки, шагом арш. — Она опять засмеялась, потом смутилась, нахмурилась: — Ну, ладно, смешно тебе, смешно, вижу. А ты, значит, хорошей, серьезной... Ну, ничего, не страдай, не тушуйся, живи давай поотдельно. Молоко я тебе буду носить — хоть запейся. Комнатка-то твоя бокова, есть друга дверь из сенок, ход-то будет другой. А то люди наврут на нас да ославят...

Все это она выпалила враз, не запнулась. И пока говорила — смотрела прямо в глаза, не мигала. А на улице было ярко и солнечно — и от слов ее, от улыбочки, от белой, веселенькой комнаты, где сидели они, от самой летней деревни в раскидистой зелени, от теплого, чистого воздуха, от всей теперешней жизни, такой новой и нестроенной, ему стало вдруг так хорошо, так радостно, что

он любил уже здесь все: и хозяйку свою, и деревню, и школу, которую не видел еще, но верил уже, что и там хорошо и все ждут его не дожидутся.

— А река у вас есть?

— Ты чё! Поди, через мост ехал?

— Ехал, Антонина Ивановна!

— Ну вот, ехали, ехали да приехали.— Последние слова она произнесла медленно, с остановкой, потом совсем замолчала, задумалась. Но, видно, трудно было молчать.— Ты чё меня Тоней не называшь? То ли трудно тебе, тяжело? Ничего — будет время, само придет. Я баба легкая, несердитая, и имя такое же легкое, тонко-тоненько...

— Магазин где у вас, Антонина?..

— Ну чё ты, чё ты, честно слово, Тоня, Тоня я!.. Давай деньги, сбегая за покупками, только водки не покупаю. Нет, Сергеевич, нет и нет...

— Что вы, зачем же вас затруднять...

— Надо ж, надо ж, какие мы вежливы! «Что вы, что вы, вас затруднять!» — Она передразнила его громким веселым голосом, подмигнула.— А ты бы по-простому, по-нашему: ну-ко, Тонька, одна нога здесь, друга там!

— Поди, далеко?

— Ох, смешишь ты, Сергеевич! Я ведь шагом не хожу, все бегом, как по воздуху. Я зарядкой занимаюсь, Сергеевич!

— Неужели!

— Неужели в самом деле, честно слово — не пойму.

Она засмеялась, откинула голову. А он смотрел на нее, приглядывался, и все кружилось в нем, наливалось радостью. Что-то было праздничное в Антонине, забавное: то ли простоты вдоволь и мало ума, то ли, наоборот, хитра слишком, заплетает что-то, не расплести потом.

— Я и колесо делаю. Вертушку кручу! Тебе в армии, наверно, показывали?

— Знаю, знаю, показывали!

Он уже еле сдерживался, но смеяться боялся — еще обидится... Но откуда она? Откуда взялась такая маленькая, веселая, с карими подвижными глазками, с пучком поседевших волосиков, завитых, скрученных в тугой узелок?

— А ты не жалея Тоньку, приказывай! Я баба веселая, легкая, суха палка, бараний вес. Я и в городе жила,

побывала. Городских сухарей попробовала, ишь как с них расплылась.

— Долго жили там?

— Долго, долго, Сергеевич. У нас квартира на втором этаже была, так я на третий все пробегала. Разбегусь — да прямо в дверку чужую стукнуся. «Подь ты к черту, — корю себя, — то ли птичка ты, то ли бабочка семикрыла. Куда летишь, спешишь?»

— Вы с мужем жили?

— С мужем, да. — Она на минуту задумалась. И снова осветилось лицо: — Мой-то из военных был, с золотыми погонами. Капитан, может, даже майор.

— Может, генерал? — Он все-таки рассмеялся.

— Зачем прибавил, Сергеевич? Ты видал генерала-то? Его, поди, не обхватишь по талии, да и росту отмеряно. А мой — где там — такой же легонькой, суховатенькой, от него и научилась гимнастике. По утрам соскочим — и сразу на голове стоим.

— Оба стойте?

— А чё нам, Сергеевич? Я вначале из угождения, потом вижу — на пользу мне. Не купишь здоровье-то. Хочешь, покажу упражнение?

— Потом...

— Закругляюсь, Сергеевич. А то надоели слова да речи, надо за стол.

И потом за столом ему было опять покойно и весело, как будто приехал к родной матери на каникулы и кругом все родное, домашнее, и оттого — тепло и покой. А она все смотрела на него устало и ласково, как будто бы сына видела...

Но Тоней так и не смог называть ее, как-то не получилось, стеснялся, да и временами она выглядела совсем старой, уставшей, не помогала, видно, гимнастика, а может, годы брали свое.

Очень любила ходить по грибы. Правда, редко приходилось с корзинкой — в колхозе время всегда горячее. Работала много — то дояркой, телятницей, то замещала заведующего на ферме, — вставала рано, ложилась поздно, так что какие уж тут грибы... Но все равно выкраивала свободный часок. Лес-то рядом, и ноги свои. Да и любила эти лесные часы...

Учитель вздохнул глубоко, оглянулся. По дороге кто-то ехал на лошади. Лошадь шумливо фыркала, видно, по-

падал в ноздри сухой песок. Поравнялась телега, в ней сидела Валентина Корюкина, тоже телятница, работавшая с Нининой матерью. Он не любил эту вздорную, скандальную женщину и старался всегда избегать ее. Но сейчас делать нечего — носом к носу...

— Пошел к сыночку, Сергеевич?

— Туда! — Он ответил отрывисто и замедлил шаг. Но телега тоже замедлилась, и он с раздражением закурил.

— Все собираюсь к вам да наглаживаюсь, поглядеть ваши ковры-гарнитуры...

Он опять промолчал, только в щеки бросилась бледность. Но Корюкина ничего не заметила; лицо веселое, круглое, и руки — такие же толстые, круглые — цепко сдавили кнут.

— На своих ножках нынче. Надоело на «Жигулях»?

— Надоело...

И снова затих разговор.

— Говорят, вы втору коровенку заводите да бычка пустили?

— Ну и что!

— А я хочу в работники напроситься! На полставки возьмешь?

— Мне сейчас не до шуток!

Он посмотрел долгим взглядом на девочку, и у Корюкиной сменилось лицо. Но девочка, казалось, не обращала на них никакого внимания.

— Худо тебе, Нинка, будет без матушки! Ой худо — не приведи. Да не вернешь...

— Кого? — спросил машинально учитель.

— Не вернешь нашу Антонину Ивановну. Да хоть бы не така смерть... — И Валентина поднесла к глазам носовой платок.

— Тебе-то что плакать, страдать... — оборвал он ее громким сердитым голосом и сразу пожалел, что вспылит. Не хотелось ругаться, еще больше — расстраиваться, только хотелось побыстрее от нее отделаться, но у той уже лицо налилось.

— Ты мне не указывай, Валерий Сергеевич! Ты мне рот не затыкай белой тряпочкой... Я вот правду возьму да выпалю.

— Давай, пали, заряжай...

— Гарнитуры-то еще не все в Кургане скупили?.. Когда-нибудь завалит вас этими досками.

— Какими досками? — Он удивленно посмотрел на нее и опять нашел силы сдержаться. А Валентина не унималась:

— Лучше б Нинку сейчас пристроили. Не велика ведь птаха — только в шестой перешла. А то деньгу в кучу гоните, гоните, а человек пропадай... Небось Антонина помогала тебе перво время, как родного брата держала. А кто ты был — чужо полено березово, простой квартирант.

— Я не просил...

— Ну и что — не просил. Не в просьбе дело. Нинка вон разве просит? — Она взглянула на девочку, вроде еще что-то хотела сказать, но только махнула рукой. Девочка побледнела, еще ниже склонила лицо:

— Не надо...

Но глаза Валентины теперь оттаяли. Может, застыдилась, что наговорила при девочке лишнего, и теперь попробовала пошутить даже, перевести разговор на другое.

— Ну ладно, Сергеевич! Не переживай ты, не обижайся, плюнь ты на меня, на такую нахальную бабенку! Все плету не свое, не наше, а ты — к сердцу да к сердцу!

Пока она говорила, он стал успокаиваться, но все равно раздражение не смолкало в нем, да и надоел ее голос. Валерий Сергеевич начал покашливать: мол, хватит, поговорили уже, теперь пора помолчать. Валентина заметила это покашливание, истолковала по-своему:

— Простудился где-то, не поберегся. А что, Сергеевич, тебе жалко, поди, Антонину? Ох, поди, жалко! Как она болела о тебе — вся деревня знат, и я знаю. А ты, Нинка, не наводи ухо, необязательно... — Она взглянула на девочку, что-то еще хотела добавить, но только головой покачала.

— Не надо про маму... — попросила девочка.

— Все, все, — засовестилась Валентина. — Мы закончили. А ты точно простудился, Сергеевич. — Она хмыкнула и закусила губу. — Хлипкой пошел народишко. Я в войну вон до Покровки босиком бегала — не в чем дак. Доброй обувинки не нашивала. Дегтем пятки натру, хоть на снег ступай, хоть на стекло — нога не чувствует... — Голос ее стал мирным, податливым, но учитель молчал, и это задевало Валентину: — Садись, что ли, подброшу? Я тоже в ту сторону...

— А мы на могилу. Я к маме,— вступила в разговор девочка и посмотрела на всех строго, пронзительно. Но Валентина словно бы не заметила этого, потому опять начала:

— Как ты ее с Сереженькой-то будешь разлучать? Все время вместе играли, привыкли. В детдом ее, что ли?

— В детдом...— И вдруг он вздрогнул от непонятного звука и повернул голову. Это плакала девочка.

Валентина спохватилась:

— Ох, Нинка, виноватая я, обзабылася. То Сергеевича разобидела, то теперь вот тебя. Ну, что ты, что ты, как разожгло-то тебя! Я сама об Антонине реву, все сердчишко мое изболело...

Теперь уж сама Валентина заплакала. Плакала навзрыд, и видно было, что забыла про лошадь и про то, куда едет, и Валерию Сергеевичу тревожно стало опять, стыдно чего-то. Эта тревога, этот стыд перед девочкой совсем сломили его. Он слышал уже, он чувствовал, что нервы его на пределе.

— Не понимаю, Сергеевич, зачем ты Нинку повел на пожарище?

— Она сама попросилась.

— Мало ли что сама.

«Да перестань ты меня учить!..» — крикнул было он, но в последний момент сдержался. Зато Валентина не закрывала рта:

— Пожалей девку-то, не води туда! Како сердце надо иметь? Или каменно сердце-то?

— Да замолчи ты, баба-дура!..— Сказал все же, не смог сдержаться, и сразу пожалел, что не смог.

— Я — баба-дура, а ты — самой умной!

Вожжи вывалились у нее из рук. Лошадь фыркнула, остановилась. Валентина смотрела на него в упор. Но он не видел ни глаз ее, ни лица, ни слепой обиды в глазах. И чтобы избавиться быстрее от нее, он подобрал с земли палку и замахнулся на лошадь.

— Пошла! Пошла!..

Но лошадь словно тоже была заодно с Валентиной — даже не шевелилась.

— Пошла давай!

Лошадь стояла, тогда Валентина слезла с телеги, подобрала медленно вожжи и так же медленно села.

— Спасибо, Валерий Сергеевич! Спасибо, родной...



Вот уж палкой начал замахиваться, а ты ударь, ударь, чего жалеешь-то, да и меня заодно.

— Ты наприсишься!

— А-а, не пугай Настасью большой снастью. Сами кого хошь напугам! Но-о, поедем, Гнедуха! — Она натянула вожжи, телега сразу рванулась и покатилась.

Через минуту смолкли колеса, и учитель стал приходить в себя. С Валентиной у них так всегда: как сбегутся — так сцепятся. Плохо только, что поругались при девочке. Да что — теперь не исправишь. И это «теперь не исправишь» почему-то постепенно его успокоило.

Остыла и девочка. Когда взрослые горячились, она отошла в сторону и старалась не слушать. Но кое-что все равно поняла, и слова их принесли ей боль. Она давно про себя любила Валентину — и по дружбе той с матерью, и так, по разным добрым делам от нее, — потому очень испугалась, когда учитель побледнел и начал ругаться. Она переживала и за лошадь, на которую замахнулись палкой, — а за что замахнулись? И эти переживания, нахлынувшие разом, отвлекли ее от большой беды. Но вот стихла телега, и девочка оглянулась. Учитель беспокойно посматривал в небо. Она тоже подняла глаза. По небу тяжело плыли черные облака. Чернота эта была понятная и нестрашная. Она несла с собой дождь — влагу на луга, огороды. Дождь был так нужен земле. И лес, и травы, и птицы тосковали о нем. Тосковала и Нина. Она тоже любила дождь и сейчас с надеждой смотрела вверх.

И на девочку снова нахлынул непонятный и страшный вопрос: «Где же ты, мама, сейчас? Где ты?..»

2

Учитель начал успокаиваться, да и дышалось ровней. И о девочке думал без напряженья, душа почти улеглась. «Все справедливо, все правильно, в детдом ее — больше некуда. Не брать же в свою семью. Вон родных детей оставляют, сколько матерей развелось одиночек, а ты, подумаешь, — филантроп...» И пока думал об этом, все смотрел и смотрел в небо, и небо тоже отвлекало его, успокаивало, и становилось совсем легко. «А что мучаюсь, собственно, переживаю? Неужели не заслужил я спокойную жизнь?.. А ведь тоже нелегко было. А учился как!

На стипендию и одевался, питался — да что говорить. А сейчас зажил как человек — и сразу увидели. И эта тоже кричит: ковры, гарнитуры... Эх, зависть-матушка. Кто ее выбьет из нас...» Он дышал уже совсем ровно, спокойно и так же спокойно курил.

Только отдых его длился недолго. Девочка подошла к нему близко-близко, потом тронула рукой:

— Пойдемте поскорее... А то вы все отстаєте да отстаєте, а я легкая на ходу...

«Легкая, легкая...» Он повторял про себя это слово, и опять она, Антонина, встала перед глазами. Да так отчетливо, ясно: слышно каждое ее слово, каждый шорох, движение, будто совсем рядом она, на расстоянии дыхания. Будто продолжает все тот разговор. И смешно, горько и забавно опять, как говорит она, как в глаза смотрит, приглядывается: верят ли ей, не верят, слушают или забыли ее. И он удивлен, сбит с толку: откуда эта доверчивость, простота? Будто спешит всю жизнь свою выложить, все мысли, самые тайные, кровные, все надежды свои... А почему, а зачем? Ведь он совсем чужой ей, незнакомый...

— Мужик мой беспокойный был. Хоть связывай его, хоть привязывай, он встал да пошел. А куда пошел? Ясно куда — по друзьям-сотоварищам, вино пить да закусывать. А на работу, правда, всегда доброй конь. Опять же ленивому-то кто квартиру даст в городе? Не дадут, нет и нет. Только мой-то не больно сидел в этой квартире, и семья ни при чем. Вот как обидно, Сергеевич, чё я — не женщина, чё — как опояска ему: развязал, бросил под ноги — и пошел. А я ведь, я...

Она задохнулась тогда от волнения, а он ждал молча, не перебивал.

— Я хоть и маленька, зато уж мила, красивенька, а кожа-то — с лица воду пей, умывайся. А как были волосы! Ох помру я, Сергеевич! Распадутся по плечам, полетят мои косоньки, но я косоплетку носила, а ленты голубеньки, под цвет глаз выбирала, под цвет. А ноги-то как были, Сергеевич! Хоть сзади, хоть спереди — таки прямые, стройные ступочки, хоть ступай сама, хоть любуйся. Нет, не похаю себя, не похаю, да и хозяйкой была, ох была я, Сергеевич! Все у меня глажено-переглажено, да и муж всегда ходил чистенькой, гладенькой, как окунек какой, да избаловался. Чё ему! Сама поважала... К столу ся-

дет — поставлю, а он — того не хочу, другого. Тут не досолено, а тут не проварено, ужмет губы, сидит похотыват. Я злюсь, трепыхаюсь вся: чего, мол, придираешься, ужимка? Ты другу такую пощи. И не могу — задохнуса. А чего строить надсмешки, ужимать сухие губки, ты на себя погляди да сравни. Вот и встану перед ним така легонька да хорошенька, на ногах — чики-брики, босоножки по-вашему, он и задышит, одумается. Кака минута проскочит, он — кулаком больно по столу: «Пошто, Тонька, не родишь никого?!» Ну вот и дойдем с ним до этого, нареемся досыта, обнимемся, а кто поможет — никто. Не приведи никому — если нету их. И с ними худо, и без них — хоть в петлю. Ох плохо было, Сергеевич. Да мужик всегда оправдаться, вот и школил меня, стучал по столу. Постучит кулаком, пойдет да напьется. И на следующий день — вино. И позаследующий — все вино. Я домой не пускаю, а жалко. Возьму в зубы кулачки да гложу их, покусываю, а у самой уж — слезы, слезы. Вот кака наша жизнь. А ему чё? Залетела в рот пьяна ягодка. И на работе уж недовольны, грозятся. А ему чё — ничего. Вот уж и деньги выйдут, и друзья прогоняют. Они чё, друзья — пока денежки... Дома тоже чисто, зачищено. Было дело — без хлеба сидели, все спускал мой ужимка. Однажды саму-то зарыл до срока. Только што не отпел со дружками, да выплыло.

Валерий Сергеевич долго бы еще слушал ее голос, перебирал ее слова в памяти, опускался в самую глубину их, погружался весь без остатка, — но его опять потревожила девочка:

— Пойдемте быстрее! — В ее голосе звучала обида, и он удивился:

— Ты что кричишь на меня? Я иду, не стою.

— Кто так идет... — сказала она словно про себя, но нарочно громко, чтобы услышал.

Ему стало обидно: «За что она? И так каждый день с ней». И тут же оборвал себя: зачем сердиться, у нее горе, расстроена. Но вслух не сказал ничего. И даже обрадовался, что сдержался.

В лесу было душно. Солнце поднялось уже высоко, его лучи упирались прямо в голову и жгли нестерпимо. Деревья не защищали. У некоторых берез свернулся, пожелтел лист, как будто дохнула осень холодным инеем и погубила зелень. Но это сделали суховеи. Они залетали

с дальних южных пустынь, а нынче особенно часто: все лето стояла жара, и этот зной измучил людей, и они уже ни на что не надеялись. Вчерашний дождь принес большую надежду — на новый дождь. Дул ветерок, но солнце жгло уже по-дневному, и ветерок не освежал, а, наоборот, обжигал щеки, и Валерий Сергеевич подумал, что в лесу, наверное, все равно лучше, чем в поле. В поле сейчас, конечно, настоящее пекло. Сразу мысли метнулись к сыну. Их класс теперь на прополке...

— Мы к маме в последний раз? Или можно...

— В последний! — ответил он твердо и поднял голову. Но все равно девочка продолжала смотреть на него, глаза напряглись, не мигали. И он опять повторил: — В последний, в последний...

Когда повторил, сразу стало плохо и стыдно, но он не знал, почему плохо, почему стыдно так, почему не мог взглянуть прямо в глаза ей, не мог заговорить с ней, не мог даже вздохнуть свободно, всей грудью, словно кто-то за ним подглядывал, запрещал. «Неужели из-за нее самой, этой Нины, так стыдно, так тяжело? Неужели из-за того, что он повезет ее завтра в город и там навсегда оставит? Но ведь любой на его месте решил бы так же!.. А если не поэтому, то почему? Почему!» Ему делалось все беспокойнее, заныли виски от тупой, расслабляющей боли, и скоро боль эта захватила всю голову, и он зажмурился. Только одно утешало, что вся эта история скоро кончится, что сегодня они идут на могилку в последний раз. «В последний, конечно, в последний», — повторил опять про себя. И вдруг слова эти обожгли своим смыслом. Он знал, понимал уже, что теперь не забыть ее, не забыть и дочь ее — эту упрямую девочку... И вдруг со спокойной горечью он признался себе, что вся прежняя жизнь его кончилась, и все хорошие дни прошли, и теперь ему самому надо решить о себе что-то большое, очень и очень важное... И снова мысли его вернулись к Антонине, и лицо ее, совсем живое, веселое, опять встало перед ним...

— Ой, не могу, Сергеевич, так смешно вышло, прямо грузди в январе выросли. Ты не поверишь в грузди-то, а в мое-то поверь. Ну вот мой-то ужимка пропился до нитки, и все уж ему отказывают, и ты бы такому взаймы поморговал. Он у меня и повял. Да совсем несчастным прикинулся, да в профком — пожалейте, мол, в положенье войдите, жена родная померла — Антонина Ивановна

Хочу в хорошо одеть, а денег нет на хорошо... Ну что ж, повздыхали, погоревали, обещали навестить, денег написали, а пока что четвертну сунули. Добрых много людей. А он взял деньги, не отказался — да ко друзьям. А ко мне пришли из профкома-то. Ну вот. Зашли, потоптались, у вас, говорят, горе большое — покойница. Я гляжу на них — какая покойница? Делать нечего, рассказали, что пришел к ним ужимка, расплакался — хороню, говорит, жену да Антонину Ивановну. Как стояла я, так зашаталася. Потом говорю — я сама Антонина Ивановна, но жива пока и надеюсь пожить. А сама как зареву, зареву, они тоже побледнели все. А потом — как да как? А вот так говорю — муженек у меня интересной. Они: мы накажем его, накажем. Неуж живых хоронить? Нет, говорю, отступитесь — муж с женой разберутся, а если придет ко мне неминуха, все равно схоронит, не убежит... Только через годик мне самой пришлось хоронить. Говорят, что желудок сгубил его. То ли рак, то ли сплетня на рак. Теперь все одно пишут, а поди, сроду друго...

— Валерий Сергеевич, пойдемте быстрее! Ну, пожалуйста!..— Девочка, видно, уже еле сдерживалась, но он не видел ее нетерпения, да и как видеть и замечать ему, если он все еще был в своем сне.— Ну, пожалуйста, давайте быстрее пойдем! Мы же в последний раз...

— В последний...— повторил за ней учитель машинально и снова увидел ее глаза, и они оттолкнули и поразили его. «Неужели думает, что у нее есть права на меня? Но кто я ей, кто? Ну пусть она дружит с моим Сережей, пусть с детства они — не разлей вода. Ну и что ж из того?» И чем больше так думал, тем сильнее раздражался на девочку. И хотелось уж скорей увести ее в город, чтобы больше не видеть, не замечать.

А потом вдруг его охватила жалость. Он только посмотрел на девочку сбоку, взгляделся — что-то, мол, другое стало лицо,— и сразу замерло сердце, потом так же внезапно забилося, но боль не прошла. И он всматривался снова и снова в ее светлые воздушные волосы, в ее шейку, желтую от загара, похожую на тонкий желтенький колосок, в ее глаза, в которых так и осталась с рождения прозрачная пленочка — она, видно, хранила, защищала глаза от беды. И все это тоненькое, слюдяное и зыбкое вызывало жалость, сострадание, и только одно теперь мучило: «Неужели от рук его станет гибнуть этот робкий

живой колосок?.. Но почему гибнуть, да почему же? Там, в городе, с ней будет коллектив, воспитатели, они и поймут, и полюбят, и заменят семью...»

Он усмехнулся и опустил голову. Глаза щипало, точно перед слезами. «Но о чем плакать? Вот ей бы плакать, а мне-то?» Опять покосился на девочку, и снова ее тонкая шейка потрясла его — и вдруг, как по чьему-то приказанию, какая-то неведомая сила подхватила и понесла к самому началу, к истоку этого живого прозрачного родничка. Он так зримо вспомнил тот вечер, так ясно, отчетливо услышал каждое слово, движение, будто дело было вчера еще, будто не прошло этих многих и трудных лет.

Антонина постучала тогда рано, так рано, что он испугался, зашла смирненько, потихоньку и сразу опустилась на стул. А лицо — усталое лицо, и глаза такие же — усталые, робкие, — значит, пришла с горем и теперь мнется, выжидает момент. Но она заговорила о легком, о постороннем и как будто развеселилась и отвлекла его.

— Что давно не заходишь? А я упражнение новое разучила! Заходи — покажу.

И он улыбнулся, опять стало весело.

— Заходи... — повторила.

— Я занят, к урокам готовлюсь, мне некогда.

— Тогда чайком напои...

Он налил ей чаю, положил мятных пряников. Ей нравился чай, а до пряников не дотронулась.

— Что, Сергеевич, я узнала-то... Тебе квартиру дают?

— Дают, Антонина Ивановна.

— Эх ты, мужик! Так Тоней и не назвал старуху, видно, сильно глубоко я состарилась. Скоро съедешь от меня — только и видела. — Она засмеялась, прикусила губу и вдруг переменялась вся, вспыхнула: — Я, Сергеевич, дочку решила взять. Вчера в город поехала, сразу в больницу пришла. Там у меня есть родня мужова — хирург Раиса Степановна. Она меня жалела всегда и теперь пожалела — возьми, говорит, девочку или мальчика. У них есть вот такие девочки. Родит женщина, заявление напишет, что не нуждается в своем дитеночке, его и оставляют в больнице. Есть таки у нас матери — оторви им хвост. Потом государство берет на себя и воспитывает. Вот како у нас государство ласково. Что, Сергеевич, одобряешь меня?

— Решайте сами, не знаю.

— А я решила сейчас, наревелася. Завтра еду! Ты за домом погляди, надавай куричкам да истопи печь покрепче — девочке-то надо будет тепло.

Приехала через два дня из города и привезла с собой дочь. Зашла в дом отрешенная, как во сне. Только по глазам видно, что это счастливый сон. Человека всегда выдают глаза. С тех пор зажглась в них тихая счастливая свечечка, и огонек этот уж больше не свертывался, не затухал.

А ему уже дали квартиру, да сразу большую — две комнаты, кухня, ванная, газ. В тот же год и появилась жена Наташа, и в жизни его все перевернулось и все улеглось, — и новый порядок пришел по душе. Заглядывала иногда Антонина Ивановна. Она стала серьезней, степеннее, все разговоры о дочери. Шло время, и дочь Нина росла у нее, поднималась, и вот уж личико разобрать можно — глаза небесные, синие, да и волосы не подвели — густые, пушистые, а возьмешь на руку — они легкие, прямо пепельные, дунет ветер — падают на лицо, мешают, опутывают, а матери радостно, точно сама родила и выносила это чудо — родную кровь. Да и на работе бывало много радости, не шла на работу, а прямо летела. И все в колхозе уважали ее, приводили в пример. Дали орден как знатной телятнице и путевку на юг. От путевки отказалась, потому что на руках была доченька, да и не привыкла ездить по теплым морям. Зато привалила новая радость Антонине Ивановне: дали ей ключик от хорошей квартиры — живи, мол, да дочку воспитывай, ни о чем не тужи. Квартира, правда, поменьше, чем у Валерия Сергеевича, и без ванны пока, без газа. Об этом сразу узнала жена Наташа и доложила ему. Она всегда все знала, его Наташа, у кого чего куплено, что получено, что еще решают купить. А самой хотелось жить лучше всех. Да и помогали Наташе родители, как-никак — одна дочь. Потому в первый же год пришла в дом новая мебель, да и на сберкнижку отнесли первый взнос. Жена радовалась, сияла. Он потакал ее желаниям и, кажется, еще больше любил. А потом ей не понравился дом: мол, слишком казенный, неустроенный и внутри мало места, лишний стул не войдет. Он ей поверил и нанял плотников. Прирубили летнюю комнату и веранду. Жена за всем смотрела, считала, выдавала деньги, рядилась, а он наблюдал издали и радовался. И все у нее вышло дешево и краси-

во — домик сразу умылся, помолодел, и он уже гордился Наташей. А потом прошло три года, и задумали они купить машину — другие покупают, а чем они хуже, и в этом желании еще больше сроднились. Одно мучило — не хватало денег, но что деньги — их следует зарабатывать, и они с Наташей не жалели себя. За ним закрепили все уроки математики в вечерней школе, да и в дневной-то у него было полторы ставки, — вот и нажили рубль. А наступил месяц август, он пришел в правление колхоза и попросился в бригаду. Его похвалили, пожали руку, написали об этом в районной газете, а через день доверили новый комбайн. Механизаторов не хватает, а он знал технику, вот и решили: раз берется — не подведет. И в первую же осень заработал кучу денег, а на следующий год рекорд свой повторил. А все равно на машину мало, но опять Наташа поклонилась родителям, и скоро пришел большой перевод из Черкасс. Так и заехала к ним в ограду машина, и они оба ходили возле нее, как дети, боясь дотронуться до сидений, до мягкой полированной стали, а рядом с ними ходил уже десятилетний Сережа, их сын и наследник. Десять лет прошло — не заметили, да и кто замечает время, если счастлива жизнь.

А через год они возвели флигелек. Лес на домик достали почти бесплатно, да и было его много, с остатком, потому так быстро построили. Отдали флигелек сыну — пусть читает там, занимается, а потом раздумали — это ж деньги! Стали на лето пускать туда квартирантов — город рядом, приезжают на лето дачники, рыболовы, вот и отдали им «Сережин домик». Правда, протестовала Антонина Ивановна. Это ведь ее лес потратил Валерий Сергеевич. Она продала ему «свои родные гнилушки», зачем ей старый домик, если жила теперь на новой квартире, а эти «гнилушки» стояли без крыши, без стекол, без хозяина, дом не дом. Вот и назначила цену, да такую смешную, малую цену, что Валерий Сергеевич удивился. А она замахала руками: «Не набавляй, не надо! Ты мне теперь за брата. А я умру, может, скоро, не вечна. Вот и посмотришь за Ниной, она станет сиротка, а ты поглядишь — и оживет моя Нинка...» Он засмеялся, сказал какую-то шутку, так и закончилось дело. Но вот пустили жильцов в новый домик, и Антонина Ивановна рассердилась: «Ох, Сергеевич, неладно чё-то. Все-то деньги, все одно, не возьмете...» Но они решили купить вторую корову.

Опять же выгода: много приезжих и все спрашивают молока да сметаны. Одним словом, деньги-то под ногами, только наклонись да возьми. Но с коровой произошла остановка. Хотя и денег скопили, а покупать страшно: все лето зной, ни дождинки, луга остались пустые, только по лесам бы и пособирать травки, но все равно это не выход — на две головы тяжело. Правда, все располагало вначале. Сергея отправил в трудовой лагерь, жена уехала погостить в Черкассы, один остался — веселое дело. Знай гуляй по лесам да собирай травку! Но помешал этот горький случай, так помешал! Поди, и тут жара виновата. Суховей хорошо поработал, все дерево высохло, иструхло, как порох. Вот и вспыхнуло, взорвалось...

Нет, не надо об этом думать, не надо! Даже о девочке думать было лучше, спокойней, и он спросил ее о чем-то. Она не ответила, промолчала. Потом начал думать о сыне. И как только встал перед глазами он, высокий, красивый, с длинными, как у Наташи, ресницами, так сразу освободилось что-то в душе. Но ненадолго. Он еще раз обернулся на девочку, еще раз вздохнул глубоко — и вдруг пронзило: «А ведь она может стать тебе дочерью! Только пожалей, приложи немного старания. Да что старания? Только обогрей душой, приголубь...»

Ему было стыдно своей нерешительности, невыносимо, но еще больше страшно за себя, за семью. А как сын? Как Наташа? Они ни за что не примут чужую, не поймут его, не простят... И он на миг представил свою Наташу, как бы сдвинула она брови: «Еще Сережу на ноги не поставили, а ты уж привел на хлебницу. А у кого спросил, с кем советовался?» Он закурил, опять посмотрел на Нину. Она, видно, устала от долгой дороги. Босые ноги утопали в песке, она их с трудом вытаскивала и так же с трудом заносила вперед, а сандалии были в руках. Сзади зашумела машина. Учитель оглянулся, нахмурился. Он сразу узнал эту зеленую «Волгу», машина притормозила, из нее выглянул Копытов, председатель колхоза, — лицо веселое, молодое. Он посмотрел на девочку и сразу отвел глаза. Сказал бодрым, как всегда, голосом:

— Ты ведь, Сергеевич, лектор? Знаю, все знаю — сам руку поднимал за тебя. А что ж выходит, милый товарищ? В бригаде тебя не видно. Кто народу рассказывать будет? Да ты слушаешь или уснул? — удивленно спросил председатель.

А учитель и вправду его плохо слушал. Ему хотелось, чтобы Копытов скорее уехал, но председатель не спешил.

— Ты не слушаешь меня, дорогой. Даешь понять, что пустяками не занимаешься. Ясно. Сено будешь нынче косить?

— Буду. Пособираю по колкам, да еще, надеюсь, колхоз продаст.

— Не знаю, продаст ли... Колхозу помогать надо больше.

И сразу пустил мотор на все обороты. Машина рванулась.

Учитель покачал головой. Обидно, что председатель вроде бы отказал в сене, но в слова его плохо верилось. Он и в прошлом году грозил, что оставит без корма, а потом продал, да еще помог привезти до ограды. Вот и сейчас петушился, не в настроении, но ничего — отойдет.

...И снова в памяти прорвался голосок Антонины Ивановны, не хотел возвращаться к воспоминаниям, все удерживался, а не смог.

— Вот вырастет ваш Серезенька, и поженим их обязательно, даю слово, Сергеевич. Жива буду, не помру — сотворю это дело. Не беда, что не ровня по возрасту. Оно и надо, чтоб кто-то постарше. А я теща хороша буду, ох и хороша! Я теща простая да легонька, никого не задену, не ушибу. По утрам как всех выстрою, а чё, Сергеевич, на зарядку всех выстрою — шагом арш да пошел! А потом как начнем колесо крутить! Нет, не могу я, Сергеевич, вынести, как хорошо будет, смешно. А где смех — там и семья... Ты согласен на таку тещу, Сергеевич? А чё, поди, не согласен? Я и по дому помощница. Я на работу удаленька. Побегу, дак не остановишь, так и несет меня, так и тащит, хоть привязывай на веревочку. А чё привязывать — оторвет все равно. А Нина у меня растет умница. Эх, Сергеевич, не могу прямо, жалко. Таку девку вы в дом возьмете, как же я вынесу, да и Наташа твоя изобидит. Ты мужик ничего, а она смотрит лисонькой, ложит в мягку кроватку, а одеяльце-то у ней тяжеленько, ты с ней построже, Сергеевич, сильно любит деньгу Наташа, молода еще, а купчиха, что поделать... Не осуждаю, нет, я по-свойски. А за Серезеньку Нину отдам я, не бойся. Не бойся, не обижайся. А про купчиху наговорила неправильно, чего я понимаю, Сергеевич, а вот ты понимаешь... Ты знаешь чё/ признаюсь, я ведь вроде Нину

сама родила. Зимой приснилось, что Нину вынашиваю, в животе тяжело, прорывают мой красный халатишко, а сама уж чую — постукиват, ножкой она постукиват. Оттянет ноженьку и ну давай ей пинать, да сильно так, с оттягом пинат. И так хорошо мне стало, в груди все согрелось, будто птичка я кака-нибудь, снялась, полетела, гляжу вниз на цветочки, на травку — и все лучше мне, горячей. Вот как доченька во мне занялась, угодила. А отчеством ее ты доволен, Сергеевич? Я по мужу записала — Степановной. Что поделать — попивал он. Зато память оставил он по себе, а если б трезвый ходил да ласковый, поди, не так бы запомнила. А хочешь, Сергеевич, я ее Валерьяновной запишу? И будет у дочери моей твое отчество?

— Теперь уж нельзя, бумаги составлены.

— Сама знаю — нельзя. Просто подумала, чтобы тебя порадовать. Из уваженья, считай, к тебе. А может, попробуем...

— Нет, нет!

Он даже немного испугался тогда. Он всегда боялся любой обязанности. Как хорошо иметь дело с машинами. Над ними легко командовать и подчинять себе. Например, «Жигули». Хорошая машина! Один раз показал на станции, там залезли в мотор, почистили — и гоняй год, ни заботы, ни переживаний. Вот бы так и с людьми. Нет уж, с ними так не получится. Если что-нибудь они сделают, то уж сразу ждут чего-то взамен. Вот его пригрела, пустила на квартиру Антонина Ивановна, а чем теперь кончилось. Надо дочку ее пристраивать, надо мучиться и терзать себя. «Но при чем здесь Антонина Ивановна? Ее ведь нет теперь. Так на кого же ты обижаешься?» — подумал с досадой и в который уже за сегодня раз закурил. Пальцы подрагивали, он чувствовал это и еще сильнее злился: «Надо же, так довел себя». Искоса взглянул на Нину. «Почему она все время молчит?» — подумал Валерий Сергеевич, и опять мелькнуло раздражение. «Но чем же виновата она? Чем же его обидела, такого большого, взрослого, умного?» Он усмехнулся над собой с ехидной иронией, и вдруг опять стало стыдно. Даже и не стыдно, а просто грустно, неловко. Почему он не поговорит с ней? Вот уж целый час в дороге, а он все как чужой, посторонний. И она чувствует это, наверно, потому и молчит... Не о чем говорить, а все же... И он повернул к ней голову

— Устала, Нина? Надо было на нашей машине...

— Не хочу на машине,— и опять замолчала.

Хорошо бы вспомнить какое-то доброе слово, приласкать и утешить, но это слово не шло на ум, и он снова злился на себя. И было стыдно.

— Скоро дойдем. Я еще к сыну...

— Я знаю...— и только успела ответить, как опять — теперь уже впереди — зашумела машина.

Она вырвалась из-за берез как-то радостно и внезапно, из кузова донеслась песня. И напев был стройный, напористый. Пели школьники, они сидели в кузове плотной гурьбой. Среди них он увидел сына. Сергей тоже его увидел и поднял руку. Лицо у сына было веселое и счастливое, и это счастье сразу передалось ему. И вот уж нет машины, умчалась... «Куда поехали? А поют-то, боже мой — голоса-а! Мужики уже, мужики...» Потом подкралась тревога: «Такая скорость, еще врежутся в дерево. Куда же они?.. Наверное, просто на Тобол за водой...— Он улыбнулся.— А ведь сын-то совсем большой, да и ростом скоро догонит. А вот Нина эта, наверное, так и не вырастет. В кого ей? Вон мать у ней маленькая, сухая. Дунет ветер — взлетело перышко. Но ведь мать-то ей неродная. Да о чем я?» И сразу мысли скользнули в другую сторону. Словно бы опасность услышали.

Валерий Сергеевич машинально брел за Ниной. Теперь бы постоять под березами, покурить. Но Нина шла и шла вперед, и он молча повиновался. Девочка что-то решила. Лицо ее побледнело и заострилось. «Куда торопится, зачем торопится?» И стало грустно: «Будет ли сын ко мне так бежать? Если что со мной случится? Но что случится? О чем я думаю? Смешно и нелепо. Вся жизнь еще впереди, вся жизнь. И то, что прожил,— хорошо прожил. Все было, и все испытал. И был счастлив...» И Валерий Сергеевич опять усмехнулся и опять посмотрел на себя как на чужого и рассердился. «Счастлив, счастлив...» — повторилось с ехидным злорадством. У него были такие минуты злорадного к себе отношения. Он не любил их, эти минуты. Так же было, когда купил машину, так было, когда построил флигель для сына, так было, когда заходил в конце года на почту и проверял, сколько набежало процентов на книжку. Всегда в эти минуты горько восклицал про себя и так же горько смеялся: «Все живот набирам, Сергеевич! Скоро через ремень перевалит». Так

говорила Антонина Ивановна, когда наблюдала их очередную покупку. Потом и сам стал повторять эти слова, сделал их поговоркой...

3

Лес кончился, началась большая поляна. В конце поляны снова были березы. Лист на березах обуглился и свернулся.

Еще издали он услышал запах дыма и тот едва уловимый запах смерти и запустения, который всегда остается после пожаров. Учитель убавил шаг. Девочка выглядела теперь старенькой и серьезной. Кто виноват в этом пожаре, в том, что погибла Антонина Ивановна? Жара виновата? Или подростки курили и выпала искра? Может, провод пробило, замкнуло? Наверно, это провода виноваты... — так объясняли милиция, прокурор. Но кто же виноват еще, кто же? Неужели стоило только этим жалким проводочкам замкнуться, и сразу взнялось в небо пламя, закрыло небо. Закрыло и саму ее, унесло с собой. А ведь виделись всего за час до той страшной минуты. Если б знать, если б слышать!

Он пошел тогда в школу — приехал инспектор. И зачем приехал? Зачем тащился сорок верст из района? Ребята все давно на каникулах, учителя в отпуске, а он решил проверять пришкольный участок. Их всех вызвали в школу. Прибежал посыльный и за Валерием Сергеевичем. С тяжелой душой шагал он по улице — не дают отдохнуть, зачем тогда отпуск. И вдруг догнала сзади Антонина Ивановна, тронула за плечо, засмеялась. Он вздрогнул.

— Не пугайся! Идешь потихоньку, вот и догнала, напугала.

— Ты любого догонишь.

— Так легонька же я, Сергеевич, всю дорогу такая... А чё ребятишки, не пришли из похода? Нина моя? Девчонок-то зачем отправляете? А чё случится — учителя в стороне, так оно будет, Сергеевич? Получай от меня замечание.

— Куда бежишь? — спросил он, чтобы перевести разговор на другое.

— Бегу прямо да забегуся. У меня два теленка в профилактории — заболели со вчерашнего вечера. Такой



жар у них, забило все глазоньки, поди, съели чего, то ли полизали. Николай, фельдшер, смотрел, да сам знаешь Николай, ему бы только акты подписывать, нехороший у нас Николай. Ну, ладно, обгону тебя, а то заждались телятки, поди, мычат да поглядывают в окошечко: где, мол та старая дура, где задержалась. Глаза заблестели ярко и радостно, и в тот же миг она обогнала его, и это ему не понравилось.

И он подумал тогда устало и с раздражением: «И что бежит, чему радуется, старая уж, а все под молоденькую...» А потом сразу пришло другое: «А вот почему не смеется он сам, не радуется? Все есть у него: и жена, говорят, красивая, и сын есть, и машина в гараже бы стриходная, ну что человеку надо, ну что еще? Почему он так мало радуется, почему жить ему тяжело?..»

Потом стали заседать в кабинете директора. Пришло их всего пятеро, Валерий Сергеевич был шестой. Инспектор приехал говорливый, молоденький, все курил маленькую ореховую трубочку и часто выбивал ее о полированный стол. В окнах виднелись березы. Они покачивались из стороны в сторону.

Вначале он слушал инспектора, потом наблюдал за трубочкой, потом совсем забыл, где сидит, — словно бы задремал. Но глаза были открыты, они все видели и вбирали в себя. И глаза эти спокойно заметили, как над березами встал дымок. Он был маленький, чуть заметный, голубенький. И тогда Валерий Сергеевич очнулся (голос инспектора звучал в этот момент бодро, почти торжественно), дымок вдруг круто выстрелил, разорвался и превратился в густой настоящий дым. В первый миг это не испугало, не потревожило, только подумалось с удивлением: опять жгут костры ребятишки, зачем допускают в лес. Но дым опять выстрелил — и сразу туча огня Учителя выскочили на улицу, он вместе с ними. Там все уже кричали, бежали к лесу. Казалось, ринулось все село. А он уже давно понял — горит ферма. Потом ударило в голову: «Надо бы обратно теперь, обратно. Да подготовить воду, лопаты, вдруг огонь пойдет на село, такая сушь, все сметет...» Кричали, гудели машины, и на него вдруг напал страх. Он вспомнил, как Антонина спешила на ферму, как поговорили, как встретились, как блестили глаза ее, как пожалела телят. В нем зашевелилось тяжелое предчувствие..

Вот и лес, вот и ферма, вот и страшный огонь. И все кружится, вертится, и ничего не понять. И он стоял оглушенный, потерянный, люди что-то кричали, рассказывали, он слышал слова, но не понимал этих слов. Потом понял. Подошел ветеринар Николай и сказал, что сгорела Катайцева. И сказал так просто, обыденно, что до Валерия Сергеевича не дошел смысл этих слов. Потом и другие сказали, и он опять не поверил, не захотел.

Огонь шумел, рвался к небу. Его было много потому, что взорвались газовые баллоны. Первый взрыв он увидел еще в учительской. Это был тот самый чуть заметный голубенький дымок.

Не хотелось верить, что там она. А Николай рассказывал и вытирал глаза... Она подбежала, когда ферма уже вспыхнула, и Николай подбежал. Она кинулась на него с упреками: почему, мол, не вывел теляток, — но Николай защитил себя: когда, мол, вывести — сам сейчас подбежал. И тогда она косынку с головы сбросила и — прямо в огонь. Только голос оставила: «Я их выведу, выведу!» И едва исчезла в проеме, как стали рваться газовые баллоны на кормокухне...

Пламя сильное, да не вечное. Вот огонь стал стихать и затих. Потом снова ветер поднялся, но теперь уж не страшен он был, огонь кончился, одна зола полетела, один прах. Приехал Копытов на «Волге», бродил кругом, сам с собой разговаривал: «Что ж ты, Тоня, надедала...»

Потом появилась милиция. Он удивился тогда: зачем приехали? Лейтенантики были молодые, упрямые, все пыхтели, спрашивали — двое их было. Все записали, ошупали, опять бухнулись в свой мотоцикл и — в район. После них и народ стал расходиться. Все говорили: хорошо, мол, что дочка ее в походе, а то бы помешалась теперь. А он, учитель, думал все об одном и том же: «Еще недавно шла рядом, смеялась, за плечо трогала — и вот теперь нет ее...»

Вот о чем тогда думал, об этом же думал сейчас. Лес теперь кончился, еще больше пахло дымом, горелым. Все еще дым... Вот уж видно пожарище, девочка закрыла лицо.

Сгорело не все, но лучше бы все сгорело — так было здесь тяжело, сиротливо. Кругом зола и несколько бетонных опор. Огонь их только задымил, не потрогал. Девочка пошла вдоль пожарища, он следил за ней издали.

Далеко поднимался гром. Из-за грома не услышал копытовской машины.

— Где б ни езжу, а тянет...

Копытов обратился к учителю, но тот промолчал. Обида не прошла еще. Председатель нахмурился, стал разглядывать девочку. Позвал:

— Нина, иди-ко!

Она подошла. Учитель прислушался к разговору. Копытов стоял бледный, подавленный и почему-то оглядывался.

— Нина, не ходи ты на головешки. Кого тут глядеть. Поди, меня в чем обвиняешь? Ты прости... Я, хозяин, не доглядел.

— Я не обвиняю.

— А все равно болит душа, Нинка. Снится мне Тоня, мать твоя. Только ночь — и приходит. Все стоит надо мной... Ты прости за нее...

Нина промолчала, и Копытов опять нахмурился. Потом отвел учителя в сторону:

— Как с девочкой-то? Давай думать — ты им человек не чужой.

— Она в детдом пожелала.

— Сама, что ли?

— Сама... — ответил тихонько учитель и отвернулся.

— Смотри, учитель...

Копытов рванул «Волгу» с места. Учитель покосился на девочку — вдруг она их слышала? Не хотел ведь соврать, не думал, но вопрос был поставлен в упор — и язык повернулся. И было стыдно, просто невыносимо. За спиной у себя он услышал странный звук, и звук этот делался все громче, слышнее. Потом догадался — Нина плакала. Она даже не закрывалась, не прятала слезы. Она просто не замечала их, и эта безнадежность, покорность опять больно ударили в сердце, и вместе с жалостью в сердце вошла злость. Он злился и на себя, и на девочку, и на жену свою, которой где-то внутри побаивался, злился на председателя, которому только что пришлось лгать, изворачиваться. Мучила и какая-то странная злость и на Антонину Ивановну, которая словно бы нарочно ушла, распрощалась, а дочку оставила — и вот терзайся теперь... «Да и стоило ли из-за телят? Как все глупо, нелепо!» И тут же возразил себе: «Только так могла Антонина Ивановна... Но дочку-то зачем к нему привязала? И вон

как получилось! Да что получилось?! Ничего, в детдоме хорошо будет, везде люди, везде...» И эта мысль его отвлекла...

Наконец хлынул дождь. Большая туча спустилась над лесом, и деревья потянулись к ней, сразу выпрямились и стали еще выше, стройнее. Дождь был теплый, парной. Они еле успели стать под березу. Все лето — ни капли, и вот второй день с неба — реки. Нина тоже смотрела на дождь. Вблизи глаза ее были крупными, синими, таилась в них мысль, и он пытался поймать ее, разгадать. «Все пройдет, все исчезнет. Как этот дождь, облака...» Девочка подняла глаза и вдруг решила:

— Не отвозите в детдом. Можно, я у вас останусь? — Она снова заплакала.

— Как — у вас? — не понял учитель.

— Я бы пожила у вас. Я бы все делала, прибирала...

Он вздрогнул и огляделся. За спиной никого не было, один дождь, как тугая стена. Он не ждал такой откровенности, таких прямых слов. Вдали тяжело заворочался гром, и дождь стал слабеть.

— Я бы все сделала. Хоть чего заставляйте. Только бы возле мамы...

— Но ведь нет уже мамы! Надо в сердце держать... — возразил он ей потихоньку.

Девочка опустила голову.

Небо стало светлеть. Лучи солнца еще слабо пробивались сквозь тучу, но уже ясно было, что дождь закончился, непогода прошла. И лес ожил от ветра. Он был еще слабый, чуть слышный и дул в ту сторону, где густели тучи.

Они пошли опять по дороге, сейчас он шел впереди, она — сзади. Почти у самого поворота в деревню учитель решил. Он остановился. Девочка поравнялась с ним, и сердце его тяжело застучало, снова захотелось присесть, отдохнуть.

— Вот что, Нина. Тебе надо обязательно ехать. Там — коллектив, воспитатели. Там будет лучше.

— Сами и поезжайте туда! — ответила она вспыльчиво и отвернулась.

— Ты почему грубишь?

— Не хотите — так и скажите! Так и скажите! — стала повторять она и снова расплакалась: — Я знаю, почему отправляете. — Она заплакала еще громче.

— Почему?
— Вы думаете, что объем вас. У вас денег не хватит...
— Ну перестань же! — рассердился учитель и сразу прибавил шагу.

Она осталась далеко позади, и он больше не оглянулся... «В конце концов все справедливо. Мне тоже еще надо пожить. Сорок лет — не велико число. И все еще будет — и горе, и смерти, и потери...» — подумал он, и сразу стало жалко себя. «Да, все еще будет... И не нужно брать лишние гири. Чужой ребенок — всегда чужой...»

Девочка зашла поздно вечером и сразу с порога сказала:

— Извините, я вам днем нагрубила. Я согласна в детдом...

Согласна?

— Да, согласна! Не беспокойтесь. Только вещи мамины перенесите потом к тете Вале. И ключи от нашего дома ей отдайте.

— Так и мы бы посмотрели за домом.

— Не надо. Я потом к ней в гости приеду. Не сердитесь. Вы и так много сделали... — Она говорила как взрослая, ему опять стало грустно.

Ночью почти не спал, вспоминал жизнь свою, вспоминал Антонину Ивановну, и только одного хотелось: чтоб скорей наступало утро, чтобы завести машину — и в город, в детдом, чтобы навсегда кончилась эта душевная смута.

...Утром девочка спокойно выпила с ним чаю, и лицо ее было добрым.

— А теперь встали, поехали. — Она улыбнулась даже, но потом что-то вспомнила и нахмурилась: — Вы мне дайте от дома ключи. Я сама отнесу к тете Вале.

Она сбегала быстро, вернулась с маленьким желтым ковриком.

— На память взяла. Мама берегла его. Говорила, что жизнь ее пошла с этого коврика.

Валерий Сергеевич распахнул дверцу, включил мотор. Девочка притворно удивилась, заохала:

— Ох какие у вас сиденья-то! Можно — я коврик под себя подстелю, а то запачкаю...

— Можно! — ответил он зло — он понял иронию.

— А со мной машина-то сдвинется?

— Что тебе?

— Ничего. Я говорю, легкая я, не тяжелая. Машине легко будет.— Она посмеивалась, говорила как взрослая.

На улице светило большое после дождя солнце. Девочка молчала, смотрела вперед. Учитель тоже молчал. Пока ехал по улице, все втягивал в плечи голову, точно бы убегал от кого-то, таился. В степи поднял голову, но на девочку не взглянул. И она на него не смотрела — сидела, устало прикрыв глаза. Да и мотор успокаивал. Он работал мягко, бесшумно почти, и машина мчалась легко. На поворотах ее слегка заносило в сторону, и она вздрагивала и приседала на новые колеса.

НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ

(Из цикла «Сельские монологи»)

І. ХОЗЯИН ДОМА

Дом стоял пустой, огромный и вызывал удивление. В ограде сохранились два высоких куста сирени, но они уже иссыхали — то ли от старости, то ли от солнца. За домом лежал огород, и это было такое грустное, одинокое место, что походило на край пустыря: такое же буйство травы, такой же запах сырости и гниения. И в этой траве постоянно обитали собаки и кошки, приходили на ночевку телята, и всем жилось им спокойно.

В правой стороне от дома расположился крытый загон, но корову не загнал бы сюда даже самый отчаянный, глупый хозяин: жерди и столбики у строения сгнили и покосились, а шиферная крыша провалилась как раз посредине, будто ступили на нее огромной пудовой лапой.

Крыльца у дома давно не было, зато лежал здесь большой потемневший камень. На него опирались как на приступку, а потом уж входили в дверь. И сразу попадали на кухню. А кухня большая, но напугает любого: отовсюду тянет мышами, обеденный стол стоит на трех ножках, четвертая болтается на проволочной живульке. Этот стол давно не видел чистой тряпки и хозяйской руки, вся его поверхность покрыта ржавыми пятнами, один вид которых наводит тоску. Здесь же, на столе, пылится электроплитка. Если соединить в ней какие-то проводки, она еще может работать. Возле плитки лежит большой кусок соли, сразу

килограмма на три. Соль в выбоинах, грязноватая и почему-то сырая.

В комнате пусто, прохладно и такой же сырой и подвальный запах. В простенке стоит кровать. Она не застелена, вместо матраса на ней старые доски. Все стены в комнате корчатся он надписей и рисунков, многие из слов совсем неприличны. Особенно часто мелькает по стенам фамилия Китасов.

Это и есть хозяин дома — Веня Китасов. Он приезжает сюда по воскресным дням с первым автобусом и живет до понедельника. Приезжает Веня на отдых.

Если встретишь такого человека в толпе — не утерпишь, оглянешься. Если свидишься на пустой деревенской улице — попробуешь даже заговорить, потому что поразишься его лицу и походке. Веня очень высокий и очень худой. На красивом чистом лице — большие глаза с выражением страдания. Таким глазам очень верят, ищут в них утешенье и часто находят. Шея у Вени тонкая, девичья, по горлу катается кадычок. Фигура сутулая, оттого что все время пригибает голову — стыдится своего роста. При ходьбе сильно размахивает руками, и это размахиванье вызывает насмешки. Но Вене не переделаться, потому что походкой в отца, родную кровь не исправишь.

Жил Веня в ближнем городе, а по воскресеньям навещал земляков. Приехал он и в это жаркое утро. Оглянувшись на автобус внимательными глазами и ступил в улицу. Был первый утренний час, но солнце уже пекло и играло, возле заборов лежали телята.

Веня двинулся вперед быстрым шагом, как всегда в эти минуты, у него было уверенное лицо. Но чем ближе подходил к дому, тем размеренней, тише делался шаг и все тише, затаенней дыханье. А перед самым домом он уже не шел вовсе, а словно подкрадывался, выслеживал по-охотничьи дорожную добычу. Вся его фигура напряглась, напружинилась, еще миг — и что-то случится. Так и вышло. Возле дома резко остановился, прислушался, потом бросился к окнам. Так и есть — опять похозяйничали. Опять, видно, соседи стараются. Когда уезжал в прошлый раз, ставни были открытыми, все солнышко в стеклах, а теперь ставни захлобучены наглухо, да еще поверху набита дощечка. И так на каждом окне. И он с злобной радостью отодрал сейчас эти досочки, освободил окна.

Опять огляделся по сторонам. Возле ограды тоже прибрано, подметено, а у него ведь и метлы никогда не бывало. И Веня снова нахмурился, помрачнел: «Что за народишко, пишиит, лезет без спросу...» И сразу же другая мысль перебила: «Погодите, вот встану на ноги!..» И он поднял голову и взглянул грозно вперед. Глаза его сделались еще больше, в них забился, задержался огонек. Так же грозно ступил в ограду. Остановился и перевел дыхание. Отломил у сирени мертвые засохшие веточки, опять в сердцах прикусил губу. Сирень он очень жалел. Эти кусты посадила мать перед смертью, посадила для памяти. Она выкопала сирень в колхозном саду, сама принесла, сама поливала: «Умру, так добром помяните...» И вот кусты ее погибали от жары, задыхались и были обречены. Веня взглянул на них прощально и покачал головой.

Затем прошел в огород. Набрал полную горсть камней и бросил далеко в коноплю. Из зарослей кинулись в разные стороны курица с цыплятами, мимо ног шмыгнул котенок. Веня улыбнулся. Улыбка была какая-то вынужденная, мучительная, больше бы сошла за гримаску. Вверху прогудел самолет. Веня взглянул в небо с завистью и поморщился от сердцебиения. Запахи конопли, вид заросших дикой травой дорожек, по которым ступали близкие и родные люди, сам дом, печально стоящий рядом с какой-то смутной жалобой на судьбу, — все это навалилось на Веню и принесло боль. Вспомнились дальние, дорогие картинки из прошлого, родные голоса, маленькие, милые подробности жизни, до которой теперь никогда не дойти, не доехать, — и делалось все тяжелей, тяжелей.

Потом очнулся, направился к дому. По лицу опять блуждала гримаска, — он боялся заходить в собственный дом, робел. Страшны, тоскливы были первые минуты в доме, потом можно было привыкнуть, забыться, но он особенно боялся этих первых минут.

Но сколько ни томись, а заходить надо.

Ступил на камень и хотел открыть дверь. Хотел, но не смог. Прикусил в сердцах губу — неужели опять заколочена? Поднял кверху глаза — так и есть: поверх двери наложен горбыль — тяжелая сырая доска. Она прибита большими гвоздями, потому и не поддается дверь. Веня потрогал горбыль ладонью и усмехнулся: такую оглоблю в глазу не заметил. Постоял в раздумье, достал сигарету. Но прикурить долго не мог — все дрожала и гасла спичка,

видно, так же дрожали пальцы. Ведь дверь-то была открытой, когда уезжал в прошлый раз. Опять заколотили без спроса. Его чистое белое лицо стало еще бледнее. «Не отступают, гады...» — проворчал про себя и опять погрозил взглядом кому-то, потом стал успокаиваться и дышать ровней. Медленно отодвинул камень, достал оттуда короткий железный ломик. Этим ломиком отодрал горбыль. Дверь открылась резко, нетерпеливо, будто ее сзади толкнули, будто эта дверь только и ждала-дождалась Веню. Лицо его вмиг ожило, просияло, но все равно шагнул через порог с тяжелой опаской, будто ступил в горячую воду. Сердце громко стучало. Постоял, отдышался. На полу пыль разъехалась волнами. Это уж и не пыль даже, а слой земли, коричневый, с пеклой корочкой наверху. По земле отпечатались детские следышки, рядом — глубокие впадины от больших увесистых ног, видно каждый след от пальцев. Здесь же валялись две пустые бутылки, моток телефонной проволоки, ржавый гаечный ключ. Веня подобрал моток и положил на стол. В груди уже саднило от пыли, и он закурил. От сигареты стало легче дышать. С лица свалилась забота, и выражение его снова стало свободное и настойчивое, как будто Веня что-то решил. Вскоре пришло и действие. Он взял в руки веник, начал мести. Но веник сразу же увяз в мусоре, растрепался, и лицо Венино опять омрачилось, он снова злился. Но и эта злость скоро прошла, подумаешь — мусор. А через минуту он и вовсе повеселел, потому что веник справился со своим делом — и пол проглянул. Не зря сказано: глаза бояться, а руки делают.

Пол проглянул, заблестели мореные плахи. Они были когда-то крашенные, но теперь уж во многих местах их сильно покалечили молотком или ножиком, и эти раны на дереве всегда тревожили Веню. Он и теперь погрустнел и нахохлился, но быстро отвлек себя работой. Подмел пол в комнате, очистил подоконники от стекол и птичьего помета, переставил подальше в угол кровать. И теперь он собой доволен. Выставил за порог грязный веничек и закурил. Лицо его совсем просветлело, будто никаких печальных мыслей не ходило в нем накануне, будто просто устал от работы и присел отдохнуть. Тоненькая сигарета тянулась быстро, дымок припахивал засохшим цветком, и Веня с чистой радостью оглядывал стены и полюбил их, будто увидел их только что, потом что-то примеривал на

них взглядом, планировал, и снова в глазах его стоял, колыхался чистый, радостный свет.

Отдохнул, опять вернулся на кухню. Стал разбирать рюкзак. А дело это совсем не простое и долгое. Рюкзак у него такой огромный, высокий, как воз с сеном. Часто таскают на себе такие мешки городские охотники, а в них запасов — на целый год. Вылез с таким рюкзаком Веня в первый раз из автобуса, так и устали на него земляки. И не успел он добраться до дома, как родилось для него прозвище, да такое обидное — «Мешок приехал!». Так и пошло по деревне — Мешок да Мешок. Веня знал про свое прозвище, а что поделаешь — у кого их нет. Но все равно всегда носил свою ношу гордо, спокойно, хоть рюкзак и стягивал его в обратную сторону, гнул к земле, как будто лежал там свинец.

Вот и сейчас с удовольствием расстегнул ремни. С лица не сходила улыбка. Бережно распустил тесемки на всех карманах, карманчиках, потом вытащил толстый каток с туристской палаткой, очистил пыль с нее щеточкой и положил зеленую ткань на кровать. Палатка была с большим стажем, потрепанная, во многих местах полиняла от солнца, дождя. Он купил ее с рук и по дешевке и очень гордился этой сделкой.

Опять запустил руку в рюкзак и достал маленькую пуховую подушку. На наволочке узорная вышивка, сделанная еще в давнее время материнской рукой. Подушку бережно положил на кровать. Потом, просветленный, счастливый, отступил на шаг — и любовался на кровать издали. Подошел поближе, опустил голову, точно собираясь прилечь. Но раздумал, опять наклонился над рюкзаком. На свет вынырнула бутылка «Столичной».

Был такой грех на нем — он уже любил выпивать, и, что хуже всего, выпивать в одиночестве, когда вино живет не для веселья и радости, а ради самого вина. А пьющий в это время разгоняет свои печали, тоску. Видно, и в двадцать лет свои печали бывают, потому что водку Веня не забывал никогда. И сейчас осторожно поставил бутылку на стол. Не дай бог — покачнется и разобьется. Потом вытащил зеленый кругленький котелок, потом — такие же маленькие туристские стаканчики, а после них достал маленький, почти детский этюдник и бережно сдул с него пыль. Достал две папки, наподобие тех, в которых запираются от посторонних глаз разные схемы у студен-

тов-дипломников. Сразу же распустил тесемки. Эти папки — большая Венина хитрость: попробуй догадайся, что в них. А в папках были картины и картинки. Нарисовал их сам Веня. Рисует с раннего детства, рисует и теперь, в двадцать лет. Вот и сегодня он достал из папки большие листы и начал их бережно располагать по стенам. Губы его что-то бормотали, нашептывали, но шепот этот не от досады — от радости: он любил эту работу, она как бы приподнимала его над всеми, и в своих мечтах он улетал далеко, далеко. Да что говорить: художник — человек редкий в этих краях.

На каждом листе — рисунки. Они сделаны то карандашом, то углем, было и несколько акварелей. И вот все стены увешаны, пустые папки снова закрыты тесемками, — и Веня присел отдохнуть. Он курит и внимательно смотрит на стены. Ему нравится каждый рисунок, но все равно он подробно изучает каждый поворот, каждую линию, как бы вдыхает в себя их, чтоб продлить наслаждение и забыться в счастливом.

В детстве он рисовал людей, дома, свою улицу, а теперь рисует духовное, сложное, не сами предметы, а свои представления, потому и картины выходят сложные — посторонний бы в них ничего не понял. Но именно в этом Венина гордость. «Художники — народ особый, — любит повторять он, — у них по четыре глаза...» Потому и в рисунках у него все смешанное, двойное. Он часто рисует в небе две луны и два солнца, одну щеку у человека делает красной, а другую — синей, животным приделывает человеческие руки и ноги и утверждает при этом, что так рисовали все умные и великие люди. С Веней никто не спорит, просто не смотрят его картины. Но зато сам он их любит и бережет. Вот и сейчас с тихой радостью смотрит на стены.

На одном листе разбросаны маленькие и большие кружочки, от них тянутся вниз длинные и тонкие сосульки, но это не лед, не весна, а картина подписана — «Утро». На другом листе расплылось огромное акварельное солнце, вокруг него желтые и зеленые кольца, а в центре солнца горит большой человеческий глаз. Под рисунком короткая надпись — «Моя жизнь». На третьем листе разбросаны углем какие-то муравьи и мошки, и на других листах такое же буйство угольных и акварельных линий, такая же пляска мысли. Несколько листов и вовсе были без под-

писей: видно, сам художник не разобрался в своей работе — нарисовал, и только. Но эти рисунки он любил еще больше: чем сложнее, мол, тем лучше. Да и рисовал он их долго, с любовью. Ему нравились сами линии, краски, а еще казалось, что придут смотреть люди и удивятся этой выдумке и таланту. И вот сейчас он раскурил уже другую сигарету и улыбался. Ему казалось, что вся комната — это его мастерская, а по стенам висят шедевры, а сам он — великий, смелый, почти что гений. Скоро об этом узнают люди, узнает вся его деревня, и тогда прекратятся злые слова и насмешки, люди будут считать за счастье попасть в его мастерскую и наконец признают, что рядом с ними живет великий Вениамин Китасов. Почти так и даже лучше еще думал Веня — и ему было хорошо, покойно: мысли плыли тихо и плавно, как листья в осенней речке, и он задремал.

Его разбудил живой лучик — он пролетел через раму, затем через комнату и ударил в Венину бровь. Глаза сразу открылись, стало еще лучше на душе и спокойней, — все картины сияли в полуденном свете. Веня улыбнулся и достал сигарету. Курить он любит, и в эти минуты лицо его так застывает, будто бы происходит какое-то таинство, какая-то молитва в душе. Сигарета сгорает быстро, дым заполняет комнату, но дымок этот легкий, душистый. И сейчас постороннему показалось бы, что сидит перед ним, отдыхает от трудов большой, очень уверенный парень — он уж многое познал, перечувствовал, прошел в этой жизни любовь и горе, тоску и печаль. Большие глаза задумчивы, костлявость в теле, когда сидит, почти незаметна, только в подглазницах сбежались длинные тени да по тонкой чувствительной шее перекачивается надменный, очень остренький кадычок, и кажется, что Веня сейчас решает какой-то сложный, почти роковой вопрос, — и не мешайте ему, не спугните тайну, она служит только ему.

А между тем он решает, как провести воскресенье. Глаза поглядывают на палатку, на котелок, подолгу задерживаются на этюднике — и в них снова радость. Ему кажется, что этот день будет особенным и счастливым. Как многие люди в двадцатилетнем возрасте, Веня верит, что в любой день с ним может случиться чудо, какой-то праздник и в самом ожиданье есть уже начало чуда, его первые шаги, его голоса.

Солнце бьет во все стекла, в комнате становится душно,



даже дышать уже трудно, дым от сигаретки скапливается по углам, цепляется за тенета — и вдруг Веню охватывает тревога. Ему кажется, что вошел на кухню кто-то чужой, стоит там и не подает голоса. Чудятся там тихие шорохи, будто царапает кто-то по полу сухой травинкой, — все это глухо давит на нервы, и Веня вытягивает шею, замирает. Но на кухне пусто, безлюдно, и он решает вскипятить себе чаю. Решил — надо сделать.

Быстро схватил котелок и в одной майке вышел в ограду. И сразу поднял глаза. Небо голубое, спокойное, только по всей ширине его тянутся белые полосы — шлейфы — то ли следы самолетные, то ли марево от жары. Но туч не было, значит, дождя не будет, и Веня обрадовался, потому что боялся: вдруг напарит дождя.

Колодец через дорогу, возле дома Анны Клементьевой, и Веня быстро пошел к колодцу. Шаг его вкрадчивый, осторожный, и сам он почти не дышит, не приведи бог закашлять. И все потому, что боялся Анны. У каждого человека есть люди, которых нужно бояться. У Вени такими были соседи Клементьевы. Они чаще других допекали его, лезли в душу. Да и к дому его всерьез приценились. Но только подошел к колодцу — почувствовал, что в спину ему сильно глядят. Не захочешь, да повернешь голову. И в этот миг загремела щеколда, и когда оглянулся Веня, сразу же узнал Анну. Она стояла напротив, узкие глазки смеялись. Во всем ее теле текла и сквозила радость, будто не Веня стоял перед ней с котелочком, а сын родной после дороги.

— Приехал, Вenuшко, приехал! Слава богу, не забываешь нас, и мы не забываем тебя!

— Приехал, тетка Анна, — понуро ответил Веня и сразу же потемнел.

Не хотел ведь, таился, а она уж ждала его, выжидала. Захотелось удрать сейчас же, немедленно. Веня задрожал от досады и повернул к дому. Не сделал и четырех шагов, как услышал, что на плечо ему опустилась тяжелая, уверенная рука, и быстрый смехок вошел в уши.

— Чё водички не зачерпнул? Поди, картинки привез опять, дак торопишься? Позовешь Катюшу мою смотреть картинки — не позовешь? А я тебе рубахи простирала, проштопала. Хочу все в добры войти, а ты морду воротишь... Бежишь-то куда? Да я не кусаюсь... — Она сказала все это враз и запыхалась.

— Никуда не бегу,— сказал медленно Веня и совсем поник.

— Развесил уж? — опять спрашивает Анна смешком, и все ее тяжелое тело тоже смеется, колышется. Придвигается к нему совсем близко, даже видно мутную пленочку на глазах. Пахнет от нее укропом.— Развесил картинки-то? — опять повторяет соседка вопрос, и новый смех набухает в ее белом, веселом теле.

— Не развесил,— обманывает ее Веня, совсем мрачнеет.

Потом останавливается, смотрит на свои руки, не зная, куда деть их, и вся его высокая, сухая фигура теряет опору и обвисает. Так опечален встречей с соседкой. Но та словно не слышит его страдание, лезет опять:

— Чё ходишь, как неродной племянник? То ли пчелка ужалила в толсто место? Обратись — полечу!

И Веня покраснел до багровой пунцовости. Покраснел от досады — чего лезет без спросу, зачем пристаёт.

Была в этой женщине своя, скрытая, сила. Наверно, исходила от ее большого здоровья или воспиталась с рождения. И хватило бы этой силы на пятерых, да еще убавляй без убытку. И красоты достаточно и в лице и в фигуре.

Веня молчал, не откликался. Она посмотрела ему прямо в лицо, громко хмыкнула, точно обнаружила какой-то изъян. И опять засмеялась — попробуй останови. Когда смеялась она, то вся отдавалась смеху, и тело ее вздрагивало крупными волнами и колыхалось, а смех получался громкий, прерывистый, как рыданье. И говорила так же громко, не говорила — кричала, если даже собеседник и стоял рядом. Потому звали ее в улице Полоротой, но это ее вроде не обижало. Да и мало кто видел ее когда-нибудь обиженной или убитой — всегда зубы наголе, веселое слово. Было у нее трое детей. Старший, Михаил, уж надумал жениться, средняя, Катенька, третий год на ферме работала после восьмилетки, а младший, Коля, еще бегал с букварем, готовился в школу. Степан, муж ее, в семье своей состоял на особом, обиженном, положении, потому что его донимали болезни. Но дети его любили, жена тоже хранила. Просто сам себя обижал Степан, и часто ему казалось, горячему, вспылчивому больному, что он всем в тягость, что все от него устали и ждут не дождутся его последнего часа. И точно бы назло мужу

Анна с каждым годом все наливалась, толстела, и голос ее с каждым годом делался все громче и запыленней, да и работа поощряла к веселью. Работала она заведующей яслями и хорошо понимала свое материнское дело. Посадит чащенку к себе чужого дитенка, а тот крикун, визгун, неуправный, а как прижмется к ее толстым коленям, так и повалится сразу на бок на грудь ей, вроде в перину, — и заскулит, заноеет услужливо, и теперь хоть что с ним твори: хоть мыла на щеки намыливай, хоть кипятком окатывай, хоть спать заставь, — все равно подчинится и про мать родную забудет. Просто умела она чувствовать, понимать. А между тем сейчас не видит Вениного смущения. Может, притворилась, чего ей.

— Поди, надоело, Венишко, картинки-то возить из Кургана? Оставил бы тут, музей бы открыли. Как не погордишься таким человеком! — Опять смеется.

«Замолчи, заткнись, Полорота!» — хочется крикнуть Вене и удрать сейчас же, но вместо этого он отвечает ей тихо, серьезно:

— Не доросли вы еще до музея...

— Ну как же, всё растем — не дотянемся, — так же вторит ему соседка, — не доросли да загнили. Где уж понять нам, как кобыла хвостом мазнула.

Опять ему хочется закричать, бросить ей злое, тяжелое слово, но он решает — еще не время. Да и в тихом презрении больше силы, упорства. И он от нее отвернулся. Но соседка не поняла его жеста.

— Хоть бы двери-то в дому запирали, а то все стекла ребятишки повыстукают. И наш Колька залазит к тебе — согрешила я с ним, — чистосердечно признается соседка и говорит уже тихим, другим голосом да и как-то наставительно, нараспев: — Э-эх, ты, Венко, Венко, что ты у нас за Венко, носимся с тобой, как кошка с пузырем. А вдруг пузырь-то лопнет — да по нашему лбу!..

— Что, что? не понимает Веня.

— А ничего. Степан мой опять тебе двери забил, да стекла в горнице велела вставить, да ставни забить..

Степан опять... — мрачнеет Веня все больше.

Он, он постарался. А как же — растащат дом-то. А дом-то не гриб, второй не подымется.

Захочу, дак подыму! — обещает ей Веня и грозно смотрит вперед.

Мы подыдем с тобой смеется соседка.

— Ладно, ладно, поговорили,— сердится Веня. Но она не замечает его скрытого раздражения, стоит рядом как ни в чем не бывало.

— Чё-то жарко мне, Венушко, а тебе? — говорит Анна тихонько и поднимает к небу глаза, точно хочет там увидеть того, кто спускает на землю жар.

Веня молчит, первой спохватывается соседка:

— Пойдем куда-нибудь в затенек?

Она идет к своему дому и садится на лавочку, за ней, согнувшись, следует Веня.

II. ТУРИСТЫ МЫ

— Посидим, как молоденьки,— улыбается Анна и шумно отпыхивает: в жару дышать трудно.— За водой пошел, да не набрал?

— Не набрал,— соглашается Веня. Ему тошно и тяжело. Соседка смешала все планы.

Анна смотрит ему прямо в лицо, и он опускает глаза. И вдруг приходит необъяснимое чувство вины: она вот стирает на него, гладит да штопает, а он ее избегает. И Катю, дочь ее, тоже стал избегать, а чем она виновата. И он говорит тихо, точно бы в оправдание:

— Я чаю захотел. Вода колодешна вкусна. Люблю...— И он теряет слова, замолкает. Да и никогда Веня не умел говорить быстро, слова три наберет — остановится, а потом и вовсе замолкнет.

Анна смеется. Смех ее опять громкий, внезапный. Веня вздрагивает, кадычок на горле вздувается и, кажется, скоро проколет кожу. Она вдруг обрывает смех и говорит сдавленным, грудным голосом:

— Чайку, говоришь, захотел? Ох, чайку, старичок!.. А раньше девки к тебе ходили. Катерина-то моя все бегат к тебе, не бегат?

Веня сбит ее тоном, вопросами и решает, что лучше теперь помолчать. Да и сама Анна переключается на другое. Она смотрит на Венин дом и вздыхает:

— Сто лет простоит, не наклонится, а еще опалубить да оградку тесову... Хо-ро-шо!

А дом с улицы и вправду хорош. Бревна в сруб положены ровные — одно к одному. Под солнцем из них смолка повытопилась, но ничего с ними не сделалось,

лежат в венцах округленно, увесисто, и вверху крыша такая же прочная, свеженькая, под листовым белым шифером.

— К таким бы бревнам бы да хозяина,— говорит Анна сама с собой.

Слова обидны и ненавистны Вене, и он не может сдержаться:

— Я что — не хозяин?

— Ты-то...— замолкает на миг соседка, потом со значением схохатывает, потом оглядывает его с головы до ног, точно впервые.

А Вене стыдно, неловко. И не знает, куда деть свои длинные ноги, под лавочку не входят, вытягивает их перед собой во всю длину и сильно краснеет. А соседка опять смотрит в глаза ему подозрительным, долгим взглядом. Лицо делается серьезным, спокойным.

— Ты уж не хозяин, да-а. И не перебивай меня. Перерос, Венушко, это дело. Ходит по земле, как монашек, сегодня тут заночует, завтра где-то... Только монашки веру искали, кто-то растерял, а они собирали. А ты кого собираешь? Пошто нигде не приткнешься?

Веня пока крепился, чувствуя, что та перешла на любимую тему и никакая сила ее не задержит. Но теперь решил не ходить в отход, ведь так хорошо начинался день, столько планов поднялось в голове, и с утра — солнце, такое солнце! И он разозлился:

— Кому я помешал, тетка Анна?

— Вот молодец-то! Как мужик заговорил наш Вено. Хвалю, одобряю. Да совсем бы одобрила, когда бы завел подходну да ключи ей от дома вручил — живи, трудись, благоверна, да детей народи, да по хозяйству пособи для мужа милого, дорогого. Вот бы и узелок завязался: жена-то за гуж, а муж за другой.

— Я здесь жить не буду!.. И жениться не хочу,— отвечает он грубо, но за этим смущенье... Ресницы у него смотрят набок, и щеки опять розовеют.

Веня слышит свое смущенье и еще больше теряется, злится на Анну. Хочет ободриться, выправить положение. Но все больше запутывается и уж сам не рад, промолчать бы, но молчать невозможно. И он что-то бормочет смешное.

— Нельзя мне жениться, пока что нельзя...— пробует что-то добавить, пробует засмеяться, даже подмигивает



соседке, но все это: смех, слова и подмигиванье — не получилось. И гордость его совсем смята, ужалена, ему плохо.

Анна чувствует это, хмурится, забирает кончик платка в ладонь и тербит.

— Хорошо ты вымахал, Венишко, не постеснялся, а ума нажить постеснялся. Да и хорош гордячок.

— С женой тяжело. Подавай ей обслугу. А я поездить хочу, тетка Анна. Может, в Крым под осень. Может, в Якутию!.. — отвечает ей бодрым голосом, но бодрости ему не хватает. И он молчит и царапает землю ботинком.

И опять наступает чувство досады, и кажется, что уж вечно будет сидеть соседка на лавочке и никогда ему не убежать от ее вопросов, и светлый день для него тускнеет. Безнадежно опускает ресницы.

— В Крым-то собрался, а дом, того и гляди, потащат. Отпилят вот зауголки да вместо дров — на растопку.

Она говорит теперь ровным, спокойным голосом, но он знает: соседка готовится, собирается с силами и скоро кинется на него со всей мочи, пойдет на приступ. И он решает опередить ее:

— Я дом продавать не буду. С чем останусь-то? Приехать некуда.

— А ты не продавай, оставайся — в колхозе нынче не пропадешь (Веня молчит) — Да женись ты! — Она смотрит на него прямым, настойчивым взглядом, и глаза у ней решительны, с выжиданием. Веня не любит, когда так смотрят.

— Я ж сказал — надо поездить! В Сибирь думаю.

— А чё думать? И там добры люди. У меня вон племянник в Чите — так доволен. Деньги добры идут, и семью одел, и скопили. Давно катают на «Жигулях».

— Я не работать, посмотреть я! — сердится Веня, достает сигарету.

Нет, успокоиться не удастся. Лицо его сразу переменялось: от щек кровь отходит, они бледнеют, и бледность — серая, неживая, как от болезни. Сигарету цепко прикусывает и говорит сквозь зубы:

— Нынче все ездят.

— Много, дружок, зачихивашь! А чё не выкладывать — не сам зарабатывал. Все уж материны тряпки-то промотал, проездил, — усмехается Анна и смотрит кверху.

Солнце закрывает небольшая тучка, но это не дожде-

вая тучка. Ее скоро относит в сторону, опять солнце бьет по земле и много силы в этих прямых лучах. После такой жары не приведи бог гроза, и тогда уже земле не спастись от мѳлний, как сейчас вот от солнца, и много пожаров, несчастий от этих внезапных гроз.

Молчит Веня, потому что Анна, видно, права. Не такое бы еще можно сказать. На виду всей деревни продавал он, раскатывал родное имущество. И святые материны вещи не задержались в руке: все спустил по дешевке — так хотелось наскрести поскорее рублей.

Мне деньги сильно нужны были, а где взять? Я в поездку тогда собрался.

Все едешь? Чѳ-то и выездишь?

..На что жизнь чтоб поездить... Самый веселый народ туристы. Сейчас здесь завтра там

Выходит, кто робит, а кто разъезжат. Кто они, твои туристы-те? спрашивает Анна, и глаза ее смотрят настойчиво, весело, вот-вот расхохочется она в полный голос. Но она сдерживается, да и Веня настроен серьезно.

— Люди как люди. Я не человек, что ли? — сердится Веня и отворачивает лицо, которое опять становится бледным, обиженным, в глазах увеличивается страдание, они как бы молят, упрасивают кого-то. Ресницы напряглись, не мигают.

— Ты тоже турист? Ох и лукавец, наш Венушко! — совсем веселеет соседка, от смеха содрогаются щеки, и глазки сразу тонут в узкие щелки, и не видать их, а Веня жадно курит, сутулит плечи и становится теперь удивительно похож на костлявенького молодого грачонка, который выпал из гнезда, а полететь не может, вот и сжался, застыл в полусне.— Ту-рис-ты... — растягивает Анна, сдохатывает, ее большая грудь вздыхает под кофтой, щеки надуваются все сильнее, а глаза как утонули, так и не видно, только в щелках блестит от них узенький и надменный свет. Кто, значит, вкалывай, да без отдыха а эти сели да поехали. На хорошу дорожку ступил наш Венушко, на легоньку!

— Ничего ты не понимаешь! Сидела б с языком да не вякала,— кипит Веня.

Он так зол на нее, что может даже замахнуться, ударить. Вся доброта его спала, растаяла, как снежок под первым жарким лучом. Да и Анна залезла в самое горло. И чтобы отвлечься, идет к колодцу: Не идет а бежит

торопится, хотя и бежать-то зачем — вода рядом. За спиной у него Анна хохочет и опять так громко, будто рыдает. «Что ей пришлось так? Над ним она, что ли?» — думает, терзается Веня, и ему так больно, нехорошо от смеха, словно бы его самого ударили и ничего нельзя сделать в ответ. Хорошо, хоть про Катюшу не вспомнила больше, а то бы...

Поднимает бадью из колодца, склоняется над ней, жадно пьет. Ледяная вода обжигает зубы, но он пьет с иступленностью, как больной. А жар внутри не проходит. Глотки глубокие, длинные, и при каждом глотке шевелятся лопатки — приподнимаются вверх, опускаются. Сзади незаметно подходит Анна, смотрит ему задумчиво в спину. Она уже не смеется, плечи у ней неподвижны. Заметно по всему, что ей грустно.

Волосы на Венином затылке редки, но курчавятся, — так же курчавились, вились волосы мягкой ниточкой у его матери, а она их все стригла да подстригала, стеснялась, да вот уж в земле. И еще Анна думает про себя: «Господи, какой он худой, исхудалой, как мышка серая, полевая, да хоть бы уж не такой длинной». И вдруг чувствует такую сильную материнскую тоску по нему, что начинает щипать глаза. «Зачем говорила с ним посторонним, смешливым голосом, зачем не одумалась». Смотрит ему опять на лопатки — и смешно, и печально.

— Простынешь ведь, — говорит спокойным, но дрогнувшим голосом. И в этом спокойствии уж ласка к нему.

Наклоняется, трогает его за волосы, за пушистый, витой хохолок. Трогает, задумывается и не относит руку. Веня ежится, отнимает лицо от бадьи. Удивленно смотрит на Анну. Она вся светится, ужимается, как нашалившая девочка, а Веня злится опять и решает сейчас же вымыться у бадьи. Конечно, чтоб досадить соседке. Разденусь, мол, так сразу уйдет, отстанет.

Решительно дернул с себя рубашку, решительно оглянулся на Анну: знай-де меня, — и она сразу смутилась, потупилась, и он смутился, испугался своей худобы, белых неразвитых рук.

— Зачем мучишь себя колодешной? К вечеру баньку сделаю. Своих обмою и тебя позову... Потом беленького поставлю, ведь любишь водочку-то, зачем бы, а любишь...

И опять голос у ней тихий, а раньше был громкий и все из груди. А глаза боятся смотреть на него. И не

смотрят вроде, а все равно видят длинненький, глубокий желобок на спине, худые отчетливые ключицы у шеи, так похожие на ломкие и сухие прутьи. Опять вздыхает по-матерински и сглатывает комок. Велик ли, мол, силен ли прутичек, а согни посильней — вот и сцакал, сломился прутичек, и нет человека, как будто не жил. И она бормочет под нос:

— Господи, како время пришло. Каки дети-то у нас появляются — туристы каки-то... Как жить-то с такимя? Поди, не проживем, умрем...

— Чего там ворожишь, тетка Анна? — оглядывается на нее Веня, весь посиневший, омраченный от холодной воды.

— А про смерть свою ворожу. Чё-то жить, Венушко, неохота. Больно уж старший Мишенька стал задумываться. Полагаю, отделиться от нас порешил. Есть невеста хороша. Все знаем, да как вытерпим...

— Ничего, проживете без Мишеньки, — и плещет воду на посиневшую грудь.

— Эх ты, Вено-Завено, много горя возьмем с вами, с дитями-то. Погляди, какой ты худой, изморенной, неуж бы дома жил, так допустил бы до этого? Мать-то свою вспоминаешь или все уж проездил?

Анне теперь тяжело и заплакать хочется, запричитать, потому что она, как и Веня, росла сиротой, воспитывалась у тетки, человека чужого, далекого. Ей знакомо сиротское дело, ничего нет в нем хорошего, потому она смотрит теперь на Веню с двойной внимательностью, покачивает головой.

— Да-а, подруги мы с твоей матушкой Еленой Петровною. Как дорожила она своим гнездышком, все скребла, скребла на него, да глаза на все закрывала, лишь бы, мол, живы-здоровы были, да сама-то расстроилась да умерла. Без нее не стоять бы этому дому, не лежать бы этим сосновым бревнышкам. Да кого тут — все равно пропадут.

— Не пропадут! Вот увидишь. Вот поезжу, потом сохраню, — поднимает он голову и неожиданно веселеет. Может, ледяная вода разогнала кровь по телу, и тело ожило. Полилась по нему сила, и застучала кровь. Да и в голове стало светло. — Сам за хозяина буду! Вот только поезжу... — еще больше оживляется Веня, опять смотрит на нее в упор, видит близко ее губы, ее волосы, убранные

назад в большой узел, видит чистую, гладкую кожу на шее, еще совсем не увядающую, как у молоденькой, и вдруг в его сознании рождается что-то тайное, ужасно стыдливое, нехорошее, и хочется его подальше спрятать или выбросить, но оно гнетет и гнетет. Да и так похожа она всем телесным своим на дочь!

И при воспоминанье о Кате он достает сигарету, стараясь думать о чем-то другом. И не одинок в своих мыслях Веня. Хороша еще Анна для мужского глаза, и редкий пройдет возле нее и не оглянется, редкий не подумает про себя с сожалением, а может, и с радостью: есть же еще такие Анны — не перевелись.

— И когда ты в них записался, в туристы-те? Поди, еще курсы как проходил... А мне вот не довелось поучиться подольше, война-разлучница не дала.

Но Веня вроде и не слышит ее слов, он так задумчив, придавлен какой-то мыслью. В такие минуты полной задумчивости, отрешенности на лице его особенной жизнью жили глаза: они делались еще больше, еще подвижнее, еще отчетливей, в них оживало страдание, в зрачках появлялся влажный блеск, — и казалось, что в эти минуты он, Веня, ничего и никого не видит кругом. Да и в самом деле, он в эти минуты был как бы оглушенный, далекий, и можно было его напугаться. Но сейчас оцепенение прошло быстро, да и выручила бадейка с водой колодешной. Веня приподнял ее высоко над головой и вылил воду на спину, и его сразу же обдал жуткий холод, но он вынес — не крикнул. Даже Анна глаза зажмурила — ведь холодно же ему, простудится парень, и кашель всего изложет. И она про себя бормочет: «Ох ты, матушка-вода, государыня-вода, подземельная вода...» Глаза ее опять раскрылись, наблюдая за Веней. Первый ожог от воды прошел, и Веня пожалел, что нет с ним полотенца. Растереться бы! Но Анна быстро поняла, что надо. Она быстро нырнула в ограду и на той же ноге пришла с полотенцем.

— Возьми растирайся, да не сбуривай на тетку Анну, чево спрошу по суседскому делу — так уж стерпи от худых, от малограмотных.

Веня берет осторожно в руки белячий рушничок. Мать у Анны была из Полтавы, потому в доме у них и по сей день висит много вышивок, рушничков, разных милых, старинных рукоделий, которых было в изобилии

в далекой Малороссии, да и теперь они тоже не вывелись.

Веня растирает грудь, потом плечи. Он прикусил губу, ему мучительно, ему стыдно смотреть на себя — такой он худой, белокожий. И соседка тоже поглядывает на него с тайной, горькой усмешкой: и чего, мол, с людьми творится. Вроде в детстве был такой сбитый, увесистый, а сейчас — жердочка, да и то кривая, задень не в том месте — и сразу обломится, — чего это с парнем? С чего тает, худеет да погибает? Да с чего гордый такой — не дотронься? Неужели он дочке Катеньке все еще глянется, неужели у ней все горькое-то, вся печаль от него?.. И еще ей приходит в голову, что если б остался в живых средний Степанушко, то он бы, поди, подружился с этим, с ху-дерящим-то, в первом классе на одной парте сидели. Только, поди, сын ее поздоровше этого был, поувесистей. А что теперь — думай не думай, гадай не гадай, утонул в большую воду сынок, даже могилки не нашлось для него, не заробил. Так и растаял в воде. Она бы сейчас же расплакалась, но глаза ее опять натыкаются на Венину грудь — господи, где так заморили его, повыжали, худо ему без матери-то, на чужой стороне. Он ловит на себе этот взгляд, совсем теряется и от своей потерянности начинает покашливать. Все же занятие. И далеко слышно, что кашель этот придуманный, лишь бы внимание отвлечь, но Анна — простая душа.

— Будь здоров, не кашляй, — смеется она, забыв про Степанушку, — ишь, простыл, никто не велел вставать под колодешну воду. Ну-ко, дай я тебе спину поглажу, по-выгоняю простуду.

Но Веня увертывается от руки ее, и совсем багровый, растерянный, натягивает на себя майку. На белой коже майка кажется особенно грязной и неопрятной. Такую тряпку добро на вехоть. Но Веня не замечает своей одежды, его мысли далеки и неопределенны. Волнение улеглось, душа успокоилась. Только стыдно стоять раздетым перед соседкой. Но стыдливость эта стала особенная, почти что хорошая: словно стоит он сейчас перед матерью и смотрит в родные глаза. Хоть и сторонится Веня соседки, хоть и уходит от разговоров с ней, но бывают такие минуты, когда становится она ему человеком желанным и почти что родным. Наверно, это приходит от тоски по материнским словам. И вот сейчас наступил этот миг нерешительности, какого-то ласкового взаимопони-

мания между обоими — оттого он задумчив. Анна покачивает головой потихоньку, будто задремать собралась, глаза ее лениво разглядывают Венины плечи. Возле самых лямок, на самой вершинке плеча, много самых разных, самых ярких веснушек. Они выступают ранней весной и не сходят до первых морозов. И потом не сходят — только бледнеют. Веня чувствует, что Анна открыто наблюдает его плечи, его веснушки, с горькой скорбной подробностью водит глазами по худым, обнаженным ключицам. И опять поднимается раздражение к ней: чего лезет, интересуется, чего хочет высмотреть. И гордость его обижена, и хочется защитить себя.

— Ну что, что уставилась, — уже пробует грубить он, но соседка точно и не слышит этот вызов, наоборот, ее улыбка еще мягче, податливей, а в глазах — грустно, темно.

Неожиданно говорит ему: «Подожди-ко», возвращается быстро, в руках — яркая рубашка в желтую клетку. Рубашка хоть и поношенная, но чистая, пахнет мылом.

— Одевайся, турист. Мужова одежда, да еще крепка.

Веня сбит теперь и подавлен, и гордости его все меньше и меньше, и он смотрит на нее уже другим, новым взглядом.

— Спасибо, тетка Анна, — говорит покорным голосом, но чуткое ухо услышало бы в его голосе все еще недоверие. Не привык он верить, не привык доверять.

— Чё спасибо, поди, уже не обедням... — Она снова оглядывает его и скорбно покачивает головой: — Сирота ты моя неумытая. Нигде тебе ни место, ни местечко.

Она пробует удариться в слезы, но Веня взглянул на нее жестким и прямым взглядом. Жалости к себе он не терпит. Анна остывает, опять покачивает головой. Глаза по-прежнему темные и печальные.

— Все едешь куда-то, да чё-то и выездишь, да, поди, ничё. Неуж бы мать родна шататься дозволила да этой мазней-то баловаться, страдать? Но нету-ка у тебя родимой мамоньки, нету-ка родимой заступницы!

И опять было запричитать собралась, но Веня решительно отвернулся и достал сигарету. И Анна одумывается, смущенно моргает. Да и он снова нахмурился и не выдержал:

— Ты про мазню помолчи. Еще увидите...

— Ну, ладно, ладно, уже увидели. А ты в город-то рубаху не увози, а как зачернишь, так и подклучи к этой

маечке, да еще кое-что подложи в узелок, а я состирну. В другую субботу приедешь — тебе чистенько и вручу. А мне чё — постираю по соседскому делу. Мать-ту свою во сне видишь?

— Вижу,— улыбается Веня; сразу стихает его досада, будто пообещали что-то хорошее, будто напоили холодным кваском в жаркий день. Много ли порой угодно душе? И вот уж уютно возле соседки, так о матери хочется поговорить. Он простил уж многое за то, что вспомнила мать.— Вижу во сне...— повторяет тихонько Веня, и глаза светятся твердым, упругим светом, и в душе поднимается что-то легкое и бесценное, и в висках приятно кружится и постукивает кровь.

Когда было такое с ним? Давно уже не было. И он идет машинально к лавочке, садится. И в теле снова ласковое кружение, да и свежая рубашка приятно холодит и сжимает верхушки плеч. Возле него опять уюстилась соседка, точно позвали ее. Но мысли его далеки. Сигарета кажется ему особенно пьяной, приятной, дым вьется круглыми, витыми колечками и оседает вниз. Анна тоже к табачному дыму привычна, муж у ней хоть и больной человек, желудочник, но прочадил все углы. Не отстаёт от него и старший, Мишенька...

Веня вздрогнул, закашлялся. Соседка взглянула на Веню внимательно и вдруг посерьезнела, задумчиво сжала губы в тугую, строгую створочку, неторопливо поправила волосы, и во всем ее облике появилось гордое, неприступное свойство, и такой же сухой, гордый свет встал в глазах. Но Веня не видит этого, молчит.

Знойно и тихо в воздухе. Небо пустое, высокое, ни самолетов, ни птиц. Веня думает, что хорошо бы срисовать в альбом эту полянку, небо, колодец, высокий тополь возле него. Он пробовал даже себя рисовать, смотрел в зеркало, рисовал, но ничего не вышло. Грустно, смешно. Да не пожалуешься — не поможет никто. И Веня опять углубился в себя и заскучал. Да и вообще — кому нужен этот тополь, колодец, кого удивить? Кто остановится возле картины? Никто. Вот если бы написать ему разных людей: как мечтают они, как работают,— как-то бы по-особому написать! Но где их возьмешь — таких разных и удивительных? Бродят они какие-то простые, унылые — и все на одно лицо.

Рядом с лавочкой прошел голый обиженный мальчик

лет трех-четырех. Лицо все в земле, ноги тоже в земле, заплетаются. Откуда такой? Анна смягчается. Глядит на мальчишку. Веня тоже смягчается и запоминает обиженный кривой рот, белый пушок на макушке. Пушок как голубиное перышко: дунь — улетит. Но мальчик проходит мимо и поднимает пыль. Солнце бьет ему прямо в голову — наверно, оттого и обижен. Веня опять думает: «Вот написать бы такого мальчика, положить бы на бумагу это голубиное перышко. — И сам же над собой усмехается: — А для кого будет твой мальчик, кого удивит?»

Соседка рядом пошевелилась, словно подслушивала

— Вот бы эту картиночку над кроватью прибить.

— Какую? — Веня вскинул глаза.

— Вон переваливается наша картиночка. — Она кивнула в сторону мальчика, рассмеялась слегка. — Ишь ухабака идет-ползет. А пыли-то досыта поел. Не узнают в дому... Как их хранить-то надо да охранять. Живое недосчитаешь одного... Мы вот недосчитались. А как берегли. Не дышали. Комарик укусит — и то больно, думали, лучше б нас укусил. А все ничево — потеряли Степанушку, да ты, поди, помнишь?

— Помню, помню хорошо.

— Ясно, что помнишь. А не дай бог сыночка терять. Само гиблое дело, само гиблое. Как ушло дитя — так моли свою смертоньку. Хорошо, коли вымолишь, а не вымолишь?.. За какие грехи наказание — после мертвого жить сынка? А я вот и схоронила, оплакала, зажила еще. Да кого схоронила — утонул дак. Кто могилку нашел его, никто не нашел... А казалось: веку-то на сто лет. Таку болезнь выдюжил. Бесчеловечну болезнь.

— Что за болезнь? — Веня посмотрел на нее, но она замолчала.

А ему уж интересно стало слушать ее, представлять того мальчика. В возбужденном мозгу его уже картина плавала с ярким заглавием — «Детство наше». А в центре картины этой вставал из облака, из густого, красного облака, белый мальчик, курчавенький, и стремился вверх, но пока он стоял на красном волшебном облаке, и простирали вперед руки, и взлететь хотел — не то человек, не то ангел, — и вместо бровей у него таких же два беспокойных крыла. И мальчик этот лицом уже походил на Степанушку или самого Веню, да в том ли дело-то — на кого походил? Главное — картинка уже ворочалась и тол-

калась в его голове. Только надо было еще что-то представить, чего-то додумать, узнать, потому он и прислушивался теперь к словам Анны. Потому он и повторил свой вопрос:

— Что за болезнь? Заикнулась, так говори.

— Не торопи. У меня невеселый рассказ. Дай отдышусь, а то ишь ваше благородие выискался, заторопил...

В другой раз бы Веня обиделся при своем самолюбии, даже вспылил, а теперь он весь в своей душе, в своей картине. Да и Анна милей засмотрела, но вдруг потемнело, стало скорбным ее лицо. И ему удивительно: как быстро может меняться лицо. Еще сейчас блестело, двигалось, жило, могло улыбнуться даже, и вот уж в глазах — темный, тяжелый свет.

— А зачем тебе эта болезнь? Нарисовать, што ли, хочешь сынка? Так лучше карточку принесу, вот и спишешь с нее.

— Не нужна твоя карточка. Я и так нарисую — все люди ахнут...

— Они уж раз ахнули, когда отец твой на берегу простоял, а сынок мой, дитенок единокровный, в воде погибал, бултыхался. Друга бы мать не простила Геннадия, а я што — проста душа на костылях, — простила, вину сняла...

И вот уж забыл он свой вопрос, даже тот ангел на картине, белый, курчавенький, весь забылся, — так поразили его слова.

— Зачем на отца наговаривашь? Его, что ли, не простила?

— Ладно, Вено, человек наш дорогой, молодой, не будем грести стару золу, не затем я сажу с тобой. Был бы жив Степанушко, тогда другое дело. А нету его, нету — и все.

III. БЫЛ БЫ ЖИВ СТЕПАНУШКО...

Сказала как припечатала: не моргнув глазом обвинила отца. И другая, тайная мысль шевельнулась в нем: а может, права она, может, злую правду носит в душе. И еще подумалось: почему он тихо сидит, не кричит, не ругается, ведь отца же обвинила родного, такой позор

возвела на отца. Но снова эту мысль перебило другое — ведь люди уж давно так поговаривали, давно уж злые языки ему доложили, что из-за отца не выплыл Степанушко. Будто бы погодился на берегу в ту минуту, когда лодка под тем опрокинулась. Геннадия бы все скинуть с себя — штаны да рубаху, — да плыть бы за ним, да вытаскать, а он даже и не подумал броситься, закричал, правда, криком созвал народ. Но только лодку и выловили, а кого надо — унесли волны. Народ кинулся на Геннадия: почему простоял, подлец, затаился, почему не бросился в воду, ведь на самых глазах тот тонул да захлебывался? Геннадий только руками отмахивался: куда я, вода-то хуже колодешной, а у меня уж билет на поезд в Березники, чемодан на заработки. В самый раз бы простыл, погубил свое дело, и вот тебе — вся поездка. Потом видит: народ к нему с ненавистью, он уж потоньше заговорил, половчее: сам, мол, перепугался, ноги вроде в землю вросли, огрузли. Так и давай рассказывать всем. Мужики в первый раз, как послушали, только сплюнули, поматерились. А что толку — как был Геннадий, так и остался Геннадием. И теперь все корят Веню отцом. Сын за отца — не ответчик, но пойдй докажи.

Вот и хочется спросить сейчас, как было дело. Может, не так уж отец виновен, может, что и прибавили по злобе? И он решается:

— Расскажи, как утонул Степанушко? Только подробно...

Анна взглянула на него испуганно: сдурел, что ли, парень. Но потом головой покачала, вроде даже полюбопытсился вопрос.

— Про дружка вспомнил? До второго вместе ведь на одной парте сидели. Тихо да смирно, как чурочки, — муха пролетит... Помнишь хоть?

— Хорошо помню, — ответил Веня, а сам уж пожалел, что спросил. Лучше б домой уйти да вскипятить чаю, а потом — в лес, к настоящему отдыху. А то наступила в разговоре неопределенность, да и не знал Веня, куда заведет разговор, а подчиняться не любил он, а еще больше не любил он своих детских воспоминаний: было, мол, дело, да пролетело. Но Анну разбередило.

— Так уж ему написано — утонуть, — вздохнула, посмотрела грустно на Веню. — За чьи-то грехи погинул Степанушко? Говорят, первы люди из воды вышли. Моря

да реки — кровь наша. Вот и взяла кровь Степанушку — освятила. А все-таки как пришлось ему. Сколько раз погибал — не погиб...

Как — погибал? — спросил Веня уныло. Разговор этот уже не нравился.

— А забыл, как болел Степанушко? Как сосновых пестиков объедался? Увел старший Миша в борок, там и нашла беда. Пошли-то по доброму делу — поиграть да побегать, а старший-то и нарвал этих цветочков с сосны. А у малого и умишка по-малому, старший-то заигрался и про цветочки забыл, а Степанушко ест да ест. Наелся досыта зелененьких пестиков. Ты не помнишь? Да тебя с ними не было...

— Не было.

И Веня взглянул ей в глаза отрешенно, словно не чувствуя ее слов. Да так и было — о другом уже думал, другой образ стоял в голове: ему своя картина представилась, новое решение пришло. Вначале все было по-старому: стоит мальчик на облаке и то облако — красное, поднимающееся; но продолжение рисунка стало другое: будто бы раскинулись под облаком сосны и растянулись они далеко бесконечной каймой. И эта кайма будет синяя, жуткая и поразит зрителя тайным смыслом, напоминаньем каким-то.

Тебя, значит, не было с ними? — подала опять голос соседка, и Веня очнулся:

О чем ты?

— А я говорю, прибежали ребятки из бору — вижу, што-то нехорошо. Я на беду почуткая. А к вечеру Степанушку давай жар трепать. Ну, и горе пришло. В три-то годика поболье-ка! Гляжу, он корчится, ежится, а сказать-то не может. Велик ли! Вот и совсем его расхлестнуло — рвота, тошнота, и в ножках — синё. В больницу в Курган повезла, а там помяли, постукали: все, мол, хорошо. Временами-то хорошо. А вернулась домой — опять рвота, уж еда не пошла. А к утру совсем посинел. Ну, думаю, пришло твое горе, Анна, встречай. Понесла его за ворота, на солнышко. Пусть, думаю, поглядит на травку, на птичек в последний-то раз, а у него уж глаза, как у птички, закатываются. Мутнеют глазоньки. Я реветь, причитать, сам знаешь, каки громки у бабы слезы. Только перебили мои крики. Зашел к нам в заулоч татарин / мастеровой. А голосок у него тонкий, пронзительный, стену

сверлит насквозь. И кричит он, мол, пилы правит, машинки швейны. Ко мне подошел вот так же на лавочку татарин. И говорит:

«Кто это сына твоего покарябал? Неуж хоронить собралась?»

«Собралась, собралась,— тебя не спросила», а саму злость берет: чево лезет ко мне?..

«А надо спроситься, Ахмед Ерикеевич не разрешил бы»

Да опять пошутил что-то да тут же высудил:

«А я его вылечу! Согласна?»

«Ох, согласна!..»

А сама думаю: поди, здесь подлог. А он опять завернул через часик да какого-то белого порошка принес. Трава, говорит, корешки. Попои, говорит, денька два. Я попила дитенка, а он — спать у меня да спать. А на третий день опять заглянул Ахмед Ерикеевич. Да опять принес травки, да сам ее выпоил Степанушке, да порастирал тело, ноги. Порастирал да велел освободить бокову комнатку, да застелить кровать новой простынью, да такой же простынью закутать дитенка. Так и сделала. Закутала его потеплей, хоть и так жара, но раз велели — закутала. Он и уснул опять. И никого не пускала в ту комнатку. Опять спал долго, потом слышу — зовет меня. Давно уж молчал все, а сейчас зовет. Развернула его — а простыня вся в зеленом, как трава густая надавлена, и не поймешь отчё. Зато ожил сынок, заиграл... Ну, рады мы сильно, благодарить захотели. Пришел Ахмед Ерикеевич, приказал грязну простынь всю высушить да сжечь на огне. А что это — спрашиваю и показываю на зелено. Он посмеялся немного и говорит:

«В бор-то его водили?»

«Водили, водили»,— а сама вся дрожу, сразу вспомнила, куда он с Мишей бегал играть.

«Ну, вот,— продолжает опять,— видела, по сосне ползут жужелицы, особенно в мае — июне месяце. От них слюнка тянется, перетянется, и все норовит эта тварь на пестик забраться — на сосновый цветок. А намешаешь этой слюнки куда-нибудь да попишь, то и ножки отнимутся или будет похуже. А твой сынок, поди, добровольно наелся?»

Соглашаюсь с ним,— поди, добровольно.

«Ну, вот и болезнь вся».

Надо бы благодарить его, а он исчез. Ушел под вечер

Ахмед Ерикеевич в другу деревню, да и не пришел назад. Мы ждали его, ждали, все жданы съели. А Степанушко уж ходит, смеется, ожил сынок. Да недолго. Потом его бык на рога садил, но все ничево. Вот уж в школу пошел сынок, вот за парту сел. Да, видно, пришла его очередь. Судьбу-то не выбирают. А ты, Венушко, помирать бо-ишься? Только не криви, говори...

Веня вздрогнул. Не понравился этот вопрос. Может, таит он насмешку, какую-то цель. Анна смотрит ему прямо в лицо, напрягла глаза.

— Чё молчишь, подавился?

— Не хочу отвечать на такие вопросы. Не хочу.

— И правда. Это нам запастись белы рубахи. Составились. Освобождать надо место. Чтобы детки наши не взбуривали. А то скажут — зажились старички...

— Хороша у нас завалялась старушка,— засмеялся Веня и взглянул на нее весело и вприщур. И опять рассмеялся, покачал головой.

Ей понравился этот смешок, но для притворства рукой замахала:

— Не возвышай, Венушко, не возвышай. Чё теперь ожидать... Лишь бы детей не обидеть, не проглядеть свою кровь. Да как не обидишь, коли старишься, да с болезнями старость? Поехала в прошлом месяце по железной дороге, да уж в вагон села, смотрю — лезут старик со старухой. На первую ступеньку зашел он, а для второй силы нету, я схватила за рукав его, а рукав-то пустой у него, думаю, рука-то дальше, потом и руку нашла, тяну ее, напрягаю, а то голова оказалась, в темноте-то не сильно видно, а он однорукой. А старушка-то его вроде слепая. Может, видит немного при солнышке, а в темноте — никово... И оба уж пьяненькие, еле заметно. Но запашок. А в вагоне — народишко, теснота. В одно место их пристроила по-семейному — дак с верхней полы загавкали: занято тут, проходи! В друго место приткнула — тоже кричат: занято, тащи их в конец! А мне уж тошно, дрожу вся — заткнитесь, мол, пустолайки, родителей веду ваших, кровь вашу веду. Захотели кругом, и обидно так: молодежь ведь, под вид тебя. И песни дуют, играют. То ли отдыхать поехали, то ли на волю куда... Я б на месте стариков разревелась — куда же годно: гонят, и все. А они ничево — сидят смирно, все мне отдались. Ухаживай, мол, тетка, обогревай, раз не противны мы... Я старушке кон-

фетку дала. Она развернула бумажку, а съесть забыла — задумалась. «Дети-то есть?» — спрашиваю. «Есть, есть! — Она конфетку выронила. — Сынок хороший, женился, к нему едем из дома старости. Примет — не примет, да сноху поглядеть охота. Мы уж больные, отжили, только поглядеть, да и все». Говорит громко старушка, на нее опять закричали... Вот оно дело-то. Не подходят они под наши серванты. Да и вагон был новый, обклеенный, а они уж и вагона, поди, стесняются, мол, в тако хорошо место сели. Я их всю ночь караулила, а они спят — ничево. То ли привыкли уж, да какая, поди, привычка... А те в гитару бренчат да поют. Всю душеньку вымотали... Ну чё, Вено, заговорились? То ли дождик идет?

Веня поднял глаза, но никакого дождя не заметил. Небо сделалось выше, еще синее, а по краям его стояли редкие облака. И облака были маленькие, спокойные, совсем не дождевые. Теперь уж Вене совсем не хотелось подниматься с лавочки, уходить, голос Анны теперь уж не злил, не обижал его, наоборот, успокаивал. Так бывает: придет гость, неродной, неожиданный, и рассердит своим приходом, а посидишь с ним, чайку попьешь, побеседуешь, вот уж и сам не заметил, как привык к нему и не хочешь его отпускать. Да и гость сидит, не уходит, тоже к тебе привык. Да и в душе Вениной произошло дивное, радостное смещение — уже не Аннин голос ему чудится, слышится, а какой-то другой голосок наплывает, близкий и родной, до грудного стеснения. И он сразу узнал, понял этот родной голосок. Ведь так часто бывает — что желаешь, то и приснится, чего хочешь, то и привидится. Вот и привиделась ему мать.

Когда она жива была, он любил с ней разговаривать, любил выпрашивать о прошлом ее, о молодости, и мать стеснялась, краснела, но охотно говорила с ним и во время разговора все время смотрела в глаза ему. И Веня привык к этому, особенно в долгие зимние ночи, возле печки, возле спокойного огонька. К тихому, родному слову привык. Но только не пришлось его долго слушать, голосок этот. Унялся он навсегда, преждевременно, и теперь уж никогда не оживет, не откроется, как ни томись. И он тосковал об этом, да никому чужому не признавался. И сейчас, слушая Анну, точно забылся, заснул, перепутал что-то, вроде бы с матерью разговаривал и плыл опять по этим привычным тихим волнам.

— Будет дождик-то? — спросила она громким голосом.

И Веня вспомнил вдруг, что ему надо узнать про Степанушку и про отца узнать, что случилось у них в то половодье. И он просит ее умоляющим голосом:

— Какой дождь? Не будет... А про Степанушку-то доканчивай. Раз начала — говори!

— Тяжело, Вено, сынок ведь. Не могу я, дай продышусь.

Ее мучила жара и волнение, да и боится страхом тяжелым, что вот начнет вспоминать о нем и совсем растеряет себя, расстроится. Но Веня торопит, не дает опомниться. У него — своя цель.

— Неужели не могли вытащить? Неужели не слышали, как кричал на воде?

— Папаню благодари своего, Вениамин Геннадьевич. Он и крики слышал, и лодку ту видел, да простоял на сухом берегу, не измочил драгоценны ноженьки. Не измочил... Говорить-то не надо бы.

— Ты по порядку, давай по порядку! — торопит он, и хмурая догадка встает в голове. И кадычок опять дергается, вонзается в кожу.

— Чё по порядку. Дело вышло короткое, в большу воду. Сел сынок в чужу лодку да оттрлкнулся — пока-таюсь, мол, маленько, поогребаюсь, — а вода-то взяла, понесла. Понесла, опрокинула. Да много ли ему надо — он сразу в такой воде перекреп. Покричал, покричал, да кого дозовешься. А что кричать — папаня твой на берегу на-ходился: прутья наготовливал для плетня. Ему бы в воду да в ту же пору, а он сам кричит: караул! караул! Так и прокараулили. Унесло Степанушку... — Анна плачет, утирается рукавом.

— Значит, отец виноват...

— Никого не виню, Вено, не позорю. Только села однажды на берег да локоток под шшочку и думаю: ох ты, Геннадий, Геннадий, никто тебя добром не вспомянет, как начнешь сам погибать. Да сама тут же себя обвинила: поди, грешно мне зубы точить на Геннадия — не все и у него хорошо. Тоже ездит да душу мает. Как раздумалась — так и наревелась над ним, над Геннадием-то Лукичом. Надо кому-то и над ним пореветь. Да и с тобой-то вон беда получилась. И ты по разным работам шатаешься, и он шатался. Ездил, калымил по заработкам. Каки-то

длинны рубли искал, и ты, поди, ищешь рубли. А про Степанушку што говорить, што про него говорить? Был бы живой да здоровый, неуж я допустила, чтоб с такими, как ты, ходил да от добрых людей отворачивался... Само последние дело это. Живешь ты, как спесива курица. Забралась на кучу с зерном, поклевала сверху, гордячка, — клюв да клюв, а снизу все лапами забросала. И оказался в грязи наш хлебушок. Потом к другой куче — и ту запоганила, а на третьей объелась — и лапы кверху, хорошо, что хозяин заметил да откачал... Нет, не так бы жил мой дитенок. Да что говорить, раз не вытащили, простояли на бережку... Ну, ладно. Пошто с деревенскими-то не дружишь, были бы друзья-сотоварищи? Легче бы делу...

IV. ОТКРЫТАЯ ЖИЗНЬ

Беспокойство его растет, переходит в волнение. Большая буря задолго видна. Еще и туча не подошла, и грома нет, ветра нет, а уж теснит дыхание и болит голова. Он сдерживается, но выдают глаза. Они раскрываются до предела и ворочаются нехорошо. Соседка что-то бубнит про себя. Веня вскидывает глаза на нее, и та подчиняется этому внезапному электричеству, и вот уж вся правда хлынула.

— На Геннадия не держу вины. Ты сам разбирайся с ним. Только Христом-богом прошу тебя — переходи ты к нам жить. Переходи — не раздумывай. Изболели мы все о тебе — сирота не сирота, да похуже сироты. А не перейдешь — как бы чего не вышло. То ли мокренько, то ли горяченько. Катенька-то моя уж совсем не моя... Все ищет каку-то потерю да сидит по темным углам. Вот так-то, человек молодой..

Ты не грози, тетка Анна, — говорит Веня тихим и жутким голосом. И в горле у него клекот, как будто отпил воды, а вода не проходит. А по щекам пошли пятна. — При чем тут Катя твоя? И не пугай...

Я не пугаю. Сама боюсь, Венушко, сильно девка переменялась. В восемнадцать-то лет любо получается. А мне уж досыта Степанушки. Да и не обидно разе: сперва от отца пострадали своева, а теперь уж и от сына его страдам. И как вынести? Поди, уж и не вынести. Раз поморговал нашей Катенькой, раз подержал да бро-

сил — а думал о чем? Да у других еще на виду. В деревне-то разе скроешь? Не скроешь. Вот Катенька моя и переменялась...

— Ты не пугай, тетка Анна, я пужаный! — добавил Веня уже громким, уверенным голосом, и в глазах его народилось упрямство, то буйное, кровавое упрямство, в котором человек теряет и волю, и память, собой не владеет. — И Катеньку мне не подсовывай. Мое это дело, и только мое.

— Пошто так, Вено? — мрачнеет соседка.

На лице ее резко проступают морщины, и лицо стареет в одно мгновение. Сколько лет ей теперь — поди угадай. Но воля у ней мужская, крепкая, ей не хочется показывать своей обиды, бессилия, и через минуту она уже пробует пошутить.

— Замучимся с тобой... Тако будет: слезешь с автобуса, а дом твой ребятишки под гору толкнули... Кто с деньгами мучится да с машинами, а наш Вено с домом смозолил душеньку... — замолчала соседка, косит глазами; и странное дело: пока говорила, шутила — всю эту минуту по щекам сновала улыбочка, а как замолчала — так опять в лице боль означилась и потемнело оно, будто кровь отошла. Да уступать не привыкла Анна: — Раз нет живого человека в хороmine — кто ж ее сохранит? Привел бы жену...

— Я что, не живой? — огрызнулся Веня и закурил.

— Живой-то живой, только нам непонятной. Ездишь да ездишь, кого-то и выездишь? Кого делаешь в дороге-то? Сидишь да куришь?

— Я рисую в дороге... А что смеешься — рисую. Мне Галина Петровна советовала: езд, пока молодой, езд по-настоящему. Чтоб рисовать хорошо, повидать, мол, все надо: разную природу, людей, города. И я повидал уже... — Лицо его светлеет и оживляется, ресницы быстро моргают, а длинная шея все тянется, тянется вверх. Когда он волнуется, всегда откидывает назад голову, потому кажется, что шея на глазах вырастает и стоит потом, как живой стебелек.

— Хвали, хвали свою Галину, да под гору не свали. В школе-то ее рассчитали, кто же будет держать лентяек? Да и в дом к ей зайдешь — не соскучишься. Знал бы ты, Бенко: гам, грязнота. И слышишь, чево удумала, сама видела, не совру: поставит на стол большой стул, да сядет

верхом, да читает книжки, журнальчики, чтоб снизу не докучали. А ребяташек-то четверо. По голому полу ползают да барахтаются, и не мыто, така грязнота...

Веня опустил голову. Верить — не верить? Учительница ему нравилась. Привлекало, что на других не похожа. Даже в школу ходила по своему домашнему расписанию. И предметы вела особые — рисование да пение. И дисциплину не признавала — на уроках ее ходили по классу, кричали громко, дурели, а ей хоть бы что. Зато рисовала. Как рисовала! Карандаш только взлетит — и готов силуэт, лицо, да такое, что и в жизни не встретишь: глаза все лосиные, длинные, в голубой каемке. Этот цвет у ней на всех рисунках стоял: дерево голубое, лицо голубое, вода голубая в реке. Она и научила его главному правилу: что художник должен всегда удивлять. И пусть будет сложно, неясно, зато удивительно... И вот такого человека уволили. Да не послышалось ли ему?

— Неужели уволили?

— Уволили, слава богу, отделались...

Ему стало совсем тяжело: и злость на Анну, и жалость к учительнице, и дума про Катю, и страх перед завтрашним — все хлынуло на него, затопило. И чтоб вырваться из плена, оцепенения, он повторять начал несколько слов. Теперь уж назло повторял, хоть и мог промолчать:

— Ну и пусть уволили, пусть уволили, а я дом тебе не продам, не продам...

Но соседка оборвала его:

— Вот зарядил талата, как ребеночек. Скоро у тебя все зауголья отпилят да растащат по бревнышку — народ-то нынче удалой. А сохранить думаешь — живи в нем. Да женись. Чем Катюшка моя не жена? А то жить не хочу и продать не хочу. Дураки только так делают. Значит, и в нашей деревне объявился такой — Вено Китасов.

— Ну, хватит! — обрывает ее со злостью.

— Ты мне брови, Венушко, не сббивай, я сама стара, опытна.

Эти слова доходят до него как до сонного. Он понял вдруг, что сильно устал. И уж не хочется злиться на Анну, переживать за учительницу, думать о Кате. А соседка, наоборот, оживилась, заговорила быстро, сердито, слова запинаятся, сталкиваются. Что сказала теперь — так и не дошло до него. Он сидел усталый и обессиленный. Ему захотелось уйти совсем.

— Хватит, тетка Анна, посидели, поговорили. Ты в наши дела не лезь с Катенькой, и про дом надоело. Я буду ездить сюда. Буду рисовать людей здешних, природе. Мои картины в городе вывешат!.. Как же я лишусь дома? Тут моя мама лежала в гробу...

— А ты не лишайся хоромины. Ты хозяйку приведи сюда. И о маме ты сказал хорошо. Так зачем дом не хранишь? Ох, дурак ты, дурак, да дураком и покрылся.

— Полегче, сшибешь столбы. Я тоже могу сказать! — приподнял шею Веня. Он обиделся не только на нее, на себя больше обиделся. Почему не встанет на ноги, не уйдет домой? Но вот уж опять в него Анна прицелилась, не дает приподняться с лавочки:

— Ох ты, недошевели, гордяк, а в армию возьмут тебя, кто за домом останется?..

— Меня в армию не возьмут. Не прошел. Давление повышенное.

Анна обрадовалась, лицо стало ехидным, все понимающим.

— Вот видишь, из солдат тебя выбраковали, туда тоже умны нужны. Отец родной удрал, отказался. Хоть пишет папаня, не пишет?

— Не пишет и не вернется,— говорит Веня усталым голосом, точно с собой говорит, вроде забыл о соседке. Нет, не вернется отец...

— Ничего, Венушко, не тушуйся! Отец разорил родно гнездышко, а ты это дело докончишь.

— Я дом сохраню! — не может он вытерпеть и опять лезет в спор.

— Чё болташь — дом живет при хозяине. А ты полева камышинка, посохла вся, высохла. Сейчас тебя ветер подымет да бросит. Думаешь, сам по городам ездешь-леташь? Нет, не сам, дорогой соседушко. Тебя ветром кружит да подымат. Да скоро так раскружит, подымет да бросит, што и свет не взгорит в твоих глазоньках.

— Ты меня не пугай!

— Не пугаю я. Сама за тебя боюсь. Да кого — пусты мои хлопоты. Никого не получится. Теперь уж все видно в твое стекло. Ни в деревне тебе места нет, ни в городе — ни места, ни местечка... А мать-то твоя как радела этот дом завести да хозяйство устроить, да все комнаты ваши обставить, чтоб было все по-доброму, по-хорошему. Как она мучилась, матушка. Всю деревню в войну об-

шивала иголкой, и на госпиталь шила, перешивала, и после войны все над машинкой в наклон. Да колхозной работушки неупорот. Копейку к копейке сгоняла, вот и согнала. И вот уж дом новенькой. Без топора да построила. А вы с отцом взяли да по ветру. Вено ты, что ты за Вено?! И хозяйку, говоришь, не надо тебе?

— Надоели твои намеки. Без пол-литры не разобрать.

— А ты, Вено, вроде не пьешь на народе. Только при закрытых дверях, как начальство. А может, как монашек, в чуланчике. А то выпьем давай, я и прямо скажу...

— А сейчас чего, струсила? — Он рассмеялся ехидно, головой покачал.

— Нет, и сейчас... Послушай мать ее, единокровную мать. За Катюшей хороше придано будет — корова, гуси, телят двое подростков. Што бы не жить? Только жить...

— А ты поросенка добавь. Я люблю жирно мясо. Поедим, побеседуем.

— Ты не скалься, не радуйся, не того стоит Катенька. Я ведь все про вас знаю...

Он побледнел: на что намекает. Встречался с Катей так, что не знал никто. Неужели она матери все рассказывала? Неужели призналась? Ну и бог с ней. Сама напросилась картинку смотреть. Один раз пришла, второй, третий. Потом чаще да чаще, а он уж не звал — сама прибегала. С вечерней дойки придет — и к нему. А потом он сам запретил: у него, мол, невеста в городе — плачет, ревнует. А сам подумал — хватит с меня коровьего поту, что, другой не найти? Она — в слезы, а что они, слезы?.. Но сейчас все равно побледнел. Испугался Анны — уж больно намеки суровы, но все-таки решил ободриться:

— Ты в наше дело не лезь. Молоды, разберемся... — Веня морщит лицо, достает сигарету.

— Молодые, глупые...

— Тебе не понять. — Он чуть-чуть успокоился, табачный дым успокоил.

— Где нам, пустоголовым, — возразила обиженно Анна и замолчала.

Замолчал и Веня. И вдруг подумал: а вдруг Катя на него обозлилась? И в этой злобе и призналась матери, мало ли бывает по ревности. Но эта мысль отошла сразу же — слишком уж Катя простая, забитая. Кто забил ее, поди, и сама не знает, не чувствует. Да и не быть другой, сидит на ферме, добрых людей не видела. И довольна всем.

Нет уж, он с ней не родня. Ему лететь, а ей сидеть под коровами.

— Хоть бы, Венушко, ты в городе потихоньку оккупывался...— Соседка подняла голову.— И на городском производстве, поди, есть добры люди. Припадал бы к ним, авось бы и взял ума. А сейчас што — тебе умного-то человека и опасаться надо. Он как поглядит, так всю тебе красну цену и выложит. А она — ох, невелика, маленька. Ни ремесла в тебе, ни названия. Плюнь в тебя — и отвечать не придется. Подумаешь, художник выискался или турист какой? Ты человека сперва заслужи. Вон Катю мою на доску повесили. Висит да поглядывает, ударница красная.

— Что ты лезешь ко мне, что ты мотаешь кишки, перематываешь? Я вот встану сейчас да уйду,— горячится Веня, переходит на крик, но лицо Аннино темно и уныло. И щеки, глаза — без движения. Но вскоре лицо оживляется, она смотрит насмешливо, с удивлением.

— Куда ты уйдешь, Венушко-о-о, горе ты мое да злосчастье? Уйдешь, дак назад прибежишь. Кроме меня, с тобой уж говорить-то никто не захочет. А молчком и тебе нельзя — сразу взвоешь с тоски. Вот и снова ко мне. А рубахи коли зачернишь, кто тебя примет с бельем-то? Опять же Анна...

И Вене опять плохо, кадычок у него ходит, трепещет, по шее вздулись жилы и пошла краснота.

— Что ты лезешь ко мне? Что кожу сдираешь? Я дом свой забью, никого не пушу!..— закричал быстро и дым выдохнул в ее сторону. Сигарета обожгла пальцы.

— А знашь, Венушко, што скажу: не ты первый, не ты последний...

— Чего? — Он испугался намек, стало тревожно, нехорошо. И мысли, плохие, смутные, как противные злые пчелки, опять закружились вокруг головы.

Анна хмыкнула, рассмеялась:

— Сидела, Венушко, собака на сене: ни себе не взяла, ни корове потеревить,— и сдохли обе. Об том подумай, когда в себя-то придешь. Не хошь тут, дак в город перевези. Где робишь — там бы квартира...

— Я на работе временно. Что я, нанялся доски тащить? Не на того напали,— сказал Веня тихо, но убежденно. Сказал не столько Анне, сколько себе.

— Тут временно, там временно, бродяжка и есть или

этот турист. Все едешь да скачешь, а робить когда? Мог бы, поди, и в колхоз зайти. Я вон в прошлом месяце сто сорок заработала, вот ихвати меня голой рукой,— говорит Анна радостным, возбужденным голосом, и голос ее переходит в смех.— А Катенька-то моя возле двухсот!..

Меня деньги не интересуют,— резко обрывает смех Веня и снова пышет в ее сторону сигаретой.

— Ну и пустоголовой, ну и мыло ты, размазня. А ездить-то, уж на то пошло, на каки вши собрался? — Она засмеялась нехорошим смешком.

— У меня на это накоплено.

— Кого мелешь — накоплено? Да откуда? — Смеется она еще громче, и вдруг выражение лица резко меняется. И затихает смех. Перемена в глазах — вот-вот брызнут слезы, большие слезы. Не выдерживает и говорит сдавленным голосом: — Горе ты мое, горе горькое, некому-то тебя пожалеть да на путь поставить! Все-то у тебя доброе выбили да повытрясли, а ничево путнево-то не дали. И куда тебе деться теперь, куда приложить больну головушку... — И вот уж плач, сильный плач напал на нее. Поди, сама не рада, не ожидала его, а он пришел внезапный, неудержимый. И вот уж совсем скрутил.

— Ты что это? Что хоронишь меня? Ну-ну, распустила воду — уплывет улица... — пробует пошутить он, но мысли, смутные, злые пчелки, совсем осаждают голову, а сердце стучит гулко, напористо, и пот заливает глаза.

Но Анна не вытирает слез, не сбавляет причетов:

— Ох, Вено ты, Вenuшко, на самом краю стоишь, да на самом краюшке. И ничё-то у тебя нигде не выходит, не выйдет! Потому жалко-то, потому не глядели б на тебя мои глазоньки, выела их за тебя злая болюшка. За Катюшку свою тошно, обидно. За што ее судьба наказала, за што дочушка тебя нашла, за што такая злосчастливая... А школа-то наша где была? Пошто не научили тебя, не поставили?

— Ну, хватит канючить. Перестань, не могу!.. Я сказал тебе, что художником буду! Ну, что, что уставилась? Запомни — ху-до-о-жником. Да тебе не понять меня. Ну что ты видела? Что? Одних коров, поросят... — горячится Веня и вдруг слышит, чувствует, что вокруг него уже тихо. Соседка не вздыхает, не плачет, даже наоборот — как будто глаза насмеваются.

— Кого не понять-то, Вenuшко? Где уж понять-то твои

картинки, где уж, Вениамин Геннадьевич? А только напрямки отвечу тебе: што будь мои детки вроде тебя, тогда бы хоть в землю закапывайся, не приведи бог, ничё бы не надо. Ну, кто ты? Скажи мне. А будешь кто?..

Но Веня стал спокойнее. Соседка бормочет какие-то слова про себя, а лицо у нее уже нормальное, и на сухом месте глаза. Веня косится на Анну и только сейчас замечает рядом с собой большие, сильные колени ее. Они чуть приоткрыты до середины, и кожа на них белая, девичья. Такая же кожа у Кати была, но он быстро погасил это воспоминание. Да и что мучить себя, нервировать. Что было — прошло. Веня снова посматривает на Анну. Она вдруг перехватывает его взгляд, плотнее юбку запахивает, прячет ноги под лавочку. Веня краснеет, но она не замечает или не хочет заметить. Но все равно ей отчего-то приятно, скрыть не может волнение. «И почему она цветет, не вянет, а наливается?» — думает Веня и осторожно вглядывается ей в лицо. И ей снова приятно. Она уж совсем успокоилась, ободрилась. По лицу проходит легонькое сияние. Сияние это растет, полыхает... В этот миг увиделась ей молодость. Все увидела, будто в чистом стекле. Пришло и то, как Венькин отец донимал ухаживаньем. Да сорвалось ему, но все равно об этом вспоминать хорошо. Она решается спросить о Геннадии.

— Где отец-то? Далеко удрал хозяин? Поди, от денег-то уж чемоданы не запираются.

— В Якутии, написал...

— Якутия-то больша?..

— Поселок Сангар, леспромхоз. — Теперь Веня говорит твердым голосом, а в голосе недовольство собой. Надо бы встать и уйти, — так не любит говорить об отце. Да и самого отца никогда не любил. А после смерти матери не мог даже оставаться с ним в одной комнате, винил его, не прощал. Зачем бы ей умирать, жить бы да жить, в сорок-то восемь лет? Конечно, с другим мужем бы пожила.

— Значит, поселок Сангар? Запомним такой адресок. И сам хозяин нам крепко запомнился. Да чё уж — не подымешь теперь Степанушку, не воротишь сынка...

Соседку вдруг всю передергивает, и лицо становится смирным, подавленным, опустились руки к земле, как больные, тяжелые, и такая же тяжесть в глазах. Но Веня отвернулся, он опять о своем: почему нет к отцу жалости,

все ж отец, одна кровь, одно тело? И поднялся отец в глазах — весь нахохленный, сутулый, как грач. Голова тоже маленькая, надменная, как у грача. И Марья Ивановна, веселая женщина, тоже вдруг поднялась. Зачем он на ней женился, зачем? Одно лицо — не дай бог приснится: все прокуренное, корявое, с низким, чугунным лбом. А голосок — того хуже: то визгливый, тоненький, когда запоем или рассердится. А если сидит да курит — голос толстый, как у пьяного мужика. Но особенно выводил из себя ее кашель табачный. Она так закашливалась, что не замечала, что слюной брызгала во все стороны. А отец ничего — терпел.

Но хуже всего, что привел ее отец ровно через три месяца после смерти матери, как будто ждал давно этого часу. Эта неожиданная Марья Ивановна признавала только одно — большой кошелек. Ради денег и потащила отца в далекий Сангар. И он собрался покорно, будто кто его подстегнул.

В поселке была у нее родная сестра, у ней и пожили временно, потом леспромхоз дал квартиру. А перед самым отъездом отец переписал дом на Венино имя — живи, мол, да отца поминай.

Марья Ивановна, правда, настаивала дом этот продать: нужны деньги на первое время, десятки, мол, и в Якутии не валяются, но отец уперся — ни с места. Да и добрые люди ему подсказывали: «Ты уж мужик вольный, пропащий, Марья Ивановна все равно замотат, дак хоть Венушке-то не дай погинуть...» Отец поохал, но дом оставил. Веня этому совсем не обрадовался, но потом к дому изменил отношение... Но Анна прервала его мысли:

— Покутит, поездит со своей табашницей да прикатит. Поди, дом-то берегешь про его?

— Нет, не прикатит, — говорит Веня грустным и сдавленным голосом и достает сигарету. Дым пускает медленно, со значением.

Как бы понять тебя, Венушко? Чево тебе надо...

И соседке тоже вдруг становится грустно и скучно. Эта скука от дум о своей дочери Катеньке, от усталости, от жары. Если разговор сейчас кончить ничем, опять в жизни ничего не изменится, опять потечет она по унылой, надоевшей равнине, хоть кричи-закричись, — все те же заботы, печали, дела. И вся душа ее восстает, протестует против этих печалей — ей хочется радости, перемен, новых

надежд для семьи. Потому глаза ее опять оживают, прицеливаются, но Веня задумчив.

— Поди, все жо хранишь про родимого? Смотри — прохранишь. Зауголья-то обломают ребятки. Вон чё каки они — никого теперь не боятся, с утра до утра гарцуют. А родимой прикатит да по столу звякнет: «Пошто домик не сохранил?»

— Домик — мой! Есть бумага, расписка. Что хочу, то и кручу!.. Вот возьму дом сожгу, разломаю, и никто не указ! — говорит Веня грубо и с вызовом.

Но раздраженье его теперь на отца. Вспомнилось, как три года назад он впервые избил его. И пережил он не боль тогда, а обиду и злость. И отцовы пьяные глазки запомнились. Они кружились на месте, как будто кто-то за ними гонялся, а потом налились тугой кровью — и тогда он замахнулся на сына. Замахнулся из-за того, что Веня заступился за мать: больная, мол, а сам пьешь, куролешишь, приходишь в ночь да в полночь... Он бил его по щекам, рассек бровь и все норовил свалить на пол, а Веня стоял перед ним как немой, заколдованный, и это отрезвило отца.

Соседка снова сбивает мысли.

— Расписки, значит, собрал. Завел канцелярию, — смеется она.

— Смейся, посмеивайся, а отцу уж здесь не бывать...

Она опять усмехается, потом с минуту молчит. Но это затишье обманное, перед бурей прилег ветерок. И вот уж небо темнеет. И вот уж буря все ближе, и вот уж рядом она, бьет прямо в лицо.

— Только землю с отцом запорожнили! Нет, Вено, добром ты не кончишь...

— За отца не вяжись, не трогай! Нету его для меня, нету! — кричит он сквозь зубы и вскакивает на ноги, потом снова садится.

— Отец-то есть, да вот с сынком у него запята вышла. То ли сам дурак, то ли люди напустили чужи.

Теперь уж Анна начала злиться. И вот уж не сдержаться, хоть веревками связывай. Краснота прошла по лицу, губы вздрогнули, и на зубах трепыхнулся остренький, злой отсвет, и вот уж в глаза он прошел, проскочил, — и там забился, задергался в разные стороны такой же злой костерок. И захотелось ей, захотелось смертельно, вырвать у него изо рта сигаретку и растоптать, вмять в землю этот во-

нючий табак, и сам Венушко вдруг представился с другой стороны — отчаянно грязным, упрямым, нечесаным. И даже кадычок-то у него прыгает, как у заправского идиотика, и кажется, вот-вот он кожу проколет на шею и улетит, как воробей. И злости все больше.

— Такой огород на коноплю потравили, такой дом запоганили — голиком бы вас по мягкому месту! Управители выискались, художники... Картинки, мол, твои не понять! Где нам, пустоголовым... Эх ты-ы-ы! Да если б не тетка Анна, все бы бельешко твое сгнило, поржавело, постирать-то кто разбежался. Ты чё думаешь, глянется мне твое тряпье стирать — у меня своих рубах вдоволь. У меня своева полно, занимать не пойду. Да кого с тобой чикаться. Вытурить бы совсем из деревни, чтоб не позорил старинну фамилию да не крутил наших девок, несчастных... — Последние слова она произнесла сильным криком и задыхнулась. Но Веня не дал продышаться:

— Замолчи! Без намеков... Я орать на себя не позволю! Ну, кто ты такая, кто ты, чтобы орать?

Но Веня не замечает, что и сам теперь тоже кричит, горячится, кадычок у него дрожит все сильнее, а глаза раскрываются широко, запаленно, как у зайчонка, который бежал, метался по полю, но все напрасно — склонилась над ним низехонько смерть. Зайчонок может еще сам на кого-то броситься, кого-то покусать с горя-отчаянья, но это уж не спасет его, не отодвинет прощальный час. Эти глаза и остановили Анну. Как увидела их — так и отпрянула, и чей-то спокойный голос зашептал ей в нутро: «Чево ж ты, дура, встала над ним, ведь сирота он, пропащий, а ты его терзаешь. Такой грех берешь страшный...» И Анна сразу одумалась.

И Веня тоже устал, обмякло все его тело, последняя пружинка из него выпала. Но голова не успокоилась все еще. И мысли его перебегают вновь на отца. Начинает винить и ругать отца, и опять обида мешает дышать, и кажется, не будь его, была б жива мать, и Веня стал бы уже известным художником, все б любили его, дорожили, и он бы поднялся над всеми людьми в своей гордой славе, таланте. Отец повредил!.. А потом, думая уже спокойней, размеренней, он понимает и чувствует, что в несчастиях его виноват не столько отец, сколько разные люди чужие — приставалы, завистники, которые всегда на пути у великих. И эти последние мысли смирили его,

успокоили, за ними шла настоящая тишина. Он снова курит, медленно выпускает дым, молчит. Молчит с каким-то значением, вернее, с упреком, но упрек этот — себе. Зачем с Катей связался, зачем ей свои картины показывал, говорил о своем будущем, о мечтах? А она открыла рот — слушала, может, стремилась к его славе завтрашней, хотела женить на себе. Зачем не сдержал себя, теперь переживай, мучайся. А что толку в этой смешливой Катеньке — одно личико, поцветет да завянет, и ума, видно, не лишка, раз в деревне осталась — и довольна своими коровами. Нет, надо завязывать с Катенькой, а то уж намеки да строгости. И он снова закуривает, и новые мысли стремятся в голову. Но теперь в них — спокойствие, свет... Вот придет сентябрь, и он к морю поедет, будет купаться, рисовать море, загорит, отдохнет. Деньги есть еще: баню продал. Взяли на слом, но заплатили почестному, и теперь он с удовольствием вспомнил об этих деньгах. Хорошо, что баню отец не замыл, а оставил с домом — дому, мол, без бани никак не жить. Молодец хоть на этом... Вот съездит к морю, а поближе к зиме в Якутию, надо ж поглядеть на отца. Хоть и злость на него, обида, а все ж — родитель.

Соседка тоже думает о Геннадии. Думает нехорошо. И поднимаются в памяти наглые зубы Геннадия, такие же нахальные голубые глаза. Последний год он уж не работал в колхозе, отпустили с миром, по заявлению, — за пьяницу разве держаться? Только осенью отрядили на хлеб — не хватало комбайнеров. И вопрос один задали: «Пить-то хоть бросишь на эти дни?» Он захохотал, завилялся: «Вот первый бункер наполню — и брошу. Узлом завяжу». И бункер, конечно, наполнился, а пить — нет, не бросил. Пришлось ссаживать с мостика да стыдить.

В тот день чуть было и не случилась беда. Напился опять поверх нормы и озверел. Опять кинулся бить сына, и было у него злое намерение — покалечить Веню всего, чтоб не стыдил больше отца, не позорил при людях. Хорошо, крики услышала она, Анна, соседка, отобрала сына. Сила у ней хорошая, потому и скрутила Геннадия.

...И еще что-то вспомнила Анна. Такое же больное, пронзительное, о котором и думать-то страшно, только себя покалечишь этими думами. И она снова расстроилась, из-за Вени опять: чево, мол, кричит на него, порядок наводит, ему и так деться некуда — для всех постылый,

чужой. И до того дошла в этой жалости, что опять запричитать захотелось над ним, как над покойником, будто уж стал он для нее самый близкий, родной. По щекам уже слезы — она их не слышит.

Чё это со мной, Венушко? Сама не своя. Чё это на тебя поперла, поперла? Да я знаю — чё. Из-за Катеньки, из-за нее одной не могу. Чё это промеж вас, и соваться-то к вам — грех большой, а как опять не соваться? Тоже грех, тоже яма. И ты ведь, Вено, тоже в яму ступашь. И ты, поди, человек. Жалко мне, жалобно. — И она плачет, плачет...

Веня удивлен. Не столько слезам ее — мало ли разревелась баба, — а словам удивлен: не подвох ли какой, поди, хитрость. Но Анна и не думает притворяться. Она оглядывает его сверху вниз, потом снизу вверх и потом пробует задеть рукой его волосы.

— Грех-то какой — на тебя закричать. Ты уж, поди, самым богом покинутой, да никто и не подобрал тебя, лучше б умереть тебе, дак не мучился...

Веня в другой раз удивлен. Но та не видит его лица. Ее губы что-то шепчут, что-то глухо, невнятно, как будто бы молитву творит, хоть и в божественное давно не верит. Просто в эту минуту ее поражает внезапная мысль: неуж отец Венушкин не боится смерти? Как умирать — раз не вспомнят добром? Сама Анна сильно боялась. Но не той минуты, когда заколачивают над тобой последнюю доску, а той, когда соберутся после тебя на поминках и начнут говорить. И вдруг кто-то скажет про тебя плохо, и люди не возразят.

И она плачет. Плачет уже над тем, что живет такая дурная, смешная, что всех ей жалко, а ее, поди, никому. Плачет над тем, что ничего не понимает, не слышит в жизни, да осуждать-то ей никого нельзя — сама дурная. Вот, к примеру, ездят люди с места на место, а зачем ездят — ведь жизнь такая короткая, как спичка-серянка, только зажглась — и нету. А если бегать с места на место в вагонах да в самолетах, так и промелькнет она, не увидишь, не заглянешь в глаза ей. Потому решается задать ему главный вопрос:

— Венушко, только не обижайся, только ответь по-хорошему. Не криви — зачем ты в город поехал? Пошто здесь не живется? В родных-то стенах? И с другой стороны — пошто там не живется? Все летишь, летишь ку-

да-то? Отец твой, понятно, бежит от совести. Только пятки мелькают, может, и от людей бежит. Да и со Степанушкой тогда, сам знашь теперь, как получилось. А вот ты-то куда бежишь?

Веня обиделся. В словах Анны опять услышал насмешку. А что издеваться, смеяться? Уехал он как человек. Как человек устроился на работу. Правда, работка нашлась плохая — трудился на стройке подсобником. Это, ясно, не дело: все время на побегушках. Придет с кирпичом машина — разгружай это добро. Хорошо, если самосвал — тот и сам свалит. Придет прицеп с половыми досками — доски длинные да сырые, — все равно сбрасывай да таскай. Да мало ли за день работы, покурить некогда. Потому он ушел оттуда. Опять устроился: из огня да в огонь. Нанялся в цирк — такое вышло чудесное дело. Но было ему не до смеху. Анна точно слышит его:

— В цирке-то хорошо платили? Неуж сам пошел? По доброй воле? В хорошо место прибился, Венушко...

Она сдохатывает и замолкает. А ему чудится снова насмешка в этом сдохатыванье снова хочется закричать на нее, но сдерживает себя. Вдруг откажет ему от колодца да стирать перестанет? Или о Кате снова заговорит? Но соседка опять повторяет вопрос.

— Неуж в цирке больше, чем в колхозе, зарабатывают? Ты б хоть рассказал мне про цирк-то. Может, сама устроюсь. Я хорошо на голове стою не смотри, что толста, тяжела. — И она меется во все полное горло.

— Отстань ты, глина! — волнуется Веня и уж не может себя унять.

Встает с лавочки, быстро идет к своему дому. Оглядывается — Анна плачет. Потом смотрит на свой дом с удивленьем, с радостью, как будто дом передвинули с места, «Пореви, пореви все равно не продам», — все кричит в нем от мщенья, его глаза сверкают нервически и походят на угольки. Опять оглядывается — Анна зовет его, Веня удивлен, но приходится возвращаться.

Венушко, погляди на фундаменты-то. Как дом твой стоит хорошо! Под углами-то обожжены пни подведены для крепости.

За этим звала? Он снова вспыхивает, сверкает глазами

Бывают минуты, когда он свой дом ненавидит. Неуж

дом лучше его самого? Он такие картины пишет, а они все — дом, дом, какой дом! И он сердито смотрит на Анну. Но она не отводит глаз.

— За этим звала, за этим! Главное дело забыла сказать, хотела утешить. Может, и тебя жизнь повертит, пожжет на пятки — дак затвердешь, успокоишься. А чево?

— Опять про свой дом?

— Да не об этом! — Она опять начинает плакать, смотрит на него, покачивает головой, Веня удивлен еще больше.

— Чего ревешь-то?

— Об себе, об себе. А ты иди отдыхай да палатку растягивай. Да котелочек с водой не забудь...

— Не забуду.

— Вот хорошо. А я вот обзабылась, старая. Все сидела с тобой да мучилась, а ты сам-то не сдогадался.

— Опять с намеками?

— Опять, опять! Ведь Катенька-то моя беременна. Скоро встречай, Вень, наследника. Не дай бог — пойдет в папу...

Она низко повесила голову, осторожно взялась за скобку. Ворота заскрипели, а Вене казалось, что это не ворота совсем, а это его пилой режут. И вот уж к груди пила подступила, впилась, и вот уж в голове темно стало, и он зашатался от той темноты. Потом повернулся к своей ограде. Пошел медленно, как слепой.

V. ГОЛОСА СЕРДЦА

Под окном пронзительно пел скворец. У него уже были дети, он приносил им что-то живое в клювике, а потом садился на самую верхушку сирени и отдыхал. В этот миг начиналось пение. Скворец трещал, горячился, встряхивал крыльями, звал подругу. В горле у него перекатывался кругленький гладкий камешек, он его сглатывал и не мог проглотить, оттого голос становился все громче, нетерпеливей, оттого все сильнее, заполошней встряхивал крыльями, словно бы звал на помощь. Но Веня не выносил скворца. А теперь не выносил еще больше, потому что еле добрал до кровати. В голове побаливало, в горле было так сухо, словно прошел сто верст по жаре. И опять, не переставая, курил. И когда курил, то ему уже казалось,



что Анна его разыгрывает, что все слова ее — лишь намеки, политика, что его просто берут на испуг. И в эти минуты почти успокаивался и часто поглядывал на плитку. Потом склонился над ней, подергал за спираль — проводочки нагрелись. Поставил на плитке зелененький котелочек. Вода закипела быстро. Он машинально бросил туда заварку.

Пил чай жадно, большими глотками, сильно потел и сердился на себя, что потеет. А в груди начиналось уже другое, спокойное, нутряное тепло, оно прокатилось вниз, до самых коленок, а сверху дошло до горла, и сразу же Веню охватило размеренное, успокаивающее оцепенение. От щек отошла бледность, и они вспыхнули, как после бани. Все это произошло потому, что Веня еще до конца не поверил сообщенью Анны, и еще потому, что свои отношения с Катей не считал злом, преступлением. Наоборот, это он, Веня, снизошел до нее, позволил с собой общаться, а что до нее, до Кати, то она просто платила ему маленькую дань за себя, — а как же иначе! А теперь... Что теперь? И он опять вспомнил последние слова соседки о наследнике, о женитьбе, но теперь уж эти слова не огорчили, а, скорей, рассердили его. Никак не верилось в своего ребенка, не верилось даже в то, что Катя может родить живого, настоящего человека и что этого мальчика назовут его сыном. И Веня усмехнулся, и горько покачал головой, и горько подумал: «Хорош был бы сыночек! От соседки Катьки Клементьевой, от доярки...» И это последнее обстоятельство совсем его успокоило. Ведь никак не складывалось: эта Катька и его картины, никак это не составлялось вместе, — потому и успокоился Веня. Стал неторопливо курить, в сигаретном дыму четко плыло лицо. В эти минуты лицо его казалось почти красивым, значительным, сверху его обрамляли большие задумчивые глаза, страданье в них уменьшалось, уступая место усмешке. Эта усмешка так шла к лицу, так возносила его на какую-то гордую, возвышенную ступень, что можно было подумать, что в Вене сидит, мучается поэт или художник. Так и показалось учительнице Галине Петровне, и она стала учить его рисовать, сразу выделила из всех и поняла. Но самому Вене хотелось большего и другого. Но он бы никому не сказал о своих тайных мыслях, надеждах — даже матери. Его нервный, страдающий ум искал таких впечатлений, таких живых и

мнимых картин, которые бы сделали его выше, сильнее других, которые бы выделили его из толпы и вознесли. Он любил великих художников, музыкантов, но не за их труд, полный бессловесного мученичества и страдания, а за тот луч славы, известности, который они несли до гроба, и даже после могилы этот луч возле них все горел и горел. Учительница не знала об этом, не знал, не догадывался отец, мать знала, чувствовала, да умерла. Да и в этом материнском знании было больше гордости за него, чем страха. «Сынок-то у меня картины рисует. Их в Москву повезут!» — часто говорила она, но так и не дождалась. Но сам Веня ждал, представлял, как к его груди прижмется этот святой, ослепительный лучик славы, как о нем, Вене, заговорят все люди и понесут на руках. Потому он и решил рисовать картины и первое время всем показывал их. Люди смотрели, молчали, но он ждал похвал, почитания, высоких восторгов. Ему было семнадцать, он учился в десятом классе и любил читать о великих. И снова показывал всем рисунки, а люди молчали, а другие даже смеялись — то ли над собой, то ли над Веней. что, мол, я понимаю — век прожил в деревне да прокопался в сене, в соломе. Одна Катя хвалила, но хвалила как-то робко, забавно. Смотрела в этот миг не на картину, а на лицо его и хвалила... Но Вене было приятно. А другие чаще молчали. Это молчанье сердило, и он совсем невзлюбил деревню, убрался в город и поступил в студию при Дворце культуры. Но и в студии не удивились рисункам, там было много таких, как Веня, и скоро Веня устал. Он ушел из студии, начал ездить по городам. Хотелось отыскать в этих дорогах необычное впечатление, чтобы оно родило такой же рисунок. Так было ближе к славе. Все великие тоже ездили, рисовали в дороге. Но пока эта картина не получалась. Потому он и боялся своих деревенских — все время спрашивают, где работает да куда ездит. И боялся, и уже презирал. А сейчас, после долгого разговора, совсем ненавидел соседку. Зачем лезет с Катей, зачем советует с домом...

Но после чая почти забыл про Анну. Он любил чаепитие, как маленькое торжество, любил свой стол, свой закоптелый зелененький котелочек; ему казалось, что у всех великих есть такие тайные часы одиночества, когда они остаются наедине с собой, и в эти часы думают

и страдают по-своему, по-особому, и такое недоступно другим. И у него тоже были эти часы. Глаза Венины в эти мгновения наполнялись темным, глубоким светом, ресницы застывали, не шевелились. Так и сейчас случилось. Он рассматривал чайники в стакане и покачивал головой. Было спокойно. На Анну почти не сердился. Даже повеселел: вспомнил, как она спрашивала: «Кого делаешь в дороге-то? Сидишь да куришь?» Рассмеялся. Оглянулся через плечо, словно там кто-то стоял живой. Подошел к окну. В ограде было тихо, не шевелилась сирень. «Мама, где ты, где ты теперь? Поди, вы слышите, мертвые-то?..» — подумал Веня и испугался. Вытянул шею, зажмурился, стало больше еще тишины. «Жалко — сирень погибает, скоро совсем погибнет. Вот ушла моя мама и не придет. Вот и Степанушко не вернется... Где они все, куда подевались? Неужели никогда нет возврата? Почему так мало живем, почему?.. Значит, надо спешить. Так годы летят и мелькают, а до славы еще так далеко, далеко. А тут еще с какой-то Катенькой...» Но успокоиться все равно долго не мог. Все курил и смотрел в окно. До того досмотрел, что увидел другое лицо. И опять напал в мыслях на Анну: «Зачем она стала о цирке, зачем заговорила, зачем?..» Но вскоре забыл и про мать, и про Анну, и про Катю тоже забылось. На него плыло, качалось перед глазами другое родное лицо. И в глазах его встало страданье. Но лицо Полино уже было рядом, и он весь сжался от сердцебиения, но не спастись уже от лица ее, ее глаз, ее голоса, хоть кричи, — не спастись. Эх, если б можно было что-то исправить, разве он бы связался с цирком, разве послал бы на себя ту боль и мучения. И сердце его болело, сжималось, потому что та минута была, было и все остальное.

«Но когда же началась она, та минута? Где тот исток, то начало, которое принесло Полю, всю боль его, все его муки? Где, где оно?» И мысли сбились вместе, как пугливое стадо, сбились вместе и опять разбежались, — и он хотел оправдаться, простить себя в чем-то, хотел найти в тех минутах что-то высокое, огромное, дорогое, но ничего не находил там, кроме унижения, стыда и горя. И сейчас опять все повторилось в мыслях по кругу. Но все равно сейчас, как и прежде, он продолжал стремиться к тем дням, к той минуте, и всегда при этом он чуть не плакал, и всегда родное Полино лицо маячило рядом, мучило его,

не отпускало. А потом приходили настоящие слезы. Но что за слезы! На могиле матери он плакал иначе. А здесь были слезы гордости и обиды, они приносили злость на себя и боль. «Зачем подчинился какой-то циркачке? Зачем отвлекся от своей цели? А ведь можно было пройти, не замечать или сразу забыть...» Но не забывалось, не исчезала Поля. И он снова представлял и глаза ее и руки, и глаза эти смотрели в самую темную глубину его и, казалось, знали про него, Веню, что-то стыдное, что-то плохое. Но все равно этих глаз не было лучше, роднее.

«...Но когда же началась та минута, когда же? Наверное, когда зашагал по городу клоун, когда приехал гастрольный цирк».

Расположился он на пустыре возле вокзала, и сразу здесь сталолюдно. Шумела музыка. Потом вышел клоун. Он походил на своих собратьев: кричал в рупор, гоготал и дурачился, огромный рыжий парик ниспадал на затылок. Клоун веселился все больше: может, радовался хорошей погоде, может, просто от добродушия и легкого сердца. Им тоже были довольны, в особенности ребяташки. Они бежали следом толпами, вместе с ним дурачились и смеялись, а сами жили в эти часы в каком-то счастливом, непостижимом сне, да и солнце немилосердно разлилось в безоблачном небе — стояла середина лета, пора зелени, первых плодов и ягод, теплых ночей и томительной грусти, от которой даже у самых отчаявшихся людей замирала душа в преддверии перемен.

А клоун все ликовал. Все больше народу собиралось на его гортанные крики. Но был среди этой толпы человек, которого особенно поразил клоун. И этим человеком был Веня. Он привязался к клоуну невидимыми живыми нитями. И тот уже узнавал Веню издали и поднимал для приветствия руку.

Билеты продавали за день до гастролей. Возле окошка, в которое поминутно выглядывал кассир-старичок, появилось объявление. В цирк требовались подсобные рабочие. И зарплата поставлена в цифрах; конечно, деньги выходили смешные, но все-таки деньги. И Веня рискнул. К тому ж на стройке его тоже записали в подсобники, так что он ничего не терял. Зато в цирке он всегда будет рядом с этим веселым неистовым клоуном, да еще сразили Веню пантеры.

Он увидел их в цирке в первый раз на афише. На огромном листе бумаги в таком же огромном прыжке взвились два огненных зверя. И Веня не переставал о них думать. И не потому они представлялись в памяти, что хотелось стать дрессировщиком, просто мечтал возле них работать, чтоб кого-нибудь удивить. Вдруг бы отец появился на представлении или свои, деревенские, и Веня переживал заранее свое торжество.

Директор принял на работу с большим удовольствием, даже поговорил с ним о жизни. Директор был добрый и, видно, сильно доверял людям. Но все равно случилась осечка. Когда Веня заикнулся ему о пантерах, директор остановил на нем долгий, внимательный взгляд и улыбнулся. Потом погрузился и словно бы забыл о Вене.

Пантер было две, но слава о них метнулась большая. Ребятишки пустили слух, что одна из пантер улизнула на улицу, промчалась по городу крышами и скрылась в ближнем бору. Но слух, к огорчению многих, не подтвердился. И вот пришел праздник, грянуло долгожданное, и город повалил в цирк.

А Веня столкнулся с горем. К пантерам его не пустили, хоть и просил чашу малую: подносить дрессировщику шест и горящие обручи, ставить для зверей шведскую лесенку и тумбы для прыжков. С пантерами работал пожилой человек, Борис Сараев, с сыном. Отец с сыном были молчаливые, злые и, наверно, не любили не только зверей но больше того — друг друга.

Веню заставили прислуживать клоуну. Может, это был испытательный срок. И Веня этим утешился, да и решил послать себя на любые муки — лишь бы в цирке, лишь бы стоять под этим цирковым куполом. Уже грезил о будущем: как будет ездить с гастролями по всей земле и однажды, где-нибудь в большом ярком городе, выбежит на манеж с собственным номером, — и так родится великий артист, потом придет слава.

Клоун почти не сходил с манежа. Веня думал, что встретит здесь старого знакомого, который расхаживал в толпе и смешил ребятишек, но гастроли открывал другой клоун, наверное более опытный и веселый. Он сильно походил на девочку или на маленькую женщину — веселую лилипутку. Кругленький, смешливый, длинноволосый, клоун нравился всем, понравился он и Вене. Только по-

думалось ему с простодушной наивностью: почему все они крикливые, голосистые, — но все равно всматривался в клоуна, как зачарованный.

Лицо у него размалевано, одна штанина все время вздувалась, точно ее накачивали, и клоун доставал из нее то бутылку, то голубя, то щенка, то губную гармошку. Все это уносил ведущий — большой грузный мужчина с багровым лицом. Но Венин номер был еще впереди. Ему сказали заранее, что должен был делать клоун и как ему обязан помогать он, Веня.

...На манеже между тем начался переполох. Его виновники, Альфред Чивелла и Эльвира Рогальская, — темповые акробаты. И что они делали! Кричали, прыгали, крутились в воздухе через голову, и снова летели кверху внезапно, стремительно, и в этом полете неожиданно брались, цеплялись за руки, и летели уже вместе, потом опять через голову, опять взмывали в воздух и кричали там что-то веселое, и полет не кончался, и оглушала музыка, и смеялись дети, а Вене с каждой секундой делалось хуже и хуже — скоро их номер

В груди его вырос комок и мешал дыханию. И наверное, с этой минуты и началось горе, конечно, с этой минуты родилось, а потом уж двинулось на него валом, и он уже не мог от него избавиться, он просто сжал плечи и весь притаился. А чего ждать и чего таиться — все равно грянет, свалится это горе. Чего ждать маленькой серой мышке, когда над головой уж ястреб, когда уж хлопают в ярости его крылья и налился кровью круглый нацеленный глаз?

...Акробаты стихли так же внезапно, подняли вверх руки, шумно дышали, на лицах — улыбка. Публика аплодировала, гремела откидными стульями, дети свистели — их почему-то не унимали. И вдруг ударила музыка. Она точно бы сорвалась с места, как горячая лошадь, и понесла, понесла, — так могуч, так неистов был музыкальный галоп. Веня замер, ему стало не хватать воздуха, все нутро его молило, упрашивало: ну, скорей же, скорей! Он призывал, упрашивал клоуна: ну, давай же выбегай с этим номером, у меня не хватает сил.

И тот наконец выбежал — легкий, взъерошенный, какой-то бесстыдный. Запрыгали, засвистели в задних рядах, клоун завизжал дискантом, потом рявкнул басом, где он купил, приобрел его? И дети пришли в восторг. И в тот

же миг клоун выбросил вверх тросточку, она взметнулась высоко и там превратилась в зонтик. Он поймал его с наслаждением, загикал. Ведущий выкрикнул: «На манеже — Эльдар Гуляев!» На самом деле клоуна величали Иваном Ефимовичем, но для сцены он был Эльдаром. А зонтик взлетел опять вверх и там превратился в тросточку, он поймал ее на лоб и снова подбросил, и тросточка то раскрывалась и становилась зонтиком, то складывалась и становилась снова сама собой. Но все это длилось секунды, мгновения, и вот уж тросточка стоит на локте, на носу, потом внезапно подпрыгивает, взмывает в воздух, но он ее точно не видит, не замечает, только разводит бессильно руками, а она уже близко, вот-вот рухнет в ноги, — и он ловит ее сзади ботинком, сам стоит на одной ноге, по-гусиному. А тросточка теперь раскрывается медленно, но все равно из нее получается зонтик, только этот зонт какой-то счастливый, непривычный, насмешливый, и дети это видят и чувствуют, потому свистят еще громче, неистовей, а клоун гогочет. Гогот тоже счастливый, неудержимый и скоро переходит в лошадиное ржание — и от этого перехода цирк затихает и напрягается, но первыми опять оживают дети. Они приветствуют его криками, а клоун уже трясется всем телом, он весь в каком-то диком экстазе — его оглушает овация, — и в этот миг он бросает тросточку через голову в сторону прохода, где стоит Веня. Вот и пришел его час.

Как ждал его, как волновался! Знал заранее все свои действия. Ему нужно на лету поймать эту тросточку, помахать ею перед зрителями, застыть на секунду в полупоклоне и убежать за кулисы. И чтоб лицо в это время было легкое и счастливое. И вот уж летит она прямо в руки, еще миг — он прижмет ее, как самую великую ценность. Он весь напрягается, но все равно не выдерживает, сам прыгает навстречу тросточке, опять гремит музыка — и тросточка скользит между пальцев и скатывается в пустоту. Его руки беспомощно повисают, глаза ищут тросточку и находят. Она лежит у его ног, одинокая и беспомощная, — и вдруг в ней что-то щелкает, и она превращается в зонтик. В этом есть присутствие таинства, дьявола.

Веня испуганно шарахается в сторону и закрывает лицо. А через секунду увидел искаженное лицо клоуна, — тот презирал, ненавидел Веню, но еще ничего с ним не

мог поделаться, потому что стоял на арене, и к нему, как к светильнику, повернулись все зрители и замерли в ожидании. Скоро и задние ряды стихли, и клоун стал рассматривать свою шляпу и неожиданно в ней обнаружил щенка. А Веня вопрошал кого-то: что будет? Как жутко, позорно! И чуть не плакал.

Щенка унесли, и клоун принялся трясти головой и выкатил вниз язык. Поднял кверху палец и с этим языком побежал на Веню. Из штанины у него вылетел голубь — опять ожили дети, захлопали в ладоши, и сразу же сверху сорвалась музыка, — и заиграли быстро, стремительно, будто музыкантов кто-то подстегивал плетками, будто где-то в прекрасном пригороде накрыли на столах для них ужин и они спешили на пир.

Веня подобрал зонтик, но рядом пробежал клоун и выхватил на бегу этот зонтик. Потом остановился и выдохнул прямо в Венино лицо липкое и позорное слово. Веня заплакал. Но это были еще не настоящие слезы, просто потихоньку задергались щеки, а настоящие слезы еще давили грудь снизу и набирали разгон.

«А может, с этой минуты и началось его горе? Конечно, с этой. Даже сейчас, когда прошел год с того злого мгновения, ему страшно, стыдно и горько... И если б в жизни не было той минуты — интересно, куда бы она метнулась, по каким бы кругам пошла эта жизнь? Каким бы человеком стал он, Веня Китасов? Но сейчас уж ничего не исправить — та минута была, было и все остальное».

...Веня опять налил себе чаю. На улице стояли зной, тишина — куда-то ушли люди, улетели птицы. Ему сделалось одиноко, хотелось побыть возле родного человека. Да где же его возьмешь — родного-то... Часто он ненавидел свой дом, эти стены, эту пустую ограду и все-таки стремился сюда. Зачем стремился? Наверное, чтоб побыть наедине со своими картинами, помечтать возле них о будущей славе, признании. Да и картины так хорошо смотрелись на этих стенах, так значительно, так уютно. Да и жила здесь когда-то мать, которую любил теперь еще больше. И часто ему казалось, что его невеста будет во всем походить на нее.

VI. ПРОЩАНИЕ С ПОЛЕЙ

Поля на мать походила. Такие же большие глаза, такие же волосы. Увидел ее в тот горький и страшный вечер. Еще гремели аплодисменты, еще свистели ребятишки, но оркестр уже прекратил свою музыку. На арену вышагнул тучный распорядитель и объявил зычным голосом: в воздухе Полина Вернатова и Эдуард Апостол! И снова — музыка, но он, Веня, не слышал музыки, не ждал того имени, которое только что объявили зрителям; но что — в музыке, что — в этом имени, если в голове его уже все смешалось и спуталось, осталась только огненная слепящая девушка с алой лентой на черной челке, остались только ее глаза. Оказывается, все это время она жила высоко под куполом, а может, еще где-то выше, в каких-то своих, далеких, пространствах, и вот снизошла до людей и спустилась. Он помнит, как она скользила вниз по канату, как подняла для приветствия правую руку, а левой продолжала держаться за колючую, злую веревку, которую уже ненавидел Веня, потому что этот канат или веревка могли поранить ее ладони. Потом опять подтянулась кверху, лицо сияло улыбкой. Пристегнула себя на тонкие слепящие нити и закружилась в огненном вихре, и ноги ее в таком же слепящем красном трико соединились в одну бесконечную линию, и они-то и создавали этот огромный огненный вихрь. И огонь не кончался. И Веня думал, что вот сейчас он стоит внизу, под канатом, стоит такой жалкий, робкий, дрожащий, и вся прошлая жизнь его казалась тоже маленькой, жалкой, ничтожной, и даже думалось, что он и не жил вовсе, а родился вот только, в этот горький час и в час радостный, и с этого часа начнется вся жизнь его, другая, новая, освещенная этим красным огнем.

Но все-таки откуда она? Откуда? Почему молчат музыканты, почему не хлопают дети? А может, он ничего не слышит?.. Было стыдно чего-то, обидно. Только теперь долетела музыка, одиноко солировал барабанщик, и Веня только теперь догадался, что все это — правда, не радостный сон, а явь. Да и огонь не был вечным, горел, прогорел. В ту же секунду выскочил на арену вертлявый парень, похожий на ловкого, вороватого официанта, и начались обычные упражнения с шестом. Девушка стояла на плечах у парня. Стояла опершись на руки, а ноги ее

крутили, подбрасывали шест, и шест вращался быстрым, стремительным колесом, и казалось, что в нем тысячи спиц. Но все равно это было уже не божественное, а простое, да и лица у обоих сделались скучные, деревянные, на щеках проступила пудра или румяна.

Зато вскоре все изменилось, и опять Веня вглядывался в неожиданное чудо, опять красное трико слилось в одну бегущую линию, и снова начался этот огненный вихрь. А случилось совсем немного: парень поставил, укрепил шест на голове, а девушка опять вспорхнула к нему на плечи, и вот уж она на шесте, крутит свое огненное колесо. И опять быстро кончился этот огонь. И вот уж она подняла высоко обе руки, лицо горело от радости, возбуждения, а Веня жадно, до боли вглядывался в него, точно прощался. Потом побежала к выходу и задела Веню своими руками — он сразу вздрогнул, потупил глаза. Стихла музыка — объявили антракт.

А через секунду на него набросился клоун. Было смешно смотреть на него, маленького, трясущегося, потного. «Куделя ты, куделя деревянная!.. Неужели поймать не мог, последний раз тебя спрашиваю?..» Отчитывал его Иван Ефимович и жадно курил сигаретку короткими, нервическими затяжками. А далеко, у какой-то высокой лесенки, стояла она в одинокой задумчивости, и лицо — пустое, оцепенелое. Веня ей улыбнулся издали, но глаза ее ничего не заметили или не поняли. Эта улыбка совсем взбесила Ивана Ефимовича. Клоун отступил на полшага и взвизгнул снова не своим голосом: «Последний раз тебя спрашиваю!.. Ты что ловил? Ты ворону ловил?» У Вени похолодела спина, опять было обидно, и хотелось оказаться в деревне. Убежать бы от клоуна, от надоедливой музыки, от этого вздыбленного купола, под которым раскачивались в светильниках красные и голубые огни.

В эту минуту выпустили пантер. Заиграла бешено музыка, заметались по клетке звери от прилива такой же бешеной и злой крови. Но упали запоры на железных решетках, и ведущий объявил номер. Застыли в полупоклоне Борис Сараев и его молчаливый сын. Это длилось мгновение, и снова наступившую тишину нарушила музыка, пантеры забегали по клетке большими кругами, потом расселись по тумбам. И сразу в глазах у них встала немая покорность, и сразу они стали похожи на двух огромных усталых собак, которые прилегли отдохнуть.

Щелкнул бич, младший Сараев принес обручи с намотанной паклей и поджег их. Старший Сараев поднял высоко один обруч, и звери обреченно прыгнули в это огненное кольцо. Потом прыжок повторили снова и снова. Зверей подгоняла музыка, она то утихала, то убыстрялась, казалось, не будь ее — и сам номер станет надоедливым, скучным, останется одно насилие над живым и красивым зверем, и зритель отвернется брезгливо.

Обручи прогорели, и звери стали прыгать над горящим шестом, но это было, наверное, уже совсем не опасно. Просто пантеры прыгали с тумбы на тумбу, огонь же был где-то внизу, под брюхом, да они, видно, привыкли, не замечали его. А Веня все это время стоял смирно в проходе, слушал быструю музыку, а мысли были далеко от зверей. Где теперь эта девушка? В каких местах у нее дом родной?.. Почему страшно к ней подойти?

Пантеры шли заключительным номером. Борис Сараев беспрерывно щелкал бичом, и вскоре звери устали. В их покорности появилась медлительность, теперь они воочию напоминали добрых, усталых собак. Веней тоже овладела усталость, и только смутное далекое видение Поли Вернатовой поддерживало его силы. Но она больше не появлялась. Музыка заиграла прощальное, и зрители разошлись. Стало грустно и тяжело...

И теперь опять стало грустно и тяжело: боль не истаяла, не поддавалась времени. Зря сказано, что время лечит. Бывает, что и калечит. Он подошел к окну и распахнул створку. В комнате не прибавилось воздуха: на улице пылал зной. Покосился на свой этюдник, можно было взять его сейчас же и пойти в лес, но пугала жара. Хорошо бы к воде, на песочек, но не было сил подняться, ноги не слушались. В последнее время стал замечать, что с ним творится что-то неладное в родных стенах: клонит то ли лень, то ли апатия. И случилось это почти сразу после отъезда отца. Случилось после того, как он понял, что отец не просто уехал, а бросил его навсегда, и теперь ему нужно жить в одиночестве, жить одному. Часто в такие минуты он и открывал бутылку с вином и пил его жадно не из рюмки, а из стакана, стараясь порвать на душе пленку горечи и обиды. Не замечал, как пьянел. И когда в груди начиналось беспрерывное жжение, а в голове, наоборот, непривычная легкость, он начинал ходить из угла в угол, что-то бормотать и сдохатывать,—

постороннему глазу он показался бы странным и диким даже, а что тут странного, если в эти минуты он опять заходил на свои высокие горы, о которых трезвому только мечталось. И гордость его, великая гордость, еще сильнее оживала и тешилась, выходила на свой тоже великий пир, и что только не выделявала, не вытворяла она: всех людей попирала ногами — и хотелось ему выскочить на большую улицу и что-то там сделать сейчас же, сию минуту, чтобы всех поразить. Но он чувствовал, что он сейчас пьяный, пьяненький, а значит — смешной, потому эта же гордость держала его на стуле. Зато засыпал спокойно, с уверенным, сильным лицом и утром не мучился от головной боли — он был все-таки крепкий телом, в Китасовых, хоть и с виду в это верилось плохо. Зато душе было трудно. В эти тихие утренние часы в ней просыпались совесть, раскаянье — эти нелепые смутные чувства, которые оставила ему мать. Но их быстро подавляли гордость, рассудок — все равно, мол, он самый лучший в деревне. Да что в деревне... Только очень мучила и давила на него тишина. Она шла даже с пола и с потолка и первое время казалась даже живой. Но постепенно он привык к этому состоянию, когда рядом с ним нет никого: не с кем разговаривать, не слышно чужого дыхания. В такие минуты хорошо раскрыть маленький голубой этюдничек и писать свое чувство и настроение и думать о будущем. И незаметно случилось так, что лучшими минутами жизни стали эти минуты, когда он был совершенно один, когда не нужно ни с кем разговаривать, смотреть в чьи-то глаза... Правда, были дни, вечера, когда к нему приходила смешливая Катя. Но это были пустые, надоедные дни. Она не слышала, не понимала его. Вот если б рядом с ним была Поля? Что было бы? Куда повернулась бы его упрямая жизнь? Этот вопрос поднимался, мучил разгадками, — вот и теперь он вспомнил об этом и склонил низко голову. Жаль тех дней, тех часов. Почему не постоял за себя, не дал сдачи карлику-клоуну, почему и на следующий день не поймал тросточку? А если б поймал, если б схватил на лету ее — в какие б счастливые дали помчала его жизнь? Но не вышло, не получилось, из-за пустяка ушло счастье, пропало. А ведь мог бы поехать потом по большим городам, за границу. Мог бы, да сорвалось. А если б дома тогда поработал, потренировал себя, может быть, тогда получилось в цирке? И сразу пришла в голову

любимая поговорка отца: работа дураков любит. И Веня усмехнулся, прищурил глаза. «Эх ты, отец, отец...» И вдруг вздрогнул, напрягся: почему он не жалеет его, совсем не жалеет, почему он все еще не ответил на то письмо?.. Он закурил, прижался лбом к стене и несколько минут простоял в полном изнеможении. «Какой же он сын, да никакой...» Но все равно жалость к отцу не приходила, думалось о нем, как о чужом, о постороннем, и даже лицо его, родное отцовское лицо, уже терялось и расплывалось в памяти, он видел по отдельности глаза его, лоб и волосы, но вместе это не соединялось, а только путалось, дрожало в туманной зыби. Достал из дальнего кармана толстое письмо Марьи Ивановны. Но строчки эти уже не вызывали у него ни слез, ни печали. «Неужели он не любил его никогда, неужели отец так и будет чужим? Ну что ж, сам виноват, все на свете проездил... Но ведь и сам-то я не лучше, все время в дороге», — подумалось ему с грустью, щемящей и горькой грустью, и он стал вглядываться в эти корявые, пьяные буквы, от них рябило в глазах, было нехорошо в голове. Марья Ивановна писала: «Сообщаю во первых строках, что отец твой Китасов Геннадий Степанович убивался под деревом в поселке Сангар 30 марта. Вызвать тебя не могли, да ты бы и так не поехал: сильно громки затраты — дорога да все такое. Телеграмма — тоже ненадежное дело. Надо до почты, да по сугробам, а я, сам знаешь, кака больная да тиха пьянчужка, да ты бы куда поехал — далеко да не на чем. Геннадия увечило деревом на корчевке. Работали по левому делу. Пенсию-то теперь как на его хлопотать, вот ты умной, дак подскажи. А теперь про отца: поохал, покорчился, да врачи отводились. Пролежал у них больше месяца да с тросточкой и пришел. Лева нога пока худо гнется. Да ништо — проживем, зато живой, невредимой. А с деньгами у нас сорвалось — калека-то немного заробит. Так что присылай нам свои да излишни. А мы сходим на почту — получим. Так что теперь помогай. Я, может, к тебе приеду, а может, не знаю. Зачем тебе тиха пьянчужка?.. А домом владей. Высуживать у тебя не буду, хотя с отцом твоим расписались, стала мужня жена...» А дальше — слабой рукой, а верней всего, пьяной. Бумага на письме уже обтрепалась, все эти месяцы он таскал его в пиджаке, никому не показывал, да и показывать кому — совсем некому. В утешение чужих людей

он не верил, да и кому здесь утешать-то: была деревня, деревня и осталась. Да и многих здесь теперь презирал.

Опять поднес к глазам эту бумажку. Сохранился и самый конец письма: «Одно прошу Христом-Богом — не пей только, не начинай. А то как захнычешь: «Я бедной, несчастной, родитель бросил, оставил», — так и пойдешь сшибать рюмки, бутылки. И припадай все же к людям, а то ты больно вознесся — не понимаю. Хоть и дурна Марья Ивановна, да пьяна, ветляна — у людей оживешь мало-мало. Смотри, как нас судьба наказала за жадность, — отец-то... Ну, ладно, а в Сангар приезжай. Жива буду — приму. Поди, сердечность имею... Твоя мама чужая — Мария».

Приезжай, найдем тебе девку хорошу. Будешь ты славной якутской зять. Якуты тебя завалят подарками, — куда складывать будем? А водку у нас не продают, застывают по дороге. Один только спирт, батюшко-спирт. В магазинах всю дорогу долгишься. Тут верят, не обижают, но уж раз не отдал — прощай дело. Зимой ветров у нас нет, но дохнешь когда — пар зашипит, зашипит. Холодина, а мы не боимся. И ты приезжай, не бойся...»

И Веня нехорошо усмехнулся: «Эх ты, мама чужая, а ведь сама его в такую даль потащила». Но даже сейчас к отцу не было жалости, ничто в голове не всплеснулось, не ворохнулось: как ему там, на чужой стороне?

Он положил письмо в конверт, пригнул низко голову. Какой год ему выпал, тут еще с Катей лезут. Хорошо бы уехать куда-нибудь, отдохнуть. Захотелось съездить в Сангар, но он решил отложить дорогу до осени. Да и в поездах, в самолетах по осени легче с билетами.

Встал на ноги, подошел к окну, притронулся к раме головой. Стекло было горячим. Пить захотелось. Об отце больше не думал, потому что пришло решение — ехать в Сангар, там и увидятся. И это решение совсем успокоило. Но это спокойствие длилось недолго. Чай во всем виноватый. Когда захотелось пить еще больше, он плеснул в стакан чаю. Ручка чайника упала набок и щелкнула. Он вздрогнул и снова все вспомнил. Какое знакомое щелканье! Ему стало опять плохо, беспокойно, не хотелось думать об этом, но снова думалось. Он сверкнул глазами на чайник, но он-то чем виноватый... Так же щелкал зонтик

у клоуна. «Но почему, почему все-таки он не поймал его? Почему и на следующий вечер все повторилось?» Зато как ждал его, этот вечер! И как он себя ненавидел. Дома, прячась от квартирной хозяйки, долго рассматривал лицо свое в зеркало, усмехался злорадно — нет, такого она не полюбит. И в этой злости на себя нашел утешение, которое перешло в покорность. «Каждому — свое, не всем кушать серебряной ложкой» — эта отцовская поговорка неожиданно ожила в памяти и успокоила. Он даже хорошо спал в ту ночь, а утром встал легкий, спокойный, хозяйка взглянула на него веселыми, сосредоточенными глазами и потребовала плату за месяц. Он отдал ей последнее. Почему-то приятно было отдавать деньги, точно дарил подарок. Утро стояло светлое, свежее, пахло листвой. Ночью прошел дождь, и теперь, при солнце, деревья лучились и поблескивали, даже машины гудели протяжно и весело, и Вене еще сильнее захотелось увидеть Полю.

Но он увидел ее только через восемь часов. Уже полуденное солнце пошло в закатную сторону, уже город стал остывать от июльского зноя, уже самые юные жители опять вспоминали, что у них есть великая радость — цирк.

Опять всех приветствовал Эльдар Гуляев, и все повторилось, как в первый вечер. Только голос у клоуна стал совсем нахальный, визгливый, и все время у Вени было такое чувство, точно где-то рядом резали живучего поросенка. А клоун с каждой секундой делался все веселее, активней, у него было чудесное настроение, он даже подмигивал Вене — видно, простил ему все грехи и сейчас поощрял на отчаянное, веселое дело, каким, видно, занимался и сам. Потом появилась тросточка. Она снова взлетала и опускалась и была одновременно зонтиком и снова сама собой, а клоун радовался, как ребенок, и был на седьмом небе оттого, что руки его проворны и легки, что дети во всех рядах мучаются от хохота и считают его за героя. И вот уж тросточка стоит на лбу, потом на носу — и вдруг из нее образуется зонтик. Он сразу взлетает кверху, клоун ловит его у самой земли и гогочет. Дети тоже подражают ему, и цирк становится похож на конюшню, в которую загнали молодь, и жеребяттам здесь весело, тесно, и сейчас они сокрушат стены.

И в этот миг он бросает тросточку в сторону прохода, и Веня чувствует, слышит каким-то последним слухом: она летит прямо в руки, и ладонь словно ощущает уже лакированную ручку, даже кожа на ладони сжимается от легкого морозца. Веня слышит еще удары музыки, и в тот же миг закрывает лицо. Опять не поймал!!! Тросточка уже лежит под ногами, все еще гремит музыка, и он открывает лицо. И первое, что видит,— эта тросточка, злополучная тросточка, медленно, словно смеясь, издеваясь над его страданием, раскрывается по сторонам, и вот уж вместо нее лежит зонтик. И этот зонтик опять напомнил что-то дьявольское, дразнящее, и у Вени стало холодно на спине. Холод пошел и к ногам, и к горлу, все его тело словно бы обнимала тугая и ледяная вода, и казалось, что еще миг, и этот холод задушит и уничтожит тело.

И вдруг он увидел клоуна. Клоун бежал на него с такими глазами, будто только что схоронил мать или сына, и это горе в глазах особенно поразило Веню. «Из-за меня, из-за меня он!» — пронеслось в голове, и рядом с этим мелькнули какие-то другие пугливые мысли, и Веня опять закрылся руками. Клоун пробежал рядом, задыхаясь от злости и нетерпения, и опять что-то выронил в сторону Вени и сразу скрылся.

А представление продолжалось. Ожила музыка, вышел ведущий. Музыка заиграла громче, и Веня очнулся, потому что сразу узнал мелодию. В цирке у каждого номера — своя мелодия, то быстрая, бешеная, как лошадиный топот, то грустная, как дорогое воспоминание. Под грусть спустилась по канату Поля Вернатова. Она была в том же красном трико, та же лента обхватывала ее волосы, та же прекрасная рука поднялась для приветствия. Только лицо у нее было бледным и пепельным, да улыбка выходила сегодня сухой, отрешенной. «О чем сейчас думает? Неужели ничего не знает и не догадывается?» — представлял Веня и вдруг вспомнил с ужасом про свое положение. Его же теперь уволят. А если б поймал ту тросточку, то, наверное, стал бы ловить ее всегда, каждый вечер, каждое представление, наверное, поехал бы с этим цирком по разным большим городам, наверное, сделался бы когда-нибудь знаменитым артистом... И тогда бы Поля его полюбила.

А на арене творился праздник — Поля кружилась в

своем бесшабашном огненном вихре, зал замер, в оркестре шумел один барабанщик. Все огни направлены на ее стремительное тело, которое снова казалось чудом и привидением, пришедшим из детской памяти или из сказки. Но снова быстро кончилось это чудо, осталась только музыка, медленная, печальная, в тихих всплесках. Да и та через секунду погасла. Поля подняла руку, но теперь она уже не приветствовала, а прощалась. Кричали дети, хлопали откидные стулья, аплодисменты метнулись под купол, но Поля уже простилась. Она пронеслась мимо Вени с бледными сияющими щеками, и опять повеяло запахом от ее духов. Он зажмурился, как от боли.

Через час с Веней говорил добрый директор, рядом с директором стоял Иван Ефимович в угрожающей позе и бессмысленно крутил головой. Но первым взял слово директор: «Что ж ты, Веня, Вениамин, такой неуклюжий? Какая печаль — не поймать обычную тросточку, прямо палочку. А учить мы тебя не сможем... Нет, мы — не студия, мы на гастролях. Так что подумаем о твоём дублере...» И тут врुбился в разговор клоун. Он набросился даже не на Веню, а сразу на директора: «Дублера, дубле-ра, развели демагогию! Сегодня же возьму любого парнишку, и он сделает всю программу... А этого — с глаз, с глаз моих!! Уберите его! Я не ручаюсь...» Его всего трясло, с клоуном случилась истерика, к нему подскочил директор и сказал просительно, как ребенку: «Что это, что это... Что за нервы, Иван Ефимович? Я же сказал, что уволю. Что это? Почему вы его невзлюбили?...» И уже, обращаясь к Вене, добавил совсем просительно, тихо: «Иди, Веня, уезжай куда-нибудь. У тебя, поди, мама есть?.. Прости, я ничего не понимаю. Из-за тросточки — и такие нервы. Ах, бедные мои гастроли!»

Была ночь, но пойти на квартиру уже не смог. Хотелось уехать в деревню, хотелось, чтоб ожила мать, поднялась из могилы, — тогда бы все стало иначе. А ведь счастье было совсем рядом, он даже слышал его дыхание. Помешала какая-то тросточка, почему он не поймал ее? Но на это никак не ответишь. И вот — уже конец...

Улица привела на берег. Над водой стояла луна, где-то на берегу таился транзистор и выпускал музыку, потому у воды было не так одиноко, как в пустой улице. На луну нашло легкое облачко, и в лицо пахнул ветерок. «Какая-то тросточка, какой-то зонтик?..» — вопрошал Веня небиди-

мого участливого человека, но тот молчал и молчал. Да это уже было неважно. Важно было говорить и спрашивать у кого-то, чтобы облегчить боль.

А на следующий день его ноги опять зашагали по знакомой дороге и привели его в цирк. Но он сдержался и не зашел. Но все равно потом он много раз еще приходил туда, под высокий купол, где жила музыка, где кружилось в красном огне его чудо. И приходил и смотрел, как стояла его Поля, счастливая, ослепленная светом, вниманием. И смотрел, как переливались ее гладкие белые волосы, как сияли широко, удивленно ее праздничные глаза под голубыми ресницами. Смотрел — и падало сердце.

Его, конечно, уже замечали. Клоун хихикал в его сторону, директор часто наблюдал из прохода и грустно шурился. Но последней догадалась о нем сама Поля.

Однажды, после вечернего представления, когда сторож уже потушил огни, Веня все еще стоял у дверей, у выхода, ждал какого-то своего случая. Ждал и дождался. Вначале открылась дверь, и он сразу вздрогнул и отшатнулся, потому что дверь отошла по-особому, как-то бесшумно, без предупреждения. Поля выбежала с большой сумкой в руке и в коротеньком легком плащике. Увидела его, напряглась, может, подумала, что хулиган какой. Но потом, наверно, узнала, может, женское чутье подсказало, что не надо бояться его, не надо бежать. Он подошел к ней, она улыбнулась растерянно, отошла немного вперед, остановилась, и он опять подошел к ней, она опять улыбнулась. А то, что улыбнулась, было видно в ярком свете электрической лампочки, которая сияла над цирком всю ночь, помогая сторожу своим глазом.

Еще раз улыбнулась, потом спросила нехотя и рассеянно, зачем он в цирк ходит, лучше в кино бы. Вот ей совсем надоел этот цирк, надоел, оглушил, она от работы устала, от шума, но все равно не смогла бы это бросить, забыть. А он все не верил, что идет с ней, говорит с ней и что можно еще долго идти с ней и говорить. Потом она спросила, что он делает летом, и Веня ответил — это были его первые слова с ней, самые первые, потому он их хорошо запомнил. Он ей ответил, что поедет в деревню — там дом у него, близкие люди, а здесь, в городе, нет никого. Хотел добавить, что никого, кроме нее, Поли, но сразу же покраснел, потерялся, и хорошо, что не сказал,

не осмелился, а то бы она засмеялась. Шли теперь молча. И вдруг она остановилась, взглянула лукаво. Спросила — не тот ли он мальчик, который никак не мог поймать у клоуна зонтик. Интересно, когда же поймает? Он резко ответил, что теперь уж никогда не поймает, потому что ушел от них, рассчитался. И когда говорил, голос его то взлетал, то падал. Да и осердило обращенное к нему слово «мальчик». И она поняла его тревогу, смятение, но поняла по-другому: «Значит, не хотелось совсем увольняться?» Он почему-то ответил, что не хотелось. И тогда она замолчала, но молчание было особое — со значением, и дыхание у него путалось, замирало. Потом опять заговорила, и голос был теперь сердитый и громкий. «А если не хотелось, значит, надо было работать. Ведь за себя нужно бороться. Никто не рождается ни знаменитым, ни сильным — человек сам себя заставляет». Она уж вошла в роль наставницы, голос звучал уверенно, сильно, ей нравилось наставлять. А он шел и думал, что он действительно слабый, ничтожный. И почему-то стыдился своей деревни, неразвитой речи, своей обтрепанной, грязной одежды — он совсем обносился. Был миг, когда показалось, что Поля над ним смеется, когда сказала, что не нужно было у них устраиваться, а нужно было жениться на какой-нибудь продавщице да и жить-поживать в достатке — нынче, мол, они процветают. Но потом прошло это, потому что Поля спросила про мать. И он был благодарен, взволнован и простил ей все подозрения, да и о матери своей любил говорить. Теперь уж Поля молчала и шла совсем тихо. И когда он рассказывал о матери, то признался, что хочет быть художником, и когда он сказал эти слова, то Поля остановилась и засмеялась. В цирке, мол, не вышло, а что — художником легче? Да ведь труднее, в тысячу раз труднее. Нужно разбираться в людях, нужно слышать природу, а главное — нужно иметь характер. И в голосе теперь было больше волнения — может, уже сама она искала в своей речи утешение, опору и уж говорила не с Веней только, а сама с собой говорила. Потом вздохнула: «Как хочется к морю! Когда же отпуск?! Быстрее бы в море!..» А он страдал, что она о нем позабыла, не стремилась к нему словами — значит, он не нужен, не интересен. Она поежилась и запахнула плащик. Потом опять повернулась: «Ты не страдай, не огорчайся. Жизнь такая большая. Все еще будет, будет...» Она



взглянула на него совсем нестрого, наоборот, даже с жалостью, тихо взглянула. А он подумал, почувствовал своим гордым сердцем, что Поля его просто жалеет: еще минута, секунда — и ей станет скучно.

Вот и гостиница. Он молчал, и она молчала. Потом улыбнулась: вот дошли, мол. Спасибо, что проводил, одной было бы страшно. И посмотрела на него ласково, как на ребенка. И ему стало ясно: как была, как стояла Поля на той высоте, так и осталась там же. А может, поднялась еще выше. А потом она протянула ему руку и чуть заметно зевнула. Она устала, ей было скучно, и он все понял. Он машинально пожал ей пальцы, и Поля скрылась. А через три дня цирк уехал, он все никак не мог позабыть тот вечер, скучную улыбку на лице Поли, ее голос. И уж потом, позднее, он стал мстить людям за тот вечер, за ту улыбку, словно они были все виновны. Особенно мстил одноклассникам — девчонкам, старался презирать их, обманывать, но его гордость не утихала. Не помогла, не смирила и дружба с Катей. Как было далеко этой Кате до того чуда, великого чуда! И вот он опять прошел с нею весь путь до гостиницы, и было жаль отпускать ее, Полю, в белую стеклянную дверь, чтоб уж потом не увидеть никогда. И сейчас он закрыл глаза, чтоб подольше удержать ее рядом, но за окном загремела телега, и звук от нее был такой резкий, внезапный, как будто треснула крыша. Сразу залаяли собаки, но быстро стихли, потому что на них набросилось солнце и они заползли в холодок.

Но Веня уж не мог успокоиться, да и в уши вдруг забрался лукавенький осторожный голос: «А я вот, старая, обзабылася... Ведь Катенька-то моя беременна... Скоро встречай, Вень, наследника. Не дай бог — пойдет в папу...» И он попытался забыть его, сбросить с себя. Но голос все не отпускал, издевался. И Веня слушал, слушал его, но не понимал до конца значения. Вроде бы и к нему слова те относятся, а вроде бы к чужому. Да и голос звучал как во сне и в тумане. Да и солнце жгло сильно. Может, от солнца так душно, так тяжело...

VII. В СНАХ И ТУМАНАХ

Солнце тянулось в комнату. Его делалось все больше и больше. Веня устал от жары, от неясной тревоги, от

мыслей. Захотелось к реке — искупаться, подышать полной грудью. Но вставать не хотелось. И вместо того чтоб выйти на улицу, он снова прилег на кровать, закурил сигарету. И тело сразу сковало оцепенение, и вдруг стало покойно, как будто над ним наклонилась мать. Есть люди, и среди них был Веня, для которых мать — вечная печаль, вечная рана. Но не будет ее, этой печали, и сама жизнь станет ненужной и потом вовсе исчезнет, провалится в пустоту. Такая привязанность случается в детстве, потом и в юности не проходит, но человек берет в ней силу, и горе ему, страшное горе, если уходит мать. Так было и с Веней. И теперь, после смерти матери, эта печаль, эта рана постоянно мучили и томили сердце. И в минуты одиночества, в эти совсем тихие, святые минуты, когда кажется, что ты совсем один на всем свете, он часто вспоминал мать и разговаривал с нею. И в этом было такое успокоение, что он бы не променял его ни на что. Вот и сейчас он вызвал к себе мать, и, как всегда, ему стало легко. Он ничего особенного не сказал ей, просто лицо ее встало над головою, и от лица этого на него двинулось легкое, подрагивающее дуновение, и это было так явно, так ощутимо, что Веня замер. Но это ощущение не прошло, наоборот, оно делалось все больше и больше, и все в нем затихло и улеглось. Потом наступило легкое укачивающее бездумье, и он задремал. Над головой, над самыми глазами его, склонилась мать, — такое тихое, счастливое наваяждение, он в последний раз поймал на себе ее взгляд, улыбку, потом она слилась с улыбкой Поли, и та красивая цирковая девушка встала во весь свой рост, и опять закружилась огонь-сияние. Он смотрел на него, но был в каком-то еще полусне и верил и не верил, а глаза уже ничего не стали видеть вокруг, но ум все еще продолжал удивляться: как это — только что сидел за столом, пил чай, смотрел в окно на деревья, и вот уж снова в цирке. Но это размышление длилось недолго, быстро погасло, потом глаза его опять широко раскрылись от удивления, и на арену выскочил Эльдар Гуляев. Он так завизжал, запрыгал, так громко застучал своими длинными удивительными ботинками, что в первом ряду подскочил и заплакал навзрыд испуганный мальчик. Но клоун закричал еще сильнее, и этот громкий поросячий голос заглушил все звуки, даже музыка на миг прервалась, отступила, но клоун не унимался. У него были маленькие совиные щечки,

и такие же маленькие круглые глазки, которые кружились, горели, как угли. Клоун остановился и поднял руку. И одновременно с этой рукой из штанов вылетела высоко тросточка и раскрылась в зонтик. Зонтик упал на плечо ему, покачался из стороны в сторону и вот уже полетел через голову. Клоун вздел руки, завизжал и запрыгал, и Веня бросился к зонтику и сразу поймал его. Счастье, какое счастье! Колотится сердце, дрожат руки, но ему радостно, так радостно, как будто вернулась мать с того света, как будто обняла его Поля, и он поднимает высоко голову — и вдруг видит отца. У него веселое, разбитное лицо — и глаза с таинственным злым торжеством. Веня увидел их, услышал смех его — и выронил, выронил зонтик. Он стукнулся о мягкий покров арены, и, видно, была в этом паденье какая-то волшебная сила, потому что сразу затих оркестр, смолкли дети. Тишина, яркий свет. А Веня все смотрел и смотрел на отца: «Откуда он? Откуда приехал? Зачем?» Но его мысли смешала боль, — это клоун завернул ему руки, он подкрался к нему хитро, внезапно, и теперь дыхание его задевало затылок. «Зачем он мучит, терзает? Да как смеет? Такой маленький, гладкий». И Вене стало противно, как будто ступил на лягушку. Он брезгливо вздрогнул, поднял голову еще выше, опять взглянул в ближний ряд — отец шурился, хохотал, — и в этот миг Веню выпустил клоун. Он отшатнулся от него, словно испугался чего-то, может быть Поля. Она пробежала мимо, высокая, сильная, в горящем красным огнем трико, и бег ее потонул в гуле музыки, в криках, и вот уж она под куполом машет рукой и посылает улыбку. А в спину опять уперся клоун и начал толкать его за кулисы, но Вене уж не хотелось никуда уходить, потому что высоко, под куполом, кружилась в своем полете Поля и не было сил ее бросить. Но клоун все дышал в затылок горячим гадким дыханием, и Вене захотелось его ударить. И он бы сейчас ударил, но в тот же миг что-то вложили в ладонь его. Это был паспорт, его собственный паспорт. А вложил в ладонь сам директор цирка, который стоял уже рядом и покачивался, слушая музыку. Веня развернул паспорт. Директор продолжал стоять рядом, задумчивый, грустный. А он, Веня, рассматривал паспорт и ничего там не видел. И вдруг на затылке опять услышал дыхание — и сразу же захохотал клоун, потом подошел отец, уставился на сына нахально. Потом и Поля прилетела на своем канате,

остановилась рядом, посмотрела протяжно и тоже захотала. Они подмигивали, показывали на него руками, а в нем застыло все, и в самой груди стоял лед и не таял. «Что вам сделал? За что вы? Зачем напали?» И казалось ему, что Полин смех самый громкий. И вдруг завизжал пронзительно клоун: «Выгнать его! Выгнать!» «Вы-ы-гнать!» — откликнулись стены. «Вы-ы-гнать!» — закричали отец и Поля, и после них ударила музыка, и весь цирк стал радоваться, бесноваться, а Веня вытирал слезы, и горло стянуло жесткой, соленой пленкой, и вся душа рвалась, восклицала: «За что вы? Что я наделал?» Но всех больше дурачился клоун. Он вытащил из штанов свой зонтик и нацелил его прямо в лицо ему, и зонтик попадал то в рот, то в глаза, то в щеки, и Поля это видела, и отец видел, но никто не пришел на помощь. А прожектора уже повернулись только на него, на Веню, гоготали весело дети и хлопали в ладоши, а музыканты играли все громче, громче, и все больше делалось света; и там, где стояла Поля, уже опять поднялся огненный столбик, он то растягивался, то сжимался, а у него, у Вени, в груди уже ничего не осталось, и хотелось только одного, одного молил он, чтобы умереть сейчас же, на этом месте, и чтоб никогда не воскреснуть. «Я же люблю ее! Люблю... Почему же смеется? Почему Поля смеется?..» А белый огромный сноп света слепил его и словно бы издевался, и все люди видели его лицо, его муки. И вдруг в душе его стало подниматься такое же страшное, слепящее чувство: «Я докажу вам! Докажу! Все равно буду знаменитым! Великим!..» А цирк смеялся, и ему уже казалось, что не цирк это, а весь свет над ним гогочет, смеется, и опять слова эти: «Я докажу вам!», это чувство поднялось к горлу — и сразу высохли слезы. А потом ослабли почему-то руки и ноги и заболела голова тягучей, ноющей болью. А Поля в это время спустилась вниз, на арену. И вдруг ему стало жаль ее: чего лезет, смеется, словно всего уж достигла, а ведь работает в каком-то бродячем цирке, сегодня здесь, а завтра собралась — и на поезд. И он опять взглянул вперед и хотел поймать глаза ее и улыбку, но она уж оттолкнулась от ковра своими длинными стремительными ногами, и висячий канат поднял ее высоко, под купол, и она закружилась там в своем огненном танце. И опять он увидел в этом насмешку, но ему уже было не страшно! «Я докажу вам всем, я докажу!» — грозил он кому-то

чужому. В голове стало совсем спокойно. А потом смолкла музыка, стало тихо. От тишины и открылись глаза. Ударил яркий свет от окошек. И сразу же на глаза надвинулась картина. Большое акварельное солнце на листе бумаги словно бы повертывалось, шевелилось, так же двигались вокруг его желтые и зеленые кольца. В этом было много тревожного, злого, да и краски на бумаге потемнели, набухли, наверно, от яркого и живого света. Веня вглядывался и не понимал рисунка, и было такое чувство, что он все еще во сне, не проснулся, и хотелось скорей проснуться. А глаза уже жили и узнавали родные стены и вдруг скользнули по соседним листам, и сразу же повалились на голову все его рисованные муравьи и мошки, все сосульки, кубики, все лохматые, злые деревья — все это сплелось вместе и завертелось, — и он содрогнулся. Голова повернулась к окошку. Там был большой свет, там было настоящее солнце, и этот свет успокоил его, успокоили и живые голоса. По улице, по пыли, кто-то пробирался на тяжелой телеге, и разговаривали настоящие люди. Эти люди ехали и говорили о нем. Не сразу понял, что о нем разговаривают, но когда услышал: «Ездит да ездит все. Понравилось, видно, цыганско солнышко. И папаня — на чужой стороне, оба с папаней...» Когда услышал — сразу понял: о нем говорят. И голос, знакомый, отчетливый, так и плывет через раму. У этого голоса спросил бас: «Картинки-то Венко рисует, не перестал?» Ему сразу ответили: «Кого перестал — не выходит ничё. Один раз заходил покурить, дак видел, прямо рядом, впригляд. Дурость одна, чихня. Восьмерит сильно парень. И в картинках-то — на чужой стороне...» Заскрипел под телегой песочек — и ушла она. Веня сильно прикусил губу и сразу почувствовал, как болит тело от железной кровати. А сердце так просто выскакивало. Нашел сигарету и закурил. Сразу стало полегче. И картины теперь уже не пугали, он уж опять любовался ими, и огонек гордости поднимался в глазах. «Я докажу вам, докажу!...» — сейчас не во сне, наяву шептал Веня и утомленно, жадно курил. Даже о Поле теперь подумалось хорошо и спокойно, и почему-то казалось, что он все равно ее встретит. И эта встреча будет совсем другой, не похожей на остальные, и теперь уж будет наставлять не Поля, а он, Веня, потому что у него многое накопилось. Он расскажет ей о разных городах, о дорогах. Даже о своем

мужском чувстве к Кате тоже расскажет. И Поля простит его, потому что кто же будет ревновать к Кате?

В последнее время он много ездил. Поля бы его обязательно похвалила, если б знала, сколько он ездил. И пусть денег у него было мало, что деньги — зато дорога! И от этих дорог, от бесконечных передвижений оставался в груди какой-то упругий, радостный воздух, который еще долгое время томил и приподнимал как на крыльях. И в эти часы и минуты ему казалось, что он завоевал и покорил кого-то, и все люди оставались далеко на земле, на далекой нижней ступеньке, а он парил, летал в высоте, и никто б не сумел до него приподняться.

Эх, дорога, дорога!! Садился в товарный поезд и ехал ночами, приезжал в чужой город и спал на вокзале, как будто бездомный. А утром вставал на рассвете и уходил в незнакомый гудящий городок, жадно всматривался в лица прохожих, точно торопился запомнить, словно выискивал среди них дорогую родную душу. А потом подходил к первому киоску и покупал открытки с видами городка. На открытках ставил год, число и текущий месяц. А потом отдыхал в каком-нибудь ближнем саду или сквере. И здесь, на чужой садовой скамейке, в нем начиналось и ширилось гордое спокойствие, точно он исполнил какой-то долг и сейчас имеет право расправить плечи, вздохнуть спокойно. Иногда доставал блокнот, карандашик, рисовал какое-нибудь красивое здание, дерево или рошу и грустно вздыхал, как перед прощанием. Так и было. Прощай, городок. Он едет дальше, все дальше...

Часто в таких городах бродил по базарам, но все базары были похожие друг на друга: в овощном и фруктовом ряду везде стояли узбеки, у всех у них под верхней губой сверкали золотые зубы, и все эти люди были очень веселы и подвижны, и всегда казалось, что они нарочно коверкают русский язык, чтоб у них выходило смешнее, забавней, когда они предлагают товар. Часто к узбекам в этих рядах примыкали казахи, эти выглядели степенней и строже, одевались одинаково — в толстые пиджаки и ватные брюки, на случай какого-нибудь внезапного похолодания. А может, просто их тело остывало в прохладных и чистых русских городах.

А потом на пути — новый город. Пестрота утомляла. Иногда казалось, что нужно где-то остановиться, пожить

подольше. Иногда хотелось к себе, в деревню, чтоб поразить деревенских рассказами о своих приключениях, дорогах. И он вернулся — то было роковое, последнее возвращение. С тех пор стал видиться с Катей. Встречи начались незаметно. Он расставлял перед ней свои рисунки, альбомы и ждал восхищения. Катя закатывала глаза, смеялась и восхищалась. И он привык к Кате, как привыкают к чему-то поддававшемуся, живому — пусть это будет кошка, собака, зеленое дерево или комнатная геранька. Но шли дни, и встречи у них стали другие, и теперь Катя в его присутствии всегда затихала, становилась молчаливой, поникшей, как поклеванная травинка. И чем больше она молчала, терялась, слушая его рассказы, тем сильнее надоедала и вскоре совсем надоела. Он стал ее стыдиться. Вечный запах молока от нее, коровьего пота — и не выдержал, поссорился с ней, обидел. С тех пор она всегда проходила мимо. Но пусть не смотрит и пусть проходит. И опять последние слова поднялись в голове: о наследнике, о приданом, о его доме. Стало обидно... Только одно, только одно у них на уме: зачем дом развалил, зачем Катеньку бросил? И Степан муженек такой же: продай дом да продай! Неужели какой-то дом несчастный дороже его таланта? Неужели какие-то бревешки ценнее?.. И он опять сейчас возненавидел свой дом, как злого надоевшего человека. Он оглядел стены, прищурился: «Вот возьму когда-нибудь и спалю все добро. Пусть узнают Китасова, пусть узнают Китасова, пусть узнают!» И нехорошо усмехнулся.

...Сигарета кончилась, но вставать не хотелось. Голова еще жила в этих снах и туманах. Хорошо бы искупаться в реке. Еще бы лучше прилечь на песок.

Он очень любил реку, еще больше любил приходить на берег, и эта любовь жила в нем с рождения. В каждом городе он искал, находил реку, и этот приход к ней был как праздник в его больших и малых дорогах. Все они были разные, эти реки, как люди: по одной плыли могучие пароходы, по другой шныряли маленькие рыбацьи лодки, а были и такие речки, которые походили на ручьи и протоки, в таких речках все дно выступало наверх, а берега зарастали жирной осокой. И вот сейчас, вспомнив об этих речных затонах, Вене мучительно захотелось к реке, чтобы глотнуть густого свежего воздуха, искупаться, стряхнуть с себя привычную злую усталость, которую

привозил каждый раз в деревню. А теперь эта усталость увеличилась от воспоминаний, от недавнего разговора с Анной, от ненависти к этому постылому дому. Нет — скорее к реке...

VIII. ЧУДЕСНЫЙ КЛАД

И Веня собрался к реке. Опять нужно проскользнуть возле дома Клементьевых — не дай бог увидят. Но лавочка возле ворот пустая. Облегченно вздохнул, но через секунду насторожился: из Аннинных окон доносились странные звуки, будто мяукали кошки. Остановился, прислушался, но это была гармошка. Потом ее перекрыл мужской голос. Голос был горловой, недовольный. Веня сразу узнал его. Он принадлежал Михаилу — старшему сыну Анны. На этот голос наслои́лся другой, тонкий, протяжный. Его тоже сразу узнал. Только у Дуси Гонцовой был такой тонкий искренний голосок. Она была чужая, приезжая, поговаривали, что разошлась с мужем в дальнем городе Курске, сбежала от горя. Дуся встала ото всех на особе, красивая, добрая, с длинными волосами, такими белыми — не то снег, не то молоко. Когда приехала, то все подумали, что в школу послали учительку, но Дуся пошла на ферму. Здесь ее и подсмотрел Михаил, и сразу посватался. Дуся подала надежду, но жить по-хорошему они не могли, потому что жить пока было негде. Сама Дуся поселилась у одного старичка, Ивана Митрофановича. У того в доме — кухня да комната, где тут молодым да здоровым? А в свой дом Михаил вести опасался: отец больной, да брат — школьник, да сестра тоже невестится, да мать, — куда тут? Все собирались сделать прирубок, но так и не собрались прилепить боковуху. Но главное дело: хотелось парню пожить отдельно, чтоб во всем — на свободе, на полную грудь...

Веня затаился, прислушался к ругани. Как не прислушаться — так сильно кричали, да гармонь пищала нехорошо. Михаил трубил громче всех, потом подговори́лась Дуся, потом Аннин голос поднялся до потолка, но быстро утих — видно, грозно заглядел на нее сын. И опять мужской голос подавил всех, как будто вошла в затон гордая щука, а мелочь вся — в камыши. Веня подумал: наверно, Михаил ругал мать за то, что не сторговала дом

у соседа. И Веня усмехнулся: ведь сосед-то он сам и есть. Ну, пусть покричат. И зашпешил на берег.

Река возле деревни большая, с прозрачной водой. Возле нее не успели еще понастроить ни заводов, ни комбинатов, и вода катилась светлая, как в роднике. По берегам сидело всегда множество рыбаков. Но чаще других бывал здесь с удочкой Клементьев Степан. В своей болезни он позабыл все развлечения, оставив одно — рыбалку. Садился с удочкой возле дорожки, по которой шли люди за водой, с бельем или просто чтоб искупаться. Странное дело, дома был молчаливый, угрюмый, а на рыбалке — как подменяли: вступал с каждым в беседу, даже шутил и развлекал шуткой, и в это время зрочки блестели, как яркие смолки, и всем казалось, что возле воды ему легче. Степану и было легче.

Уважали его в деревне даже больше, чем Анну. Служил он на двух войнах: на финской и на самой последней. Участвовал во всех главных сражениях, но миновала его смертная роковая пуля, прошла мимо. Правда, однажды его привезли в госпиталь с пустяковым ранением в живот. Конечно, живот — серьезное дело. Но хирург сказал, что пуля пробила только мягкие ткани, потому пробойну зашил быстро, поштопал слегка — и айда, солдат.

Говорят, шутник был большой. Всю войну прошел с шуточкой, с прибауточкой — они и помогли вынести фронт. Вернулся домой такой же веселый, громкоголосый. Говорили про него: видно, набрал там вторую силу. Кому, дескать, фронт — могила, этому — отдых, курорт. Но через полгода вдруг заболел. Тот же живот. Врачи районные признали, что рану в полевом госпитале обработали плохо, она и подала голос. Так и не пришлось пожить человеком: боли в правом боку, слабость, дрожат руки-ноги. Эти же врачи вдруг признали, что у него болит печень. Еще не лучше! «Господи, господи, куда я попал», — ворчал Степан про себя и замирал от боли. И только зимой, в сухие морозы, боль отступала немного, чтобы в сырой, мозгловатый месяц схватить опять по-солдатски невидимой мертвой хваткой. «К добрым-то людям все больше и льнет», — говорили про него в деревне; но что в словах?.. Пока лежит, сидит на кровати, вроде нет боли, а встал да пошел, так и рвет правый бок. Живот затронешь, а кожа в том месте вроде не слышит пальцев. Особенно ночью. И в эти часы казалось, что дело его совсем на край вышло — горе

кругом и горем покрыло. Бывало, что и уснет, но вскоре проснется от жуткой боли, от страха, покажется вдруг, что тело режут, секут ножами,— и кричать бы теперь, а не закричать. Во рту стоит не то слюна, не то горькая вата и стягивает, сжимает щеки. Степан не верил, что болит одна печень. «Поди, Нюра, я весь трюхлявый, поганый»,— но жена только улыбалась для поддержки и посылала в аптеку за травкой.

Травки помогали, но ненадолго. Стоило похлебать жирного супа или попросту пообедать в охотку, и его сразу начинало тошнить, и опять живот коверкала последняя предсмертная боль. Сердце тоже болело. Теперь он обещал всем: «Я уж не жилец, я уж в домовину гляжу». Столько страдал, что стал обузой семейным. Вот и уходил с глаз долой, на реку. Да и другая причина гнала — у воды боль утихала или казалось, что утихала. Вот и привязался к рыбалке.

И другая страсть засела в Степане — говорить в глаза всем правду, одну только правду. Да не просто говорить, а резать нахально: «Вот она, правда-матка. Вот она, наша родная. Нате — глотайте!... А с меня что — раз гляжу в домовину». И еще любил разыграть человека, потешиться над его грехами. Сидел он всегда у дорожки, чтобы больше рядом проходило народу.

За свою жизнь привязался к людям. В последнее время был механиком в мастерской, а до этого был бригадиром и на любом месте работал простодушно, без хитрости, как-то стойко работал, не стонал и не хныкал. Но болезнь оторвала совсем от колхоза, он и занялся рыбалкой. Посидит на берегу — и болезнь вроде отступит, но ночи есть ночи. Особенно тяжело на рассвете, когда у доброго человека — настоящий полезный сон. На рассвете и приходили самые злые думы, самая злая боль кидалась по животу. И в этой предутренней рани, когда все кругом спит — дома и деревья и вся семья его,— он явственно слышал, как в животе вился, подпрыгивал отчаянный червячок — его боль. Он не смерти боялся, а боялся втравить детей в горькое сиротское дело. Зато дети росли здоровыми, рослыми, как на диво. «Все мое здоровьишко — в ребятишках, из меня вытекло, в них втекло». Старшего сына Мишу надо было женить — засиделся; средняя Катенька тоже невестилась, бегала в клуб — и платье ей к празднику подавай, и сапожки достань, пожалуйста,

а без денег ничего не дают. Только младшенький Коля не очень тревожил его с расходами. Коля — последний за-скребышек. Но и с ним горе случилось: повадился покупать книжки — одна дороже другой. И большой начался расход. А Степан получал только пенсию, и потому сердце его билось, страдало — не могло вынести, что в семье есть заплаты. И эти заботы никогда не оставляли его...

Веня спустился с горы по дорожке. И сразу набрел на Степана. Деревня маленькая, везде — свои. Увидел его еще издали и хотел повернуть обратно, но побоялся выглядеть трусом. Да и Степан уж заметил. Веня его боялся еще сильнее, чем Анны. Но теперь уже поздно — Степан поднял глаза на прохожего:

— Здорово живешь, Венушко! Приехал навестить домишко? Чё он, стоит, не падат?

— Стоит, стоит,— тихо ответил Веня. У него сразу осели щеки. Сразу донял — Степан замучит.

— И долго простоят твой домишко? — Рыболов улыбается.— Ну-ко садись, расскажи, как в городе водку пьют, больше-меньше нашего или как?

— Не знаю, мне быстрее надо,— отмахивается Веня и хочет обойти его.

— Обратно-то приворачивай, новость есть!

Веня замирает, прислушивается: что за новость! Но потом решительно поднимает голову и проходит.

Вот и пляж с рассыпанным песочком, здесь Веня раздевается и заходит в воду. Испытав первый сладостный миг купания, садится на песок и задумывается. Ему почему-то тревожно. Но потом тревога проходит, да и хорошо помогает вода. Он заплывает теперь далеко, ложится на спину и так лежит, качается на волне. Какая радость, как кругом тихо,— плыть бы и плыть! И он плывет, качается, нежится — как спокойна вода, как ласкова,— и уже ему чудится, что не в воде он плывет, качается, а на каком-то мягком туманном облаке плывет, качается над землей. И над ним тоже — облака, облака, только где-то внизу, далеко внизу, стоят деревни, домишки и целые города, и такие они смешные, маленькие с этой большой высоты, что и думать о них не хочется — лишь бы вечно держало на себе мягкое облако, лишь бы вечно дышать, блаженствовать в этой радостной вышине. И может быть, долго бы ему еще так радоваться, так душе его властвовать над

всем далеким, земным, если б не пронеслась над ним пугливая озерная чайка, громко хлопнула крыльями, пикнула и выронила из хвоста перо. Оно закружилось, задержалось в воздухе, а ведь ни ветра нет, ни передвижения воздуха — видно, совсем легкое, слабое это перышко, само себя испугалось. Веня засмотрелся на него, и стало тревожно, — он повернул сразу к берегу.

Обратно идет мимо Степана.

— Давай причаливай, Венушко! Хочу сообщение сделать.

И Веня не может устоять. Томит любопытство, хоть и ненавистен Степан. Радость от купания ушла, как и не было.

— Венко, отец твой велел за тобой приглядывать. Я ведь тебя уважаю маленько, надо поболе, да время нет, — начал он с простой шутки. Она вышла свободной, совсем не обидной.

Веня насторожился.

— Люди с отцом вы добрые... Пока спите, дремлете. — Последние слова Степан произнес про себя, как ворчание. Про свою удочку точно забыл. — Значит, ждешь от меня секретов. И они будут!

— А не будут, так уйду, — рассердился неожиданно Веня, и на шее задержался кадычок, глаза сразу налились темным.

— Секреты нехорошо выбалтывать, чё нам твой батя скажет? — усмехнулся Степан.

— А ничего...

И снова он усмехнулся:

— Рыбка теперь худая. Куда-то крупна ушла. Ты не знашь куда?...

— Я сообщенья жду! — опять вспылil Веня и приготовился уходить. Он уж сделал шаг в сторону, но опять оглянулся.

— Больно ты доверчивой, Венко. Да ладно, не обижайся, не взбуривай. Я — человек больной да изробленной. Чё скажу — поди, и неправда.

— Да ты не расстраивайся, а говори, — смягчается Веня.

— А мне и нельзя расстраиваться. Как расстроишься — так и приступ. Вот и сижу с удилищем. Тут не расстроишься. Да рыба не та. Река-то измелела, ушла целиком в песок. По-прежнему-то — куда там? Бывало,

Нюра закажет: «Ты окуньков принеси на варево, да на пирожок пару щучек, да на жарено покидай белой рыбки». Посидишь часок — и уважена благоверна. Да сверх того покидашь в ведро.

Веня покашливает, но Степан не слышит.

— А теперь и что — утро высидишь, полдень высидишь, а ведрок стыдно казать. Вот и толкаешься тут для здоровья. А оно то ли будет, то ли забыло. Смешно живем, помрем серьезно... Боль-то, Венко, не отпускает меня. Пойдет с малого — как резиночкой от трусов нарежет, а потом как дернет, укусит...

— Новость-то позабыл, — смотрит Веня ехидно и прямо в лицо.

— Не понужай лошадей, не покормлены... Ты в огороде своем не находил ничево? — Теперь уж Степан смотрит Вене в глаза.

— Не находил, — отвечает тот встревоженным голосом, будто его в каком-то воровстве уличают и сейчас надо дать отпор.

— Не находил — тогда слушай. Отец твой в огороде ящик зарыл. Я подглядел случайно — живем-то рядом. А в ящике том чево? Ну-ко, сам догадайся? Зачем зарывать бы? Да ящик...

— Ничего он не зарывал!.. — кричит с раздражением Веня, но рыболов улыбается, знает: раз кричит парень, значит, увяз уже в разговоре.

А у Степана — прямая цель: каждый раз при встрече нападает на Венушку, «давит из него сало». И верится ему, придет час, и Венушко покорится. Степан упорно ждал этого часа. Ждал и сейчас.

А Веня ушел в себя, присел возле удочки и опустил низко голову. Может, и правда отец зарыл вещи?.. У матери было кольцо золотое с дорогим синим камушком. Где оно? Брошка была такая же, еще оставалась от бабушки. Где она — та брошка старинная? Была посуда китайская — розовый тонкий фарфор. Да мало ли что! На Север отец, конечно, не взял. Куда с этим стеклом на Север? Хорошо бы это добро разыскать да продать. Какие бы деньги можно выручить по-теперешнему да поехать куда-нибудь. И Веня вдруг размечтался. Лицо посветлело, и это сразу заметил Степан.

— Хитер-бобер твой Геннадий. Посмотри, говорит, за сыном, я тебе за то посылочку вышлю. Посылочка и те-

перь спешит, меня потеряла.— И он скорбно покачал головой, а глаза, наоборот, налились озорным и веселым.

Но Веня не заметил той перемены, потому что весь потерялся в своей мечте.

— Надо бы огородчик, Венко, перепахать. Может, и выпашем? — предлагает рыболов неожиданно и смотрит на Веню в упор. Глаза уже не смеются, серьезные, одно веко все время дергается и отвлекает на себя.

— Чем пахать-то? А если не выпашем? — сказал тихо Веня и закурил. Взглянул на воду, и показалось, что в реке этой тоже где-нибудь лежит клад. Мало ли люди бросают?

— Ты поручи мне. Мишка трактор пригонит и всю твою зябь поднимет, а ящичек — тут как тут.

— А если пахотина пустая? — вдруг сомневается Веня. Что-то тревожное мелькает в глазах.

— Зачем пустая? По весне засадим, а теперь отдохнет земля. Может, продашь огород-то? Зачем тебе? Коноплю разводить? А мы засадим...

У Вени краснеют щеки, кадычок начинает дрожать, перекатываться, и голос выходит хриловатый, сердитый, как будто скребут в горле щепочкой. Это от волнения, от злости на свой домишко. Опять дом ставят выше его. Но Веня еще сдерживается.

— Вон куда. Сперва огород продай, потом дом продай,— смеется грустно, со значением Веня и покачивает головой.

— А мы за все тебе — деньги, денежки... В городе — чево? Пригодятся!.. И у Мишки будет свой угол.

— Нет, не продам ни то, ни другое,— отвечает Веня со злостью и жадно курит. Хочется повернуться, уйти, но какая-то надежда томит и держит.

— Ну ладно, остынь, передохни. Ты нам не чужой, сговоримся. Мы с твоим отцом в бабки играли, в шаровки. А теперь сынку его помогу.

— А не боишься отца расстроить? Ящик-то найдем, а он потом спросит, кто на след навел, а я скажу: дружок твой, Степан Клементьев.— Теперь уж Веня на высоте, брови вздернуты и глядит в упор.

— Нам не страшен серый волк! Так ему и надо, раз не выслал посылочку.— Степан смеется нехорошо, обна-

жая желтые десны. — А другое дело: умру я скоро. Пожить бы, да смерть в зубы не смотрит.

— Поживешь еще, — улыбается Веня, и не поймешь, что в улыбке: сочувствие или злость.

— Кого уж? Слезешь с печи, а ветер встречи. Скажу тебе честно-добросовестно, Вено: не дети бы — давно б ушел в Могилевско. Дождаться б хоть Мишкиной свадьбы, а там уж: до свиданья, города и хаты... Пустил бы ты их, Венушко, на квартиру. Ну хоть бы временно? Они б тебе весь огород перерыли. Никуда бы наш клад не делся.

Веня смущен, подавлен. Он чувствует, что Степан таит хитрость. И вот уж петлю спешит набросить да затянуть потуже — и тогда уж никакая сила не порвет пути, но и в другое тоже хотелось верить: может, в самом деле лежит тот ящик в земле. И Веня начинает посвистывать. От сильного волнения он часто посвистывал, чтоб выровнять и сосредоточить мысль. И это иногда удавалось, потому и свист его возникал неожиданно, помимо воли хозяина, по привычке уже. Вот и сейчас из зубов вырвалась грустная матросская песенка и набрала разгон. Так же быстро оборвалась. И он спросил тихо:

— Ты не водишь меня, дядя Степан?

— Зачем водишь? Послушай. В городе у тебя общежитие, крыша. А здесь у тебя — квартиранты. Денежки с них будешь брать-собирать да добра наживать.

— Значит, наврал про клад? — говорит Веня устало и почти без обиды. На обиду нет уже сил.

Степан резко дернул удилище, вытащил рыбку. Опустил с крючка и зачем-то дунул под жабры:

— Не та попала..

— Зачем дуешь? — удивился Веня.

— Примета есть... Знаю, Венко, ты человек не злой, мать хороша была. А что горденький — ничево! Ветерок-то обдует. Материно-то в тебе передолит однажды. Да и мы поможем — деревенский народишко. — И опять глаза налились веселым, и не поймешь, то ли шутит, то ли серьезно.

— Не надо, дядя Степан, не те слова, — говорит Веня устало. На душе опять смутно, тревожно: нет, не напрасно, видно, вилась над ним эта озерная чаечка — какая-то ждет беда.

— Пустил бы Мишку с Дусей-то?.. Сам бы приезжал как на дачу. Дуся бы постирала, постряпала то, друго.

Да и деньгами бы поплатились — не жадны ведь квартиранты...

И Веня снова подавлен. Степан теперь напоминает жену свою, и у Вени начинается такая же злость на него, как на Анну.

— На квартиру я не пушу! Не пушу! — Голос дрожит опять, осекается, и кадычок прыгает, бледнеет лицо.

— Ну, вот — чё почему? Они жо оплатятся, оба робят. А то смотри, голова! Сильно Мишку на тебя натравляют — узу да узу. Он возьмет да укусит.

— Не страшай!.. — И голос на крик переходит, а на душе еще тяжелее.

Он видит сейчас, убедился, что Степан водит и водит его, как дурачка, как больного. В городе научили Веню, что на квартиру нельзя пускать, что дом лучше всего держать под замком. А введешь квартирантов, потом не выгонишь. Посади, мол, на колени бабенку — она и за шею сохватится. Так и квартиранты. Пусти — так они хозяина выметут да пропишутся, вот и все. И Веня решительно повернул голову, но Степан уже опередил:

— А ты, Венко, обдумай, не торопись. Ты молодой, недорослой — сквозняк в голове. Ни ты, ни мя, а рубишь с плеча. Нашто тебе этот домишко?

— Полегче, полегче. Не домишко, а дом, не ты строил, не тебе обзыватьсь, — снова сердится Веня и жадно курит. Три затяжки — и нет сигаретки. От дыма поламывает в голове, в горле сухо, нехорошо. Опять бы в воду, нырнуть да поплыть.

— Нашто он тебе? — опять повторяет вопрос. — По городам всяким ездись, от колхоза отбился, поди, и лошадей не завести в оглобли, давно уж на чужой стороне? Вот и спрашиваю тебя: зачем лишнее бремя на тело? Деньги бы помиле. Тоже были молоды, понимаем весь вопрос.

— Не нужны квартиранты! Отстань ты! — совсем уж озлился Веня. Он давно бы ушел, убежал бы, но все еще думает о том ящике: вдруг есть какая-то правда, хоть и маленькая? И он сидит и ждет подтверждений, но Степан все о том же:

— Не нужны квартиранты, совсем продай да возьми добры денежки. Не постоим из-за них, не заспорим. У Михаила накоплены, и Дуся добавит. Вместе сложат да тебе же на стол положат. Открывай, король, банку!..

Веня покачивает головой: чего боялся — то и случилось. И Степан и Анна — одна музыка: продай да продай.

— Не продам, дядя Степан. Дом самому понадобится.

Веня пробует заговорить спокойным и мирным голосом, Степан удивленно поднимает глаза. И сразу глаза эти смягчаются, покрываются влагой, и самого не узнать его. На какой-то миг стало жаль Венушку: «Что-то ждет его впереди в какой-нибудь глухой неожиданности. Поди, не ждет ничего хорошего — пропадет в своей гордости, в облаках. Тогда зачем не любить его, горячиться, раз и так совершается над ним суд судьбы. Он не знает еще, не чувствует, а совершается. И скоро вся его гордость — в прах. Но скоро ли?» Сразу вспоминается его отец, с которым столько лет назывались соседями, вспоминается незабвенный родной Степанушка и то половодье по ранней весне. И это воспоминание совсем мучит его. Он смотрит на Венушку, и горько ему, печально. «Чево они спорят, ругаются, взять бы да поплотней содвинуться, зажить бы добром». И своя Катюша — сразу в уме. Она и до этого в голове была, но он просто спрятал ее, отодвинул на время, а она сама вот взяла — передвинулась, и весь страх ее положения, все мучение душевное передалось опять и ему, отцу... «Как это с ней случилось, как это началось у нее и почему с Венком все началось? Неуж не увидела его гордости, зачем сразу в огонь полетела, зачем?..» А за этим пошли и другие вопросы, совсем больные и страшные, их бы даже словами не выразить, ни в самой отчаянной речи не огласить. И что слова?! Когда кровь вся кипела, перекипела, и уж большего горя на свете не было. Только одно терзало его еще больше, настойчивей: «Может, дочка еще любит, жалеет его? И может, вернется когда-нибудь он к своему человеческому, может, вся гордость его, вознесение — лишь тонкая пленочка, лишь первая кожа у змейки, вот время пройдет — и треснет, опадет эта пленочка, и окажется под ней доступный живой человек?.. И если б не это — надежда ли, вера ли от рожденья в хорошее, — он бы давно уж совершил свой самосуд за Катеньку, совершил бы над этим смешным и лохматеньким. Или бы в самой последней крайности — обходил его, сторонился... Но вдруг она любит еще, вдруг ее магнитом к нему приковало, вдруг уж легче в могилу, чем отпустить этот страшный магнит? И если б не это,

если б не эти вопросы, еще никем не отвеченные, разве он торговал бы дом у него, разве бы лез с разговорами? Бог с ним и с домом — жаль, конечно, земли и строения, но за жизнь и не то пропадало». Просто ждал он от этого Венушки каких-то внезапных хороших слов, внезапного дорогого признания: «Нет, не продам я дом, отвалите! Потому что женюсь, потому что сынок уж у нас с Катюшей загадан, потому что жена моя — Катя Клементьева. И что вы пристали — ваша же дочь!» Какое было бы удовольствие, радость какая! Иногда уж казалось, что он произнес эти слова, и тогда не было для него никого краше Венушки — пусть упрямый да долговязенький, пусть пьянчужка немного, зато свой да родной. Но не было этих слов, не дождались еще. И плакала по ночам, убегала в ограду Катенька, прятала глаза свои Анна, бодрилась напоказ и намеренно, бывало, и похохатывала — но лишь бы горе поверх не выскочило, не пошло через горло, не захлестнуло. Но он все верил, все хотел угодить Китасову, потому и подметал возле ограды его, потому и вставлял в рамы живые стеклышки, потому и дом его караулил от пожара и хулигана. Вот и в огороде захотел вспахать хитростью — земля-то уж остывает, томится по человеку. И все ждал от Вени того признания, ждал и сейчас. Но Веня не слышит его мыслей, увлекся природой, Он даже смотрит теперь в другую сторону, посасывает сигарету. И вдруг поднимает брови в какой-то внезапной решительности и сразу становится похож на полевого зверька.

— Нужен мне дом, дядя Степан! Сейчас нужен и всегда нужен!..

Степан сразу переменился. Глаза светлеют и упираются в леску, но та выгнулась по течению, не шелохнется. Но глаза и не видят леску, он весь — внимание, ожидание. Может, сейчас и скажет он про его Катеньку, может, вот он надвинулся, тот желанный час. Но Веня замолчал, отвернулся. Ну, что ж — нелегко ему, раз пожелал объявить про женитьбу. И Степан лезет с шуткой, желая помочь, убавить волнение.

— Ты, Венушко, не сомневайся. Таку деньгу за дом положим — в карман не войдет. И будешь не Венко, Венушко, а сразу привет тебе, Вениамин Геннадьевич! Как здоровье да как поживам? — И он засмеялся тихонько, вымученно, прикрыл ладошкой плохие зубы. Сошлись

щеки в складки — глубокие больные рубцы, а глаза косятся на Веню. Ждут, напряглись.

— Надо мной, что ли, ржешь? — встрепнулся Веня и посмотрел под ноги. Ничего подозрительного не увидел. Степан сразу увял, и погасла опять надежда, и обиду уж не сдержать ему — так и рвется.

— А хотя б и над тобой смеюсь, Венко! Один, што ли, я? Вся деревня надцелась. Ну, кто ты? Кто? А вот кто. Скажу наедине тебе, контрабандой — турист ты, человек легкой, проезжий. Скотинка молода, да комола... А жалко тебя. Хоть и высоко ты глаза задрал, да как бы опустить не пришлось. — Щеки у него снова сбежались в гармошку — это от боли и утомления. Но Веня точно не слышит его, он тоже устал. Потому говорит таким же усталым голосом:

— Ты не учи меня! Вот поезди с мое, испытай. И дом не продам тебе! Я рисовать здесь буду. Сам прибежишь поглядеть... Я тут мастерскую открою!

— Вон дочка моя уж добежалась. Досыта нагляделась на твои картинки. А может, не нагляделась еще? Как сговорились-то?

Но Веня молчит, да и Степан сердится на себя, что вырвалось о самом больном. Не за удочкой о том говорить. Да и Вене надо начинать первому: от него ведь зависит, от него одного. И Степан спешит отойти назад. Говорит о другом:

— Все мы, Венко, на этом свете — туристы, проезжие. Только кто куда едет. Большая в том разница, Венушко. Можно всю землю объехать да приехать с пустым. Можно на одном месте сидеть да нажить большу душу. Да ты не поймешь... Ты ведь у нас гордячок да всех лучше. — И опять Степан не сдержался, очень уж было обидно за дочь. Вот они тут сидят да балакают, а она, поди, снова в амбар убежала, ревет. И у Степана опять чуть не вырвалось какое-то горькое и больное слово, но Веня его перебил:

— Хватит мне доклады рассказывать, я по-вашему жить не хочу... — И покачал головой с насмешкой, стал ковыряться в песке. Насыплет холмик песчаный и сразу разрушит, потом снова насыплет.

— А пошто тогда деревня над тобой хохотала, а теперь уж хохотать перестала, махнула рукой. Ну што ты за человек, Венко? У человека есть душа, ответственность,

каки-то берега означены, а у тебя какие берега? Ты, говорят, даже в цирке прислуживал...

— Давай выбирай слова!..

Но Степан как будто не слышит, перебивает:

— По городам, говорят, ездешь — заездился. А зачем? Поди, республику инспектируешь? — Степан закрыл ладонью улыбку.

— Ездил и буду ездить! Все лучшие люди ездят да смотрят. Это вы тут в навоз зарылись... Ни одного знаменитого из деревни не вышло.

— Кто лучшими-то назвал? Мы с тобой, что ли? А смотрят кого? Работать надо, а не смотреть. — И Степан круто вскинул глаза. — Ты кем на стройке-то?

— Подсобником, а чего?

— Невелика работенка, Вениамин Геннадьевич. Твои ровесники в инженерах да повыше летают, а ты все с железной лопаткой. Ей много не накидашь.

— На что намекаешь? Смеешься?..

— А как же, человек молодой! Такой дом запорожил, такое место гноишь... Сгубил наше понятие.

— Ну, хватит! Где ящик-то? — усмехнулся Веня. И в той усмешке он все сказал: и усталость от разговора, и то, что не верит Степану, и то, что давно презирает его.

Взметнулась вверх удочка. Сверкнула рыбка серебряной ниточкой. Степан кашлянул.

— Ну, ладно, Венко, скажу, а дальше куда? — спросил тихонько, прищурился. — Куда деньги-то? Опять на вокзал?

— Я бы купил кое-что, — улыбнулся Веня и закурил. Мелькнула надежда: верить — не верить?

— А чево? — Степан даже повеселел.

— Барахолка в Кургане большая, я бы уж походил по рядам! По-хо-дил!.. — Веня рассмеялся, в глазах вспыхнула радость, а лицо, наоборот, побледнело.

— По рядам, говоришь?.. — покачал головой Степан, погрустнел. Достал папиросу. — Не высоки потолки ваши, Венушко, не в тех рядах ваши покупки... Ну, ладно, по рукам — и закончим: ты мне дом с огородишком, а с меня — деньга! И бежи за пол-литрой...

— Все шутишь, дядя Степан, — сказал Веня усталым и дрогнувшим голосом и стал пересыпать песочек из ладони в ладонь.

Степан ничего не ответил. В голове его началась глухая отдаленная боль, и в животе тоже проклюнулся червячок — ожидай теперь бессонную ночь... Вот и поговорили. Нервишки — ни к черту, как жить-то, зачем?.. Решил проверить еще: зажмурился, послушал себя, — но боль не прошла. И тогда затянулся полной затыжкой с отчаяния, папиросный дым смешался с дыханием — и сразу же пришла жалость к себе. Так сильно еще никогда не жалел... Да и как не жалеть-то, если весь он езженный-переезженный, поди, и война тут сказалась, и потом была жизнь всухомятку, и большая семья тянула, крутила все жилы, кишочки, — и, поди, все горе, заботы собрались теперь в одном кулачке да под дых и ударили, и заныл, заболел живот. И што поделать — раз не берегся. А вот сидит перед ним этот Венушко, и ничево ему в душе, в теле недорого, и нос уж давно задрал и вознесся, и жизнь уж особу какую-то выдумал, — и гордится, и презирает всех, а больше всех не любит его, Степана. А с Катенькой-то как поступил, что вытворил? Да и жить-то теперь как после этого... И снова жалость к себе, новая жалость прихлынула, затопила... «Скоро останется он совсем один-одинешенек. Больной-то кому нужен? Да никому!..» — еще бы долго так думал, но посмотрел на соседа. Веня сидел тоскливый, поникший. В Степане шевельнулось что-то тайное, что-то дрогнуло и закричало в нем полным голосом: поди, парень-то сильно обиделся из-за этого ящика, как бы руку не наложил на себя, нынче хлипкий народишко. И сразу заговорил с ним другим, мирным тоном:

— Жениться не думаешь, Венушко?.. Да ты не дуйся, за всяко просто я. Не хочешь — не говори.

— Жена свяжет, — ответил Веня тоже спокойно и даже не повернул голову.

А Степан стал корить себя, что спросил про женитьбу. Сразу же Катенька в глазах поднялась, сразу же прихлынула к голове тяжелая и больная кровь: какая уж женитьба ему, когда с дочкой так поступил, да пусть земля сама под ним провалится, зашатается. И опять не может сдержаться Степан:

— Кто гонит-то летать с места на место? Поди, и нашим нужны подсобники. Еще и у нас, быват, с лопатами ходят, с грабелями. Да и бабы на ферме все делают рученьками. Все смучились да замучились. Вот бы помог

нашим бабам, а они б тебя за это подстригли. — И Степан рассмеялся, но Веня брови поднял, заходил кадычок:

— Что хохочешь? Подымусь да уйду...

Но Степан ухмыляется, он уж оправился от своей тайной жалости, прицелился глазом на леску.

— Не хохочу, а всю правду скажу. Честно-добросовестно отвечу тебе: нужны, нужны сильно в колхозе подсобники, а вот туристы да волосатики, извини, не нужны. И сам смеется опять, остановиться не может, и смех этот на кашель похожий.

— Хохочи, обзывайся, — голос у Вени твердеет и наливается, — ездил и буду ездить! У меня талант, я художником стал, а вы тут кого...

— Не художником, а подорожником, внесу малу поправочку. Они, поди, люди грамотны да народные, а ты кому помог на чужой стороне? — И опять он посмеивается, и теперь смех его злой, очень злой.

— Эх ты, чужа сторона... — укоризненно качает головой Веня и даже сочувствует немного Степану — ничего-то он, мол, не знает, не понимает, заживо тут загнил на колхозных назьмах. А тот вытащил окунька. Рыбка маленькая, совсем малек. Спустил его в воду — малек застыл.

— Ишь ты, подарков ждет! — усмехнулся рыболов и подтолкнул вперед рыбку.

И опять взвизывает удилище. На крючке сейчас — крупный чебак. Степан доволен.

— Ребятишки купаются, песочек подняло — и рыбка пошла. Вон оно што. Не худо б и тебе, Венушко, свою жизнь взмутить, приподнять весь песочек, чтобы рыбку свою поймать.

Не понимаю...

А чево? Найти надо занятие. А картинки тебе рано писать — человека не любишь... И отчишке твоему не мешало. Тоже добрый бродяга...

— Отца не трогай. Сын отцу — не товарищ...

И Веня заглядел на Степана решительно и в упор, и тот потупился, стал задумчиво разглядывать что-то повдоль реки, про удочку позабыл. А Веня пошел на последний, решительный шаг, но начал все-таки ласково, с хитрецей. И эта перемена сразу поразила Степана. Он мучительно сморщил лоб, чтоб ничего не пропустить, не прослушать.

— Хватит уж,— сказал Веня мирно.— Лучше скажи, где отец зарыл ящик? — И посмотрел своими большими умоляющими глазами, кадычок напрягся, чуть не проколол кожу.

Веня весь ушел в ожидание, от разговора устал... А жара теперь стала стихать. День вступал в ту пору, когда в природе все засыпает в тихом, радостном полусне. еще не вечер, но уже не день, и эта неопределенность особенно приятна и хороша. В такой час любо-дорого приземлиться где-нибудь на полянке, порисовать. И если б не этот ящик, в который теперь уж почти не верится, Веня давно бы ходил по лесу. И вот кончилось ожидание.

— Не могу сказать тебе, Венко, убей — не могу. Не знаешь ты кладом распорядиться, значит, и все. А если отец пронюхат?

— Ерунда,— добавил тихонько Веня, но Степан с сомнением покачал головой.

— А надо ли обижать отца-то? Его и так бог обидел, такой бабой попутал. На его месте любой бы плакал, ревел, по ногам бы возненавидел эту бабеночку, а он — ничево, живет...

— Почему отца-то жалеешь? — перебил его Веня, взглянув в упор пронзительным взглядом. И вдруг добавил с какой-то шальной решительностью: — Из-за отца ведь погиб Степанушко. Не простоял бы на берегу-то — и не утонул бы Степанушко. А ты жалеешь его... — И опять посмотрел Веня в упор. И странные были глаза у него — очень злые, таинственные.

Но Степан выдержал этот взгляд. Даже спокойным остался, даже снова заговорил:

— Ты у кого выяснил-то, любезный следователь? А хоть бы и правильно выяснил, не тебе — мне судить в первую голову. И может, судил я, может, допрашивал отчишку твоева. Только спасли его раны, фронтовая кровь дорогая. Ведь войну прошел твой Геннадий, войну... И вот што томит меня, Венко: как это, ведь войну прошел и кровь там оставил, а после по длинным рублям ударился, на любу халтурку согласен?.. Как это? Объясни мне? Раз такой умный, высокий. Молчишь? А Геннадий мне и сам объяснил: хочу, говорит, сперва «Жигули» купить, потом на дом каменный соберусь, потом... Што потом — забыл уж я, што потом. Только понять никак не пойму, Венко,

неуж в ключике от машины самый ключик счастья находится?.. А сынок што? Сыночек Степанушко — счастье мое и злосчастье мое. И не твоим языком трепать его имя... И отец твой еще за него ответит, перед собой ответит. Может, спасет его еще мой сынок, обратит в человеческо...

— Хорош поп! А слова-то какие! Слова-а!

И засмотрел на него Веня ехидно и в то же время словно бы мимо смотрел. Так и было — словно бы мимо смотрел. Потому что не заметил он крупных слез на лице Степановом, проходили мимо него эти слезы. Не заметил он и печали в глазах его, такой тугой печали, ошеломляющей, что любой другой бы вздрогнул при виде ее и не смел бы дышать. А Веня опять откинул с вызовом голову и насмешливо посмотрел на Степана. А тот продолжал тихим голосом:

— И тебя, Венко, перво время жалели. Особо как в цирке увидели, а уж потом, извини, опешили. А што прикажешь? Когда замотал своей мордой: я, да я, да милость моя. Да в поездках заездил. Ну, думам, объявился у нас свой цыганенок...

— И отец ездил. И мне нужна биография! — Глаза Венины опять засверкали сильным одушевлением, точно бы прибавилось силы в нем, бодрости, ему уж хотелось говорить без умолку, спорить, кричать. — А у вас тут кого увидишь? Что, на себя прикажешь глядеть или на Анну свою? Может, деньги возьмешь за погляд? — И еще сильнее засверкало лицо его, и задергался кадычок нервно.

Но Степан молчал, погрузился в себя. И вдруг удилище в воду упало — то ли клюнула крупная рыба, то ли уронило течением. Степан вздрогнул и снова опустил глаза.

— Что спрятал глаза — зарезало? Не любит кошка кукишку. — И Веня смеется нехорошо. — Новость, говоришь, есть? Клад в огороде зарыли? Золото домашне спрятали? — Он уж не может говорить ровно, спокойно, запыхался. Дыхание срывается. Словно побежал по длинной пустой равнине, а враги — вот они — уж за спиной топчутся да грозят. И унырнуть некуда — ни кустика, ни травинки рядом, одна ровная, жуткая степь.

Но Степан останавливает его. И голос спокойный, уверенный, а руки опять удилище сжали, глаза леску отслеживают:

— Отец твой кровь проливал, и это зачтется. А потом, повторяю, женка такая. Неуж бы хороша-то оторвала от дому, от сына родного да на край земли потащила в какие-то сыпучи снега «Жигули» зарабатывать... Нет, не оторвала бы, не потащила. Потому видит народишко наш, што она сгубит его, растерзат. А ты, Венко, по своей воле идешь на петлю. А она уж у тебя перед глазами стоит, колыбаться, а ты моргаешь да идешь...

Степан устал говорить. Теперь уж на себя снова злился немного, что не смог догадаться, — надо бы помягче с ним да поглаже. Может, и спятился бы парень назад, отмяк. Может бы, и о Катеньке перемолвились. Как-то ведь сдружать надо их, неуж все потеряно... И сразу остывает, добреет лицо его. И это так сильно в нем, явственно, что сразу этот невидимый добрый ток доходит до Вени и спускается в кровь ему. И она уж движется медленней, не кричит, не пульсирует, а сама зовет к тишине. И подчиняется Веня. И ему тоже захотелось говорить со Степаном помягче — тогда, может, и выдаст отцовскую тайну. Вдруг есть все-таки она — тайна? Может, лежит где-нибудь этот ящик — кто знает-то? Очень хочется, чтоб лежал. И он говорит спокойно, размеренно, даже улыбнуться заставил себя:

— Я про одно, дядя Степан, а ты про другое... Помнишь, как в клубе докладчика слушали. Кончил докладчик: «Вопросы будут?» — «Будут, — кричат, — будут!» — «Ну, задавайте». И вот кричат с заднего ряду. «У вас стаканчик не освободился?..» Пьяница про вино, а ты, дядя Степан, все про дом. Не продам я. И петлей не грози мне. И на дочку свою не намякивай, это дело мое.

И сразу помрачнел рыболов. И сам себя обругал за надежду минутную. И вконец рассердился:

— Не грожу я, не пугаю. Да не хозяин ты. Отец твой про совесть вспомнил да дом на тебя написал, а ты из дому уборну сделал. Поди, с душой своей тоже сделал? Кому не лень — тот и плюнет. В поездах много народу... — Выговорился и вроде спокойней.

И в этот миг выдернул удилище. На леске затрепыхалась рыбка, очень юркая, веселая, — длинный пескарик. Степан просветлел, облизнул губы и медленно опустил в ведро пескарика. Там, в ведерке, забурила остальная рыба. И этот звук, видно, был ему мил и приятен. Не-

торопливо насадил червяка, поплевал на него и забросил леску. Когда оглянулся на Веню, глаза у того горели, вываливались, и кадычок дрожал, колыбался под кожей. Он решился на последний вопрос.

— Где клад зарыли? Долго мне сидеть, выжидать? — И соскочил на ноги, крепко сжал кулаки.

— Ох, дорогой Вениамин Геннадьевич, захотел ты легких рублей. А дом один-разъедин не сберег. Сгубил все наше понятие... И положен тебе страшный суд.

Такого уж совсем не ждал Веня, не ждал. «Чтобы этот худой человечешко — да еще бы судил его! А за что? За что веревкой бьет по душе?» И опять забродило, загворило в душе отцовское: раз полезли к тебе, раз вывели — надо и сдачи дать, рассчитаться. И Веня решил дать отпор, сжал зубы, чтобы сердце не дергалось. Но Степан еще ни о чем не догадывался. Да и сам он разозлился больше того.

— Подумать только — какой дом губить! Одно, што человека губить. — Степан зло хохотнул. — Я вот соберу всех богов, да больших да маленьких, да как сниму с тебя брюки, да выдеру. Немного будет, да жалобно. У меня где-то ремень офицерский прибран. Без дела...

— Хватит права качать!.. — И захлебнулся Веня словами. Гнев слова заглушил. Кричать не может, стал сигарету прикуривать — спичка тухнет, трясутся пальцы.

Степан разогнулся, встал во весь рост. И в этом Веня увидел вызов, откинул высоко голову.

— Не ожидал, Венко, не ожидал. Спасибо на многие года.

А Веня уж слепой и глухой был в своей обиде и ненависти, как пьяный качался. И казалось теперь, омывало всю голову, что во всех неудачах его, несчастьях его виноват не отец, не сам он, Веня Китасов, не Катенька, а виноват только Степан один. И обида так сильно стянула Венину грудь, что сразу не стало воздуха. Он задохнулся, как рыба на берегу. И чтоб глотнуть воздуха, чтоб облегчить грудь, опять закричал на него. И в этом крике, в словах своих нашел облегчение, и воздух в грудь прошел и вниз, к ногам, устремился, и вот уж легче дышать. А слов все не было, не мог подобрать, они падали и скользили в сознании, вроде ухватишь — и сразу вырвутся да и Степан стоял как оглохший, теперь хоть пали из

ружья, хоть камни с горы — все равно не вздрогнет, не повернется. И это молчание, эта поза его опять вывели Веню.

— Не стой, не радуйся, все равно умрешь скоро...

Степан закрылся ладонью, а Веня стал жадно курить.

— И ты, Венко, не вечен... У всех одна остановка,— добавил Степан чуть слышно и приподнял голову.

— Замолчи! Я у тебя все удилишки переломаяю! — И вдруг наклонился к Степану всем телом, стал дышать ему прямо в лицо.— Ты про клад придумал? Сознавайся — придумал? — Никогда еще Веня не был таким злым и решительным, никогда не кричал так сильно в живое человеческое лицо.

— Нет, Венушко, не придумал. Всю правду сказал. А ты, видно, по отцу — сильно денежки любишь. Ничего, ничего. Поездишь еще и разлюбишь. А домика своего ты не стоишь. Стены-то поумней тебя.

— Ты про клад мне скажи — наврал?

Степан скрипнул зубами:

— Стары люди так говорили: в душе он у каждого, клад-то. Когда-нибудь и найдешь. А в огородинке зря не копайся, не мучай землю. Все равно умер, погиб участок.

— Ты сам умрешь скоро. Одни телята и придут на могилу.— Поднялась бы теперь мать из земли, и она б не узнала сына. Губы тряслись, посинели, точно бы озноб скрутил тело, и голос стал нехороший, визгливый, все время срывался.

Степан еще ниже наклонил голову, потом резко присел на песок. Словно бы отказали ноги.

Так и было — устали ноги.

— Я, Венушко, на фронте был, воевал. Там враги нас на смерть толкали, не затолкали. Теперь ты, сынок, мою смерть призываешь. Как это, Вено, понять? Как это, мой дорогой, мой золотой? Телята, говоришь, придут... Хорошо, что придут. Люблю я сильно телят.

— Замолчи,— бушевал опять Веня. Что с ним случилось? Какой огонь возгорелся?

Но Степан и теперь спокоен, только губу закусил крепко да побледнел в лице.

— У меня, Вено, печенка болит. Как мышка грызет... Нельзя мне переживать с тобой — опять заболело. От одного дома твоева все ноет нутро. Как взгляну, посмотрю,



так закроюся. Ведь гниет на корню все крестьянское понятие. А взамен-то што, изгниет дак?..

— Хватит мозги точить. Я дом вам не продам, лучше спалю, да все мимо вас...— опять стал грозиться Веня, опять шею вытянул — и затрепыхался, забился там отчаянный кадычок.

— Ну и молодец ты! Какого парня моя Катюшка нашла...— сказал устало Степан и поднялся на ноги. Лицо совсем серое, неживое. Выдернул из воды леску и сломал удилище через колено. Взял в руки ведро с рыбками, пошел потихоньку в гору.

Веня теперь протрезвел. И с досады пнул удилище. Оно слетело в воду, закрутилось в воронке. И снова поднял глаза: Степан поднимался вверх по земляным ступенькам. Если бы он пошел навстречу ему, то увидел бы, что Степан плачет. Но он видел только спину его — она покачивалась слабо и обреченно, как будто невыносимую тяжесть несла. И Веня опять протрезвел: что с ним? случилось что? — и ужаснулся. Понял, что случилось тяжелое — не пережить. Но почему они не любят его? Почему дом человека дороже? Почему никто не смотрит его картины? И тоска схватила, а за ней — опять злоба. Степан уже наверх поднялся. Стоял там, отдыхал. И как только перестала маячить спина его, Венино сердце больно ударило, сжалось. Сжалось от обиды на всех людей, на Степана, на Анну, на всю деревню. Зачем они его притесняют, зачем им этот несчастной домишко, зачем в личное лезут, залазят?.. Зачем, зачем? Еще вопросы, еще, еще.. И с каждой секундой обиды этой делалось все больше, больше, больше. Она затопила всего его, обволокла, спеленала. И не было сил бороться. И что бороться: она стала даже приятной, легкой, как легкий дождь после зноя, — она и принесла облегченье. Хотелось сейчас же, вот в эту минуту, поехать в какой-нибудь дальний город, нет, не поехать, а улететь на крыльях, чтоб встретить там, в новой дали, таких же новых людей, чудесных и умных, и чтоб они помогли ему, возвысили, чтобы сразу, наотрез, одним махом, закрылась деревня, этот дом и родные стены, чтобы никогда-никогда уж не встречать ни Степана, ни Анны, ни Кати, чтоб зажить совсем новой и облегченной жизнью... Но он знал, что сейчас не уехать. Тогда бы хоть в лес, срочно в лес на полянку, на теплую, живую от солнца полянку, чтоб упасть на нее и забыться и пролежать до

вечера в той тиши... «А может, и в самом деле продать дом соседям? Может, и отстанут тогда, не полезут?..» И не успела еще мысль эта осесть в сознании, как он уже высмеял ее и прогнал: «Нет, так легко вы дом не возьмете. А то решили — домишко дороже... Это меня-то дороже?» — Он жадно курил и думал, думал И опять пришла ревность к дому. Она уже связала его, не отпускала. «Значит, дороже человека, дороже?» — вопрошал он кого-то и опять раскуривал сигарету. И эта ревность к дому, к тяжелым, крепким стенам его, к его прошлой довольной жизни совсем спутала, обвязала его, и голова болела, изнывала от дум. Еще постоял с минуту — и шагнул вверх, по ступенькам. Дом теперь ненавидел не меньше Анны, не меньше Степана. «Раз они его добивались, любили, хранили, — так они его не получат». С этой мыслью и ступил в улицу. Дом взглянул на него жадно и весело, как будто соскучился. У Вени засверкали глаза.

IX. МЕСТЬ

В комнате тихо и сумрачно. От тишины этой жутко. Веня подогрел чаю, пожевал хлеба и налил в стакан водки. В стакане блеснула змейка, и чтоб не выпустить ее, он жадно выпил. И сразу змейка забилась у сердца, и его разожгло. Щеки вспыхнули, загорели, лицо стало алым. Комната казалась теперь совсем пыльной и грязной, и он стал растирать эту пыль ботинком. Ботинок скользил, как лыжа, и Веню стало тошнить. Налил чаю и успокоился. Только захотелось немедленно в лес.

И он решился. Собрал в рюкзак стаканы, палатку, положил туда же котелок, этюдник и бутылку «Столичной», засунул в рюкзак транзистор — и быстро пошел за ограду.

Солнце уже повернуло на вечер, но зной еще колыхался в пространстве, зато было его теперь меньше, да и дул ветерок. И этот ветерок, легкий, игривый, сразу коснулся лица, одежды, потрогал волосы и поиграл прядкой, — все это он сделал легко, ласково, почти незаметно, а потом порхнул дальше и пошел догонять кого-то. Может, такого же человека, как Веня, чтоб его ободрить своей лаской, вниманием: живи, мол, и радуйся, ведь солнышко светит,

и березы стоят, и ты сам — молодой и крепкий. Но Веня шел уже слегка пьяный, потому что хмелел быстро, и когда хмелел, все хотелось делать наоборот, и думать тоже — наоборот, потому даже эта мимолетная встреча с ветром не обрадовала, рассердила его. Он закидывал набок выбившуюся прядку, но волосы не слушались, словно дразнили. Захотелось выпить еще, но решил отложить до леса. Прибавил шаг — и вдруг оглянулся на дом. Бывают мгновения, когда человека точно бы толкнул в спину нарочно: оглянись, мол, беда! А кто толкнул — человек и не знает. Так и с Веней сейчас: он оглянулся на дом без всякой причины и никто не просил об этом. Оглянулся и поразился. Дом в свете уходящего солнца казался особенно большим и красивым, и Веня опять рассердился на дом и разглядывал его как врага. Крыша блестела под новеньким шифером, под солнцем шифер отливал синевой, и эта синева тоже не понравилась Вене. «Неуж дом меня лучше?» — спросил он кого-то в упор и без хитрости и сам рассмеялся, но все равно погрозил дому глазами и чего-то забормотал. Это были не слова, а просто звуки — звуки угрозы, в них не было смысла. Прошел немного, опять оглянулся, но дом скрылся за поворотом, его заслонили другие дома и заборы. А Веня не утихал: «На-а-адо же, деревяшка дороже? Это меня-то, Китасова?!» И опять забубнил под нос глухие ругательства.

И вот дорога завела в лес. Возле первого же пенька вздохнул глубоко и опустил на землю рюкзак. Налил себе из бутылки, выпил и звучно крякнул. Лицо стало теперь багровым, в глазах началась усталость, а плечи почему-то приподнялись к затылку. Казалось, что это сидит не парень в лесу, не художник Китасов, а какой-нибудь вор, который пошел на дело, а перед этим для храбрости выпил, но в последний час все-таки струсил и вот присел на пенек и забылся в тоске. Сиди не сиди, а дело торопит. И он пошел, пошел неуклюже, заваливаясь набок и еле приподнимая ноги, зато голова дождалась своей лучшей доли, ее охватило бездумье, и от него стало легко, легко. Да и лес всегда успокаивал, утешал. В лесу он не только забывал обо всем грустном, тяжелом — о Катеньке, о соседях, о том, что люди обходят его картины, не восхищаются его талантом, — наоборот, в лесу он даже прощал их, отмахивался от них устало: что, мол, взять с

деревенщины, по Европам ее не возили, да и в навозе с рожденья. А если сказать всю правду, он просто забывал обо всем, обо всем, потому что любил смотреть, как растет дерево, какой лист несет оно на своей кроне, потому что любил лесных птичек, которые порхали над головой и ничего не боялись. Еще раньше, когда он жил здесь постоянно, он любил смотреть, как в родной лес приезжали шумные городские люди, как разводили они костры и ставили палатки, как возле костров начинали свои веселые, крикливые игры, как потом пили чай или вино на опушке, а к вечеру все уезжали к своим городским квартирам. И Веня завидовал им — такой красивой и новомодной жизни, — а вот теперь сам испытал, полюбил ее, потому и приносил в лес палатку, вино и транзистор, потому и хранил в душе такие минуты, минуты полной и современной жизни.

Лес возле деревни — смешанный, в вырубках, лучше всех здесь росла береза, а сосна подымалась метра три в высоту и подсыхала. Но зато в таком сосняке попадались хорошие ягодники, Веня знал про них, потому что любил землянику. В последние годы такие ягодники умирали и чахли: наезжали туристы и забрасывали все эти пространства банками, бумагой, и хлам этот сильно глушил цветение. Но у Вени в лесу были свои потайные места, была и своя дорожка. Она и привела сейчас на маленькую полянку. Вокруг нее разбежался молодой соснячок, а в нем, в самой середине его, бил, поднимался родник, от которого кружилась в воздухе пьяная сырость. Веня с удовольствием вступил в эти запахи, в этот сырой и прохладный воздух. И в голове его тоже поднялось и закружилось тепло — наверное, это водка ударила с новой силой, разогнавшись от лесных испарений.

Веня улыбнулся: «Живем, братцы, живем!» И улыбка застыла надолго. Нельзя сказать, чтоб забылся весь этот несчастный день, все разговоры, все встречи. Нет, они все еще мелькали в голове и мешали дышать, но все равно мелькание это было слабым и потухающим. Только одно опять удивляло и злило — так это слово «наследник» применительно к нему и к Кате. «Зачем оно и кто его выдумал? Может, сама Анна и сочинила?» И мысль эта опять заходила кругами, но все равно самый первый и самый последний круг спотыкался об это слово и за-

мирал, останавливался в изнеможении. Но сколько бы он ни думал над этим, сколько бы в уме ни крутились тяжелые круги — его мысли, он никак не мог понять и представить, что от него, Вени, будет ребенок, что он уже живет и витает где-то и, еще не рожденный, приносит уже беду и заботы и вот эти смутные думы. Нет, не верилось, и даже чудно, забавно и рядом — страшно. «Неужели ребенок, его ребенок?..» Нет, не верилось, как бы не поверилось, когда бы услышал, что небо завтра упадет на землю и придавит своей громадой. Как это упадет, как придавит — ведь это сказки, забава мысли. Ну конечно, забава! Так почему же должен был появиться ребенок, какой-то ребенок, раз с Катей у него была тоже только забава, как говорится, сбежались да разбежались. Наоборот, она даже мешала, отвлекала от дел, эта Катя. Так пусть будет довольна, что впускал ее в дом, разговаривал, даже показывал все картины свои. А она что? Давай в жены натраиваться, да родители понукают. А зачем лезут-то? А она чего за их спины? Пошел бы наперед, да никто не берет?» — пришла вдруг в голову давняя поговорка, и сразу удвоилась злость на Катю, и все это снова с домом смешалось, сплелось твердой невидимой ниточкой. И он сжал зубы и усмехнулся: «Сидят, поди, размечтались — сперва дочь на него навяжем, потом и дом заберем. Нет, не выйдет, соседи милые, дорогие». И он сжал зубы, и они заскрипели нехорошо. «Нет, не выйдет! Не ваши сегодня козыри, не ваши», — повторил про себя, поддержал, да и душу окончательно свалила злость на Клементьевых, на свой дом родной, который уже выше человека ставят, выше его самого, Вени Китасова. А раз так, то он распорядится этим домом по-своему, и никто ему здесь не страшен, даже сам господь бог. Поэтому он и стал успокаиваться и скоро совсем успокоился. Присел на пенек и включил транзистор. Налил водки в стаканчик и выпил. Задумчивый голос иностранной певицы стал усыплять его, и вот уж совсем смежаются веки, и он решил прилечь по-хорошему. Так и сделал, но скоро почувствовал, что спину покусывает холодок, недолго и простудиться. Решил ставить палатку. Он любил это дело. Любил так горячо и сильно, как любит иной человек собирать значки или марки, как любит рыбак свою верную спутницу — лодку. Вот и сейчас получилось все быстро и хорошо. На дно вместо подстилки положил

сухого моха, а саму палатку замаскировал, чтоб не заметил случайный прохожий.

Потом залез в палатку, прилег на сухое. И теперь радость за себя взяла все заботы и вытеснила все горе. Он радовался, что вот он проводит свое время, как добрый, стоящий человек, что у него есть палатка, походная кухня, свой транзистор. Вот сейчас он разложит этюдник и будет рисовать сосны, березы и небо, и все равно когда-нибудь станет самым умным и знаменитым, и люди кинутся смотреть на его картины. И об этом узнает Поля. И еще подумал, как далеко этой доярке до Поли. Сколько ни подводи реснички, сколько ни выряджайся, а все равно не выйдет из Катеньки той огненной, высокой циркачки. Как стояла Поля в той вышине, так и осталась там, и никто ее не заменит. И на сердце стало очень легко от Поли. И сейчас, когда услышал под спиной приятное, успокаивающее тепло, когда из приемника вылетел с легким шорохом голос все той же певицы, когда над головой на верхушке сосенки слабенько чирикнула птичка, а потом распелась вовсю, заглушив и певицу, он испытал настоящую радость. И все печальные мысли стали выходить из него, стали забываться разговоры с Анной и со Степаном, только одного хотелось сейчас: слушать голоса леса и все забыть. Но все равно спокойствия пока не было. И радость настоящая только миг какой-то была в душе и сразу выдохнулась, улетела. И все это на одной минуте — горько и радостно, и опять горько. «Вот так и живем, моя мама чужая. С приветом к тебе зять якутский...» Он попробовал пошутить над собой, что-то вспомнить веселое. «Хорошо бы письмо в Сангар так закончить. С приветом, мол, зять якутский...» Но шутка эта сразу забылась. В голове по-прежнему что-то мелькало, мелькало, да и виски болели, но все равно старался забыться. Так бывает, когда заснуть хочешь, а рядом много людей, голосов, и ты спишь вроде, а все эти голоса слышишь, только не понимаешь, и в то же время уж во сне ты, но голоса не отпускают...

Зато в лесу спокойно, как-то зеркально. Деревья не шевелятся, только родничок шуршит еле-еле. Вода в нем чистая, полезная, он разводил на ней краски. А солнце в небе уже уверенно катилось книзу, уже прохлады прибавилось, но Веня не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой — такое на него нашло забытие. К чему стремил-

ся — то и нашло. И теперь лежал, слушал, как шумит вода в сухих листьях, как поет и вскалывает какая-то дальняя птичка. Так минул час, а может, и больше. Родник теперь ожил и зашумел сильнее — видно, к вечеру в нем прибывала вода. Он совсем бы заснул под эти звуки, если б не всполошили громкие голоса. Они пришли внезапно, негаданно и сразу же наполнили неясной тревогой. Вначале — голоса, голоса. Потом донесся смех, такой же громкий, нетерпеливый. Но вскоре смех заглушил отчетливый мужской голос — и смех пропал, как и не был. Веня приоткрыл полог и сразу зажмурился — прямо на него надвигался парень. Он держал в руках велосипед, а на велосипедной раме сидела девушка и смеялась, потому велосипед вихлялся, как пьяный, и терял равновесие. Парень говорил возбужденно, смотрел под ноги. И вдруг велосипед совсем накренился, повалился, и девушка притворно заохала, застонала, но велосипед выпрямился, и девушка стихла. И тут они остановились. Веня подумал: хорошо, что палатку скрыл соснычок, а то бы куда. Заметят — и прощай отдых, разговоров не оберешься. А он устал от вопросов, от разговоров, еле добрал до леса. Но напрасно переживал Веня, парень ничего не слышал, не видел — до того ли. Все на девушку не мог наглядеться, и голос такой же довольный:

— Вот добро тут, добро-о! Куда бы лисапет бросить?.. — И он захохотал и пнул в колесо ботинком.

И девушка в ответ рассмеялась, голосок такой же довольный:

— Пожалей коня, Миша. Обратнo-то?..

— Увезу, увезу! — пообещал радостно парень и опять захохотал и засмотрел на нее, засмотрел.

Она притворно закрылась, но глаза выглядывали из-под ладони, смеялись, и все в ней радовалось и смеялось, и в парне тоже все радовалось, смеялось. Он опять о чем-то спросил ее, но так тихо, невнятно, что только она и слышала, и девушка опять засмеялась и тоже засмотрела на парня, но он глаза опустил, достал папироску. Стало тихо. Веня испугался: не вытянуть даже ноги, не шелохнуться, сейчас уж надо по неволе таиться — может, пройдут эти мимо, тогда и... Но девушка громко спросила:

— Где жить-то будем? У тебя будем?..

— А вот напластаю этих берез и дом построю. А что?..

— И построй, построй! — Обрадовалась она и опять засмеялась, но он перебил серьезно:

— Нельзя. Потом не оплатишься. Лесник-то у нас толстомордой...

— А ты все равно построй, ну, построй,— начала она опять притворно, игриво, нарочно не замечая его серьезности, и это притворство было такое нежное, такое родное, что Веня догадался, что они уж жить друг без друга не могут, что это уж настоящие муж и жена, хотя и без свадьбы.

Да и самих он сразу узнал. Михаила Клементьева он узнал минуту назад по голосу. Узнал, и сразу же вспомнилось: «Мишку-то на тебя все натравливают: узу да узу». И сейчас опять недовольно поморщился: «Что за день: куда ни повернешься — Клементьевы да Клементьевы. В городе вон живешь через улицу и раз в году с другом встретишься, да и то если в гости... А тут? Но может, и обойдется?» Да и девушка опять хорошо засмеялась, смех у ней такой спокойный, располагающий. В ней он тоже узнал Дусю Гонцову.

И сейчас даже отвлекся немного. Они снова заговорили шепотом, а ему вспомнилось, как по весне в теплый день сел верхом на Гнедка: ребяташки подсунули — «прокатись на смиренной...». А в него то ли детство ударило, то ли что, но послушался ребяташек. А жеребец-то молодой, не уступит, и сбросил под ноги да копыто занес над ним. Но не ударил, только поднял, дрожит. А дело-то — возле фермы. Доярки все смеялись, а больше всех — Дуся. И потому запомнил еще, что моложе была всех и красивей. Даже сейчас, вспомнив давнее дело, покраснел от досады, точно снова лежал под копытами...

— Что, Миня, лесник-то? Жену заводишь и дом заводи.

Она опять засмеялась, откинула назад голову и сразу же косынку с головы уронила, и волосы упали тугими белыми волнами, и ей стало еще веселее, счастливее, да и волосы приятно холодили и прибавляли уверенности: смотри, мол, на меня, смотри да наглядывайся, а то могу и к другому. А может, и о другом думала Дуся, но все равно о таком же молодом и счастливом, о котором еще не понимал Веня и не догадывался, потому что выбрал другую жизнь. А сейчас он просто боялся. Они говорили,

а он не дышал, не двигался, даже боялся моргнуть. «Да скоро ли?» Но они все стояли и разговаривали, не оторвут друг от друга глаз.

— Ну, ладно, ладно, будет тебе дом, будет и спальня, — усмехнулся весело парень и похлопал ее по спине со значением.

Ей не понравилось, она от него отдернулась, но сразу забыла про это — опять сияет лицо. Он затушил папиросу и взглянул далеко. Веня задрожал, но палатку Михаил не заметил.

— Куда теперь, Дуся?

— Отдохнем да до дому... которого нет. — На этот раз она засмеялась нехорошо, иронически, и парень повесил голову.

— Погоди, погоди, может сторгуем у Венка! Может, и найдет добрый ум. — Парень опять приподнял голову, огляделся. Веня вжал себя в мох.

— Нет уж, нет уж, чуе мое ретивое: от ворот поворот найдем у туриста. Да и то суди — с человеком бы... Сам гляди, какой чокнутый. Говорят, возит с собой палатку. Расстилает среди комнаты...

— Да хоть и не расстилает, — вступился за Веню парень, — да ведь все они чокнуты. Прикатят по грузди из города, дак все детскими грабелями выскребут. А потом костер разведут и поют, раскачиваются.

Вене курить захотелось. Но он боялся чиркнуть спичкой о коробок. «Они рядом — заметят, потом скажут — подслушивал. Стыд-то!»

— Не продаст, Дусь, так прибью, честно слово — прибью! Подумаешь — козел уперся, я рога обломаю да за сестру спрошу.

— Ну, хватит, горячка! Обломаешь на два года. Я тебе передачу не понесу, — усмехнулась Дуся не то горько, не то шутливо, а Веня распахнул ворот и задышал тяжело, будто в гору полез, в высокую гору.

— Нет, Дуся, скажу по-хорошему: не люблю его. Подумай — такой дом размолот. Сгубил все наше понятие...

«Ах ты, фараон проклятый! Надышался от отца, от чахотки. Ну и сидите в навозе с понятиями-то...» Веня дрожал от злости, от унижения, от того, что сидит, как вор и молчит.

— Я сама не люблю. Что поделаешь — не прикажешь.

Не мы родили, не мы воспитали... Что это пошло нынче — идет Венко, а волос на нем длинный, нечесаный?

И оба захохотали. Они уже давно рядом стояли, не расходились и все смотрели, смотрели в глаза друг другу и глаза эти тоже переговаривались, замирали, и речь эта как раз и была самой главной, но Веня не знал этого, да и слышал другие слова. Ему надоело: шли секунды, минуты, а они все стояли, стояли,— и он сжал зубы, таился

— Да не продаст он. Чувствую, Миня... Может, хранит для Катюши?

— Если бы...— И парень махнул устало рукой.

— А вчера сидим с Иваном Митрофановичем налили чайку, а у нас Сашка расхвастался, говорит, картины начнем продавать... Он Китасову-то рамки стругает да что-то с красками..

— Ну и что? — Михаил закурил и опять посмотрел вперед, но ничего там не увидел.

— А ничего. Старик за ремень да вскипел. Я, говорит, спекулянтов к сосне привязывал. Крутой он, да я заступилась за Сашку

— Кто их купит, картины-то? Дым в Крыму, все в дыму ничего не видно...— И парень захохотал во все легкие.

«Я тебе покажу — купит кто. Я вот встану да пойду на тебя, вот встану!..» И еще что-то грозил им Веня в своей голове, но что грозить, если сидит, как волк в капкане. Потом вспомнил Сашку: «Как это он забыл про него? Уже день проходит, а только вспомнил». Любил его, пожалуй, только его и любил теперь. Сашка тоже рисовал, учился рисованию у Вени, а самому-то десять лет... Но мысли Венины прервались — те снова заговорили:

— А не продаст, так прибью его, честно слово, прибью...— И парень задышал тяжело, щеки порозовели.

— Поговорили бы сперва. А все же интересное дело — зачем ему дом?

— Э-э, зачем? С ним один теперь разговор.— И парень сжал в ладони кулак.

А Веня прижался к самой земле, его сильно тошнило, точно надышался какого-то смраду и угорел. Очень хотелось курить. Чтобы отвлечься, стал кусать пальцы, и эта боль на какой-то миг отвлекла, но курить потом захотелось сильнее. Парень тоже достал папиросу, и Веня пошел

на хитрость. Когда тот чиркнул о коробок, то в тот же миг, в ту секунду, и Веня чиркнул. И парень не услышал звука.

— От кого же таки родятся? Таки упрямы? — сказала Дуся и задумчиво поправила волосы. Они мешали смотреть.

— Ты все про Венку? Ну, ладно, сделам... — пообещал парень.

— Что ты задумал? Вон как нынче ловят за хулиганство-то... Может, колхоз с домом... Оба работам.

— У колхоза хватит нахлебников. Ждать не могу.

Михаил бросил окуроч, поставил велосипед к ближнему дереву, присел на пенек.

— Садись, Дуся. Давно не видались.

— Давно... — усмехнулась она и села рядом.

Веня измучился в своей западне. Другой бы уж о помощи закричал, но кого докричишься в таком лесу? Да и не режут ведь — что кричать? А они и не думали уходить. Михаил размечтался.

— Будет у нас дом, будет! И не уговаривай, не проси ждать колхозну квартиру, не могу. Я сейчас жить хочу! Понимаешь? Сейчас... — заговорил как хмельной, и Дуся, испугавшись, принялась его уговаривать, гладить по голове. Как маленького. Даже Вене смешно.

— Ну, ладно, ладно, то ли против я? Неуж против? Да зачем?.. Только, говорю, паренек-то упорный. Поди, найдем в другом месте? Ты успокойся. Вот хорошо... — Голосок у ней замирал, перекатывался, но была в нем уверенность, своя сила. Наверно, давно уже подчинила парня. Покорностью своей подчинила.

— Дуся, ты помолчи, помолчи! Не углаживай меня, не строгай. Дом пускай — третье дело. За сестру не могу! Не могу, и что хошь. Она же...

— Все знаю, не говори! На алименты подаст...

— Ох, как вы хороши!

Дуся замолчала, и видно было — разволновалась. И даже в палатке, на расстоянии пяти шагов от нее, Веня слышал дыхание, ее порывистое дыхание, а у самого уже не было сил. Он все лежал в одном положении, почти не дышал, но сердце стучало бешено, как машинный мотор. А сейчас — того хуже. «Значит, и Дуся знает, поди, вся деревня знает... Что теперь и куда теперь?..» Так пугается, наверно, зверек полевой, когда на нору набегут ребяташки.

Вот уж воды они принесли, пододвинули, и слышно зверьку, сильно слышно, как дужки у ведер поскрипывают, как журчит она в ведрах, переливается, и вот уж первые капли в нору пошли, вот уж и побольше плеснули, побольше, вот уж и метнулась вода потоком, струей — и несется с шумом и грохотом, сметая все на пути: и сухую траву, колоски и спелые зернышки, и катится она рядом, рядом и еще миг, секунда — и подкатит к самому горлу, задушит,— и стучит сердчишко у полевого зверька. Так и с Веней сейчас.

— Дождусь я своева часа! Не уйдет никуда турист.

Парень глядел в ту сторону, где осталась деревня. В той стороне загудела машина, потом собаки залаяли. И эти звуки принесли облегчение, как будто помощь пришла, да и Дуся заговорила. Когда ее голос заходил в палатку — почему-то было не страшно. Дуся говорила, смеялась, а сама сидела у ног Михаила и все ему снизу в глаза заглядывала, видно хотела отвлечь разговорами:

— Почему не стригется Венко-то? Ну, скажи — почему? А я вот что, послушай: сидят как-то старухи на лавочке, а мимо Венко идет, как всегда задрал голову — мое не мое. А сзади — Иван Митрофанович. Он шутник, не пропустит. Поравнялися — Венко мимо, а Иван-то затормозил: «Бабы, пошто в ноги не валитесь, пошто не креститесь — мимо батюшко идет...» — да на волосы-то свои показывает: отрастил, мол, турист.

Дуся опять засмеялась, но Михаил помрачнел. И она испугалась его тяжелого взгляда, опустила голову. Ее длинные белые волосы упали на грудь, она их не подбирала. Может, знала, что красивые они, и Михаил на них смотрит. Она была человеком без возраста — можно и двадцать лет дать, можно и тридцать, но больше, конечно, не дашь, потому что кожа на лице была светлая, какая-то теплая, под стать волосам, а взгляд был очень тихий, покорный. Бывало, что делались глаза прямыми, решительными, но быстро проходил шальной огонек, и Дуся сама пугалась своей решительности. «Будешь у мужа под сапогом», — посмеивались в деревне. Она тоже смеялась: нынче, мол, в сапогах не ходят, прошла мода...

— Дуся, что это за дымок? Неуж не видишь? Поди костерок... — И парень встал в полный рост, глаза на-пряглись.

— Затуши сходи, а то разгорится,— предложила Дуся и тоже вытянула голову.

— А мы это мигом.— И парень шагнул вперед.

Веня слышал его шаг и дыхание — у парня громко ходила грудь. Потом дыхание это в лицо ударило, и Веня сжал крепко голову и зажмурился: какой ужас, позор! Вот она смерть идет, навалилась, все громче, сильней дыхание. Как он не догадался, как проглядел — сигаретка то у него тлела, не потушил. Вот и весь костерок. Но было поздно, поздно. Пропало все! Парень ветки раздвинул и вскрикнул:

— Иди-ко! Тут какие-то жильцы... Ай да палаточка, зеленая, тугая! А мы орем, не оглянемся. А тут, поди, люди спят, отдыхают...

Дуся подошла, уставилась на палатку.

— А людей не слышать — поди, брошено?

— Поди...— кивнул он и приподнял полог. И сразу отшатнулось от него лицо Венино, страшное, больное лицо

Михаил как стоял, так и повалился назад. Еле устоял на ногах, да и Дуся подхватила за локоть. Она первая и пришла в себя.

— Кто ты? — сама не оторвется от Вени.

И вдруг парень узнал его:

— Дак это же наш турист! Дуся, тури-ист! — закричал радостно Михаил.— А я думал: нечиста сила... Ты слышишь, Дуся? А? На ловца и зверь...

Но Дуся оцепенела, в лицо ей кровь кинулась и пропала речь. Хочет слово сказать — и не может, хочет закричать — и нет крика, в горле сухо и горячо. Но Михаил занят Веней, не видит ее лица.

— Подглядывал, что ли? Аха! Интересное дело — любовь на поляне...

— Я нечаянно...

— Ну конечно, конечно! Нечаянно капканы поставил да и поймал...

Михаил опустился на корточки, засмотрел снизу в палатку.

— Нет, Дуся, Дуся, я не могу! — Михаил хохотал.— Сидит как беглый детдомовец — аж уши в земле...

— Я нечаянно, не хотел,— бормотал Веня растерянно и вытягивал жалобно шею. Куда делась уверенность,

куда? Он и сам не знал, почему задрожал, испугался, может быть, от стыда... — Я всегда здесь палатку ставлю, всегда...

— Чево?

— Я нечаянно... — Но больше уж ничего добавить не мог, опять задрожал и вытянул шею.

— Нечаянно, значит, гусенок?

— Да, да! — крикнул Веня и хотел приподняться на ноги, но парень засмеялся злорадно и шагнул к самой палатке.

— За нечаянно-то бьют отчаянно! — опять засмеялся и нехорошо задышал.

— Не подходи, не подходи к нему, — зашептала Дуся пронзительным шепотом и вдруг не выдержала, перешла на крик: — Не подходи! Пожалей меня...

— А что, заразной? Ты, турист, не заразной? — усмехнулся парень и закурил. Глаза его налились тяжелым. Он что-то заглушал в себе и придавливал и, видно, не мог, потому что глаза его стали искать кого-то обреченно, беспомощно и не могли найти.

А Веня, услышав мгновенную передышку, схватился за последнюю возможность спастись, оправдаться.

— Я не знаю, о чем вы спорили. Я спал сейчас! — громко соврал он и приподнял голову. Но от обмана стало еще больше стыда, а голова была уже чужая, тяжелая, в сильном жару. Глаза тоже видели плохо — одно мелькание. Он не знал, что глаза полны слез. А потом страха стало еще больше, больше, потому что парень еще ближе придвинулся и крикнул не своим голосом:

— Ах ты, мешок проклятой! — И задохнулся, опять что-то заглушал в себе и не мог. — Как же ты спал, говоришь, а слышал, что мы спорили?.. Ну, говори, говори, а то запрыгну на твой балаган... — И глаза заблестели невиданной злобой, и эта злоба уже пьянила и поднимала. Это сразу поняла Дуся, схватила его за локти:

— Миня, очнись ты, одумайся! Ради сестры своей пожалей... — Она хваталась опять за локти, за плечи, но он одним движением отстранил её:

— Ты сестренку не впутывай, я скажу за Катюшу! Сам скажу по-нашему, по-колхозному... — Опять задохнулся, но быстро справился и вдруг побледнел, вздернул голову. — Бери тряпку, секи крапиву!

И вдруг двинулся на палатку. Ему и двигаться было нечего, просто шаг вперед сделал, присвистнул, сгреб в беремя все зеленое полотно и рванул на себя. Палатка зацепилась за колышки, вся забились в руках, но это его больше разъярило. Он вдохнул в себя больше воздуха, напряжился и опять рванул на себя, рывок был такой сильный, что Михаил потерял равновесие. Что было с Веней, что было с ним!.. Он и сам не помнит, что было. Ничего не разобрал, но когда на голову обрушилось полотно, помертвел от ужаса, и в этом ужасе, иступлении схватился за конец полога, и сейчас бы даже сам Михаил не разжал его кулаки. Он схватился за полог случайно — надо было иметь опору, а Михаилу казалось, что он обороняется, собирает силы свои. Но никакой обороны не было, просто страх, один страх связал Веню и подчинил себе. И потому он ничего не запомнил. А Михаил кричал и грозил ему:

— Турист, турист наглой, проклятой! Я тебе покажу за Катю, за сестру мою!..

И он набросил палатку на Венино тело, спеленал, скрутил его, как младенца и волоком потащил, потащил. Веня дрыгаться начал — да какой толк, не порвешь полотно. Да и Михаил совсем задохнулся. Он, видно, уж ничего не видел, не слышал, лицо сделалось совсем белое, меловое:

— Получай, получай, козий обморок! Против всех пошел, против всех...

Он тащил за собой палатку, уже метров десять тащил Дуся рядом была, закрылась руками.

Веня хрипел в полотне и бился, как рыба, потом уж и хрипеть перестал. Дуся зарыдала, ей уж казалось, что ее тоже возьмут в тюрьму, посадят на хлеб, на воду и уж никогда-никогда не будет у ней ни своего мужа, ни сына — все погибло. Потому так громко рыдала.

— За што вы? — ожил под палаткой Веня, забился сильнее. Но лучше бы замолчал он.

— Продашь дом, козий обморок? Продашь? — закричал ему Михаил каким-то новым, веселым голосом и опять поволок палатку. — Продашь дом? Не слышу...

— Он уж не может... — вмешалась Дуся.

— Ладно...

Он бросил палатку и повернулся к ней. Руки упали.



повдоль, в лице та же усталость. Стал курить — и курить не может. Выбросил папиросу, поморщил лоб.

— Поедем дальше, отвоевались.

Дуся опять зарыдала, ткнулась ему в плечо, но потом взяла себя в руки, затихла и влезла на раму. Он закрутил педали. Метров через десять тормознул, оглянулся — и сразу же увидел лицо его. Веня стоял уже на ногах но ноги еще обвивала палатка. Потом присел на землю и замотал головой. Видно, зашла кровь в виски и ударила в голову. От обиды ударила.

— Аха, проморгался! — И Михаил закурил

— Жалко мне, — тихонько вздохнула Дуся.

— А мне что, не жалко? Человек еще Венко ... — вспылil Михаил и затянулся до кашля

— Все равно жалко

— Эх, Дуся, Дуся, поучить-то надо кому-то

— Куда он теперь?

— Сам решит, сам

И Михаил опять заработал педалями. Велосипед услыхал под собой твердую лесную дорогу и рванулся вперед. Потом они опять оглянулись. Но из-за дальности расстояния не могли уже рассмотреть, что делает Веня, не могли услышать и его голос. Да и голос этот был слабый, сжатый — не голос, шепот. А Вене казалось, что он кричит криком, еще казалось, что со словами вместе из горла скоро выскочит кровь. И тогда умрет он — и это будет хорошо и сразу облегчит.

— Ничего я вам не продам! Не продам...

Хотелось умереть сейчас же, в эту минуту, чтобы не слышать больной крови у горла, чтобы забыть все и забыться. Еще хотелось спалить свой дом, уничтожить, чтоб отомстить за стыд, за обиду, за всю жизнь свою которую не поняли, осудили, — за что осудили? И это последнее желание, могучее желание отмщения, опять подняло его на ноги и вернуло на старое место. Здесь было тихо, спокойно, как и час назад, когда ставил палатку. Эта тишина опять была какой-то гладкой, зеркальной, она отражала от себя человека, не пускала к своим тайнам, значению. И даже казалось, что тишина эта упрекает и судит за что-то и, сколько ни клянись, ни отговаривайся, она не простит. Наверное, потому человек в этот час среди леса, деревьев, чего-то робеет, пугается и не доверяет глазам. И так бывает всегда, когда солнце зашло давно,

а ночь все еще не пришла, не спустилась на землю, и эта зыбкость в лесу, полутьма, полутени всегда так томят и притягивают и сообщают тревогу душе.

Веня нашел у пенька транзистор, бутылку и стал пить прямо из горлышка, словно принимая водку за воду. Так и было: он не чувствовал ни жжения, ни вкуса, ни поднимающегося тепла в ногах — просто пил и пил, чтобы отогнать кровь от горла, забыть свой стыд и Михаила Клементьева, забыть весь несчастный день, полный горя-тоски. Когда выпил, далеко отбросил бутылку и подобие улыбки прошло по лицу: «Неуж дом человека дороже? Это меня-то дороже? Меня-то, Китасова?! Китасова! Нет уж, бросьте болтать, дороже...» Он стал посвистывать, и опять подобие улыбки прошло по лицу да так и осталось. Эта улыбка презирала всю здешнюю жизнь, всю деревню, она презирала даже самого Веню за то, что связался с Катей, за то, что хранит свой дом и приезжает сюда. И вдруг вспомнил что-то, нахмурился, сжал зубы крепко, до боли: «А почему гусенок-то? Что я им за гусенок?» И снова — горько, обидно, так горько что снова к горлу метнулась кровь, а в голове заболело. Боль прошла по спине до ног, потом захватила грудь и все тело, и его большое и длинное тело заныло и загудело, точно его избили. «А меня и так избили...» — усмехнулся Веня и, чтоб забыть про боль, стал насвистывать, потом закурил. Он курил и повторял про себя два слова, все повторял и повторял, и эти два слова утешили и смирили душу «Сплю дом, сплю...» — повторял про себя Веня, и боль в голове исчезла, сползла, иногда она вдруг упрямилась, начиная топтаться на месте, тогда он всеми силами старался придавить ее, утолкать, умять в ноги, — и боль тогда подчинялась и выходила из тела. И вот уж все тело ожило, сбросило путы, и это освобождение совсем его отрезвило — он был рад, что всем отомстит. Это было так хорошо и так радостно, будто сорвалась дверь с крепких петель и отлетела — и свежий воздух ворвался в душную комнату и прогнал мрак и тяжесть.

Собрал палатку, все свои вещи и пошел на дорогу. В теле по-прежнему было легко и просторно, в голове — тоже легко, а ноги, казалось, не шагали — летели, потому и быстро встала деревня. Она казалась теперь большой и веселой, по главной улице гнали стадо, и коровы лениво заходили в ограды, и стадо на глазах уменьшалось и

точно бы сиротело. Пахло молоком, огородами, и этот запах теплой сырости, запах огурцов и укропа приятно кружил и веселил голову, да и коровы мычали так хорошо, по-домашнему, что Веня совсем отрезвел. Со всех сторон слышалось, как билось и стучало молоко о подойники, слышались голоса и перекликивание, навстречу даже попадались прохожие, кто-то здоровался, заговаривал, но он не узнавал никого, шел как слепой или пьяный. Так и было. И все, что казалось ему такой легкостью и свободой, — все шло от вина, от той бутылки, которую выпил в лесу. Теперь бутылка ожила в нем и заговорила. Чуть дом родной не прошел и только в последний миг узнал ставни, ограду — и сразу тяжело помрачнел. Веня вспомнил свое решение, и к горлу снова подошла злость и принесла с собой боль. И тогда раньше, в лесу еще, к горлу тоже не кровь, а злость подступала и терзала его. Сейчас снова стала терзать. «Я вам покажу, покажу Веньку Китасова!..» — подумал резко и по-мальчишески, и злости этой опять стало так много, что он задохнулся от сердцебиения. Остановился, чтобы переждать сердце. И пока ждал, злость его каменела и каменела: и когда зашел на крыльцо, у него уже не было сил ее сбросить с себя — и он подчинился. «Делать — так сразу, сразу!..» И снова стал рад, что сейчас отомстит.

В доме не было света. В это лето часто отключала подстанция. Там что-то перестраивали, расширяли. Веня в такой час пользовался лампой-семилинейкой. И сейчас опять достал эту лампу, достал с полочки керосин, чтобы добавить в лампу. Добавил, подчистил стекло и поджег тесемку. Лампа мигала, горела тускло, нехорошо. Стало тоскливо. Веня достал сигарету, и вдруг глаза его нашли керосин и раскрылись так буйно, испуганно, как будто кто-то его в огонь толкал, в костер какой-то огромный, а он уперся. Но не верит, что выдержит, — оттого так страшно, ужасно. Потом встал, отбросил незажженную сигаретку. «Делать — так сразу, сразу...» И эта мысль ободрила и сорвала с места. Он схватил бутылочку с керосином и бросился в комнату. Запнулся о порог, громко выругался и сразу же выплеснул все из бутылки. Выплеснул широко, неумело — капли попали даже на кровать и на стены, но это уж было не важно. «Что жалеть — все в огонь! Пусть подавятся... Эти мысли перебили другие, но он уж не мог их поймать, не мог поймать и те, свои

первые мысли,— он был такой пьяный, что его качало

Захотелось курить, и он закурил. От сигареты в голове просветлело: «Что я задумал? Зачем, зачем?..» И стал быстро ходить по комнате, его заносило все время в стороны, но он ходил и ходил. Иногда останавливался, но, сразу что-то вспомнив и замахав рукой, начинал ходить снова и снова, а по лицу блуждала слабая пьяненькая улыбка. Потом устал и сел на кровать. Пахло керосином, мышами, в окнах встала луна, и сразу в комнате все осветилось ее твердым, пронзительным светом. Веня сидел и покачивался, словно бы слушал кого-то, слушал и понимал. И вдруг он увидел мать. Она пришла оттуда, где были свет и луна, пришла и села напротив. Он видел ее не так, как во сне, он видел ее живую, в гладком белом платке и в белом отчетливом платье. Она его всегда надевала в день приезда Геннадия — ее мужа, отца его. Отец приезжал с заработков с большими деньгами и в первый же час домашний начинал пить, куролесить, а она надевала то платье, чтобы быть ему ближе, родней.

Веня смотрел на нее и радовался, что видит, запоминает. Она хмурилась и что-то шептала. Но это был не шепот даже, просто губы открывались и закрывались. «Ты поди, из-за дома, скажи, из-за дома?» — спросил ее Веня, и она закивала, и он обрадовался, что поняла. «Не буду, ладно. Пусть живет твой дом, я не буду...» — пообещал он, и мать ушла. Опять ушла в те лунные тени, в просветы в окнах, ушла, ничего не сказала, а может, сказала, но он не слышал, потому что спал уже крепко на пуховой материнской подушке и ровно дышал.

Проснулся он в середине ночи, сходил на кухню, потушил лампу и стал смотреть на луну. Почему-то вспомнил о Кате, первый раз вспомнил как-то печально и ощутил жалость, но сразу выбросил это, потому что испугался луны. Она, казалось, была живая и смотрела тоже печально и, наверное, все уже знала про людей и про землю и про него, Веню, тоже все знала: что уже было и что с ним будет,— и от этого знания стало страшно, даже замерзла спина. «А если сгорит дом, сгорят и картины,— вдруг подумал он с новой печалью и улыбнулся.— А ведь матери пообещал...» И сразу же оглядел и проверил стены — картины висели,— он вздохнул глубоко и достал сигарету. Вон там она сидела. Он видел ее живую, конечно,

видел «Но как это? Как она пришла, появилась?.. Может, поблазнило, может, во сне?» В голове ломило с похмелья, он снова прилег. В комнате светло от луны, просторно и свет этот качается и лезет в глаза. «А вдруг снова придет вдруг покажется?..» Ему стало страшно, забилось сердце, повернулся на правый бок — и сердце прошло, но все равно страшно. Достал новую сигарету и затянулся жадно и глубоко, и сразу же страх убавился, стал сползать. В голове началось кружение, но это уже было сонное, а не больное кружение, ему стало спокойно, закрылись глаза. И в тот же миг опять испугался: вдруг он заснет сейчас, заснет сразу, внезапно, а сигарета выпадет изо рта, а кругом керосин, кругом доски? Да и подушка из пуха — знай подноси... Но все это последнее, страшное, он уже думал во сне, а сигарета уже лежала на подушке и тлела. Она выпала — он не слышал. Потом стали дымиться доски. Они были сухие, давнишние, сегодня их нечаянно полили керосином, потому доски только и ждали искры. И вот дождались. Они горели не пламенем, потом уже стало пламя, а сперва чадили, дымились. И Веня начал стонать, задыхаться — кто-то сильный, тяжелый навалился во сне, сдавил грудь, сдавил голову, залез рукой в горло и стал его всего выворачивать и все туже наваливаться на грудь. От этой боли, ужасной боли, продрал глаза — и сразу же потерялась память. Он не помнит, как выполз в кухню, как попал на ограду, как побежал. Он бежал переулками, огородами, словно кто-то бы вел его, кто-то показывал, а он бежал и бежал. Только за деревней остановился и поднял голову. Там, где дом его, полыхал огонь, везде жалобно мычал скот. Потом услышал сильные крики, заволошные крики, загудела чья-то машина, и вот уж ожила, задвигалась вся деревня, и он втянул голову, замер. И вдруг точно его толкнули, подбросили — он сорвался с места и закричал. «Это не я, не я!!» — закричал он и снова бросился в степь. И опять он забыл все, только бежал и бежал. Уже в степи, далеко в степи, он запнулся за большую траву и присел на колени. Трава была еще теплая от дневного тепла и пахла густо, протяжно, он прижался лицом к этому густому теплу и закрыл глаза. Лежал час, может, больше. Уже давно посерело небо, погасли звезды, уже давно остыла трава, а он лежал спокойно, как мертвый. Но голова его все равно оживала и сознание медленно возвращалось к нему. Потом он

поднял голову и узнал свою степь. Место было знакомое — он лежал у самой дороги. Он встал на ноги, его зашатало от слабости, но он устоял, удержался. Вдохнул глубоко и пошел.

ЭПИЛОГ. ЖИВЫ ФУНДАМЕНТЫ

...Дом вспыхнул сразу, по-злому, виновата была жара — дерево прокалилось да выветрилось, стало как порох. Вот этот порох и загорел. С ведром воды здесь нечего делать — не потушить. Да и тушить кому — Веня-то скрылся. Первым увидели дым соседи, прибежали Степан с Михаилом, прибежала Анна и стала кричать. На эти крики и поднялась деревня. Анна бегала вокруг дома и охала: «Поди, сгорел Венко? Вечером видела пьяного, шел из лесу, искал пятый угол». Мужики забежали в дом, все обыскали, но не нашли хозяина. Огонь уже рвался факелом. Пока вызывали пожарную машину — времени прошло много. Пожарки в этой деревне не было, а в соседнем большом селе при пожаре стоял такой человек, которого уж со всех работ поснимали, а за пожарной оставили. Вот он и подвел.

Но все равно добились машины, подняли с мягкой постели пожарного, заставили послужить народу. И вот уж машина врезалась в улицу своими зловещими фарами и всполошила не хуже пожара. Все подумали, что из машины, наверное, выйдет Веня спасти свой дом. Но он не вышел.

Машина прицелилась, струя ударила сперва в воздух, потом нашла пламя. И в первый миг показалось, что огонь от воды метнулся еще выше, закрыл все небо. Наверное, так и было, но это уже была агония, и скоро пламя заколебалось и стало гаснуть. Люди сгрудились возле дома, вздыхали — был дом, да не стало. На небе уже занималась ранняя летняя зорька. Она занялась багровая, как будто надышалась огня. По небу кружились птицы. Они походили на галок. Наверное, это и были галки, которые любят кружить над бедой. А потом к пожарищу стали подходить новые люди. Подошел директор школы; завернул бойкий старичок Иван Митрофанович; какие-то приезжие на мотоцикле подъехали — видно, собрались в эту рань порыбачить, да наткнулись на дым. Народ

загалдел на директора, зашептался: ишь, мол, прилетел сокол, твои, поди, школьники подожгли. Вот бы привлечь тебя к суду, голубчик, раз худо следишь за дителями. Но директор не растерялся, а задрал грозно голову да сам засверкал глазами — от него и отстали. Один Иван Митрофанович все ходил кругом дома, посмеивался: «Живы фундаменты-то. Поправить можно. Хозяин лесу прикупит да меня позовет, вот и поправим...» И опять ходил вокруг дома, посмеивался: «Интересное дело. Горело-горело, а фундаменты-то и не задело. Да и простеночки с милостью...» Народ глядел на него с уважением. Был он по дереву мастером, даже и мебель сбивал по срочному делу, и все у него выходило как надо — по совести, по уму.

Подъехал участковый на мотоцикле. Милиционер был молоденький, смуглый, как цыган. Звали его Николай. Его и встретили весело, как цыгана.

— Моя милиция меня бережет,— усмехнулся директор.

— Бережет, да не сильно,— поправил Иван Митрофанович.

Но все эти разговоры подавил Николай.

— Кто поджег? — Он расстегнул планшет, достал авторучку.

— А всех нас и пиши. Мы прогусарили парня,— опять вмешался старик Иван Митрофанович.

Его остановил Николай:

— Какого парня? Конкретно, граждане...

— Какого? Да Венку Китасова. Ты у нас недавно, не знаешь...

— Долговолосый-то...— кто-то подсказал из толпы. Николай нахмурился и захлопнул планшет.

— Долговолосый?

— Он, он! Иван Митрофанович проглядел, не успел опалить!..— Тот же голос ожил в толпе.

Все засмеялись, а Николай больше нахмурился, заподергивал нижней губой:

— Прошу не подсказывать, не ломать протокола. Я народ знаю, обязан. А Китасов не может.

— Почему? — удивился директор.

— Потому, гражданин учитель, что я сейчас видел Китасова. Стоял на дороге, сигналил...

— Ну и что? — опять удивился директор.

— А то, что подумайте... Если бы поджег, он бы

в лес побежал или в погреб куда. А то стоит голосует...

— Странная логика...— еще больше удивился директор.

Анна была рядом, слышала весь разговор. Когда те закончили, она улыбнулась, головой покачала. Лицо ее стало спокойнее.

— Слава тебе — живой, а то Катюшка лежит без сознания. Уже схоронила своего дурака. Пойду-ко пораду.

И ушла. За ней народ потянулся. А Николай опять губой заподергивал и завел мотоцикл.

А Веню прождали в деревне целый день, и на другой день ждали, и на третий. И все эти дни Иван Митрофанович уж совсем надоед со своими фундаментами. Он выпил немного в предчувствии близкой работы и всем хвастал: «Поправлю дом Веньке. Лучше нового будет. А он женится на Катюшке, спасибо скажет. Все равно сойдутся, надурелись...» Но Веня и на четвертый день не приехал. А через неделю сошел с первого автобуса парень, очень похожий на Веню. Он прошагал по деревне быстрым шагом, за плечами рюкзак провис, в руках чемоданчик с музыкой. Возле своего дома притормозил шаги, но разглядывать подробно головешки не стал, а направился прямо в лес. Этот парень был совсем тоненький, как жердинка. И походка похожа, враскачку. А удобу его сразу объяснили: видно, похудел Венко после пожара, окостенел. И у дома своего намеренно не оглянулся — зачем травить раны? Только Анна надулась: «Видно, соседей обвиняет в поджоге, раз не приворотил к ней, не поговорил». Надулась, а потом всплакнула: «Совсем один парень остался, сдунет его теперь любой ветерок». Она уж теперь и про Якутию знала — приходило письмо от Марьи Ивановны на их адрес... «Но ничего. Может, к вечеру приворотит парень — не в лесу же останется».

Но и к вечеру не явился. Тогда Анна забеспокоилась, да и люди, дураки, поднаумили: сотворит над собой что-нибудь, обязательно сотворит Венушко. С такого горя любой не выстоит. И они послали в лес бойких школьников: идите, проверьте, что там нашел. Они подползли к палатке совсем близко, но ничего по-хорошему не узнали — в палатке играл транзистор, а паренек лежал на спине и подпевал музыке. Тогда Анна сама отправилась в лес, подумав: раз поет парень, значит, что-то с головой у

Венушки сделалось. Она стала звать и кричать его по имени. Из палатки парень вышел: «Что надо?» — «Нет, не он?!» — испугалась Анна и одновременно обрадовалась. Парень засмеялся: «Ну, тогда до свиданья. Туристы мы». — «Дай бог не встретиться», — пробурчала Анна и повернула домой.

Директор школы рассказывал, что видел Веню в городском ресторане, продавал он внизу, в туалете, какой-то портретик, а может, иконку, и все по дешевке или просто за пиво. Увидев знакомого, отвернулся и отошел. Анна узнала про это и сказала мужу: «Видать, совсем до ручки дошел парень наш, раз торговать начал. Это, поди, мы расстроили его своими разговорами». И опять Анна захныкала, а потом — в слезы. Степан на нее рукой замахал: да черт с ним, мол, пускай живет в домишке своем. «А ведь нету его, дома-то, погорел...» И опять Анна заплакала, да и Степану стало нехорошо.

Потом видели паренька под вид Вени на катере. Плыл катерок по Тоболу, и горячее у него кончилось, и он подвернул в соседнюю деревню. На берег сошли человек пять парней и стали бренчать на гитаре. Кошку увидели, поймали и в воду бросили. Гитару якобы держал Веня, и играл он, и подпевал всех громче. Его окликнул агроном Павел Иванович, старший сын того мастера-старичка. Веня оглянулся и уставился на агронома пустыми глазами. Потом подмигнул и запел: «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги...» Агроном подошел поближе, взгляделся — вроде все совпадает, так и дома сказал, но на него замахался отец, Иван Митрофанович: «Ну ты и выдумал, он и на гитаре-то никогда не играл. Другой был парень. Вот погодите, приедет свой-то да навсегда останется. А дом што — поправим ему, живы фундаменты...»

А потом и до Степана дошла очередь. Как не дойти, раз вся деревня жила этим делом. Приехал он в город, в больницу, в аптеке порошки получил да решил колбасы купить. И колбасу быстро встретил — возле маленького киосочка с лотка продавали. Только колбасы отвесили, он оглянулся, а возле киосочка, возле задней дверцы, лежит паренек. Видно, выпивший, и видно, спит. Пиджачок на нем весь истерзанный, брюки в глине, потому что дело было после дождя. Не успел еще Степан удивиться как следует — Венушко ведь лежит, надо бы поднять его, — и вот

уж милиция подросла. Вначале мотоцикл загудел, а потом и сержант над Веней склонился. Сержантик в новом, чистенький, белозубый, наверно, потому и запомнился. Этот чистенький и в мотоцикл посадил Веню, и только газануть собрался, к нему Степан обратился: «Куда повезешь землячка моего?» Сержантик вначале не стал отвечать, тогда Степан повторно: «Куда его приберешь?» — «А тебе чего?» — «А то,— разозлился Степан,— что гибнет-погибает наш человек деревенский. Со всем его опозорили и пить научили, вот уж в коляске возят, показывают». Сержантик тоже показал зубы: «А мы его и судить будем, а потом пошлем куда-нибудь в холодно место на исправление да на лечение». И тут проснулся этот паренек да и понял все. Как не понять, если над самыми глазами погоны. Понял все и заревел, как ребенок, да прощения просит.

Именно так, слово в слово, и рассказал Степан своим домашним. Тогда Анна приподнялась: «Нет, Венушко не попросит прощения...» И была в ее словах даже гордость. «Ошибся, ты, батя, ошибся,— добавил Михаил и опустил глаза,— было у меня с ним такое дело. И то не заревел. Видно, другой парень был».

А потом сошлись как-то в магазине в очереди много народу, и Анна там была, и Иван Митрофанович с внуком Сашкой, и еще учительница из новых. Начал первым старик.

— Я так полагаю... Я так полагаю, этот Вено должен пожаловать на свои именины. В этот день все на кладбище ходит. К матушке своей ходит...

— Да ладно уж, Иван Митрофанович, не ворожи. Я сама чё-то об ем соскучилась,— проговорила тихонько Анна,— кто-то теперь стирает на него, уж приезжал бы да жил возле своих... Вон и дочка моя изревелась. Чё уж теперь — не скрываю.

— Ничего, целы фундаменты-то,— сказал Иван Митрофанович, и все засмеялись. Уж надоели эти фундаменты. Но меньшенький поддержал деда:

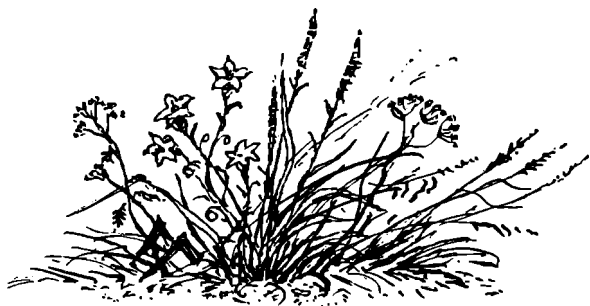
— Он мне скоро письмо напишет. Он меня рисовать учил!

Все опять засмеялись. А потом и жалеть стали Веню, потому что мать его вспомнили и отца. Эта хоть на своей стороне закопана, а тому, наверно, в чужом, холодном песочке лежать придется, да кто там придет на могилку!

А потом стемнело, и разошлась очередь. Да и коровы уже замычали, пора заставить... Анна тоже вернулась домой, а Веня — все в голове. Может, дело люди толкуют — сам виноват, сам и плачь. Да и приезжать бы пора: а то поправят дом да заселят или сельсовет под ясли отдаст. Правильно плотник толкует: целы фундаменты, а стены — второе дело.



РАССКАЗЫ





ВСЕ ПРОЙДЕТ, МАРИЯ...

Шли двое тихими полянами. Пахло травой и прелыми листьями. Вечерело, березы клубились. Рос туман над полями, растекаясь внизу сизым молоком.

Они долго задержались в лесу, теперь несли корзины с белыми грибами. Грибы в сумерках матово горели. Мария была серьезна, бледна, простуженно кашляла. Анна Ефимовна удивлялась всему, замирая от любого звука, радуясь ранней осени в полях, туману. В густом нескошенном овсе вдруг кулик застонал, и Анна Ефимовна вздрогнула, напряглась в слухе, прижав ладонь к виску. На краю неба уже поднялись звезды. Анна Ефимовна запела странную далекую песню:

Мимо рощицы дороженька торна-а-а,
Что торным, торна, пробита до песка-а-а,
Знаю, знаю, кто дороженьку тори-и-ил —
Добрый молодец ко девице ходи-и-ил...

Пела она проголосно, как поют в одиночестве, растягивая щемяще слова. Песня пришла старая, как и сама она, потому сильно нравилась Анне Ефимовне.

— Эх, Мария, теперь не поют так. И любят хуже — гуща не та... Н-да. А ты скоро замуж? В девках, что ли, вековать?

— Я уеду отсюда. Вы же знаете. Завтра отнесу заявление Кокину. Даже рад будет. И районо убедит.

— Не чуди, Мария. Все твои обиды — сухая трава... Дунуло — и нет. Э-эх, да что... Все пройдет, Мария... Все проходит. И Кокин не век директором.

— Анна Ефимовна, послушайте, мочи нет. Хочется

ходить без оглядки, а Кокин в рабочие планы суется, все тетрадки обнюхал... Нет, уеду.

— Слабая ты, Мария, а почему? Все напрямик хочу: это серьезно?.. Ну, твои обиды, работа без домашних заданий? Может, проба? Ты же умница-разумница — в старой воде не моешься... А чего же ты хочешь?

Мария закашлялась. Трудно понять — то ли плачет она, то ли кашляет.

— Ну, прости старуху — последний раз попытала...

Замолчали. Поля спали. Березы тоже спали, и трава — тоже, и кулик заснул. Туман в свете месяца качался медленно, сонно, и казалось, что в полях всегда ночь, тишина, никогда здесь не ходили комбайны, машины, не ругались шоферы, никогда не рвал березы грозовой ветер, никогда не настигал овсы град, не кричали дикие гуси. Хотелось идти и идти тихими полями, чтоб никуда не приходить, забыться, переживая в себе ночь, тишину, еще не рожденные думы. Не хотелось в такую ночь обижать человека, говорить ему злое, печальное, хотелось говорить милое, тихое, чтоб смыть с него всю боль, заботы, чтоб стал человек светлым, утренним, забыл плохое о себе, вспомнил только хорошее.

— Все пройдет, Мария, вот увидишь. Улетит вся печаль, ведь привыкнешь же к Кокину. Что он — черт, что ли... Да и ты молодая, силы у тебя мешок... Ой, какая ты еще молоденькая! Ой-ё-ёй... Давно ли я бегала молодая, уверенная?.. Молодые — все уверенные. Такая же была беленькая... Любила — и мужа на фронт отправила, только два письма и написал... Где-то лежит сейчас... Там тоже, может, ночь, и тишина, и дорога куда-то, и люди идут, и звезды. Вот такие же... А вот уж и младший сын давно в армию сходил, женился, скоро внуки нагрянут. Да-а... А я все бегаю, когда-то запнусь... Эх, летит время... И никто не живет дважды. Разве в памяти только? И надо жить, чтоб память осталась. А вот мы хнычем, обижаем друг друга. А жить бы просто, обоюдно, как эти поля. Осенью — хлеб, зимой — отдыхают, весной — цветут. И поля о нас все знают — и спокойны, и вечны, потому что хлебом нас кормят... Эх, Мария, как я ждала такой жизни, чтоб просто жить, дышать, любить внуков, бродить в лесу, ездить в незнакомые города и там ходить по улицам просто так, бездумно, так... И чтоб без забот жить настоящим, вроде заслужила это. Потом умереть спокойно.

И лежать дома, с этими полями. В тишине... В березовой тишине... И все бы помнили обо мне: всю жизнь, мол, людей учила, пусть теперь спит.

...Эх, Мария, Мария... Немного и жила так, когда вышла на пенсию. Сильно обрадовалась: мол, удрала от школы, педсоветов, вечной ругани... Трудно в последнее время работалось. Коллектив-то стал молодой, все старье вроде меня на покой разбрелось. Пришли молодые, ученые, за каждое слово цепляются. Каждому угоди, помоги. Ладила. И против шерстки было... Думали, новый директор меня заменит — все изравняет, покой будет. Только вижу — у вас шуму-то больше. Тяжело за вас, больно... Так и школу развалите. Эх, да что... Жить теперь как — не знаю. Не умею. Грибы солить, корову завести, по больницам шастать?.. Жутко мне, Мария. Прожила месяц — как в колодце сидела: кругом одна. О школе подумаю — кровушка в горле. За что себя наказала? За что? Ведь вижу вот: чужой здесь Кокин, чужой совсем. Говорят, на машину в очередь стал, в ограде всю траву цементом залил, прирубок к дому сделал... А зачем, Мария? Куда ездить-то? Вдвоем с женой только, даже на детей поленились... Эх, Мария!.. Болит у меня голова от него. Ведь мертвый Кокин-то! Живет, ходит, строжит вас, а сам мертвый. Сгнило дерево, в воду рухнуло, остановило течение, а вы-то на что? Вы-то? Ведь дети у вас на руках, и у тебя на руках, а ты их бросить хочешь, сердце-то где, что — волки съели? Все прахом идет... Кокин себе парник завел, а школьный сад бык Васька разгородил... Все прахом, жердь прибить некому... Где совесть-то, где ты? Ох ты, голубушка, забыли тебя, быку Ваське на рога бросили. Не могу я вынести...

— Все пройдет, Анна Ефимовна, все проходит, — усмехнулась Мария, закашлялась опять.

— Злая ты стала. Семью тебе бы, а то на корню сохнешь. Я вот девятнадцати лет вышла. Хотел мой родитель, человек старой веры, чтоб мы повенчались, да я чуть не в прорубь. Отстояла... Н-да. А тебе Кокин надоед, и ты заявлением машешь... А ты б напряглась да пнула в дерево-то. Трухлявое ведь, мозглятина... Силу тебе куда девать?.. Кому-то надо первому... Н-да... Зато потом хлынут за тобой, след в след пойдут, дорогу наторят... В этом ведь и смысл-то — первому шагнуть. Второму легче — впереди затылок будет, а заднему совсем хорошо, да

и спросу нет... Ты все сзади стремишься... Эх, дорогая, часто напролом надо!

— Легко сказать.

— Почему? Дело прошлое — сколько раз за тебя в районе стояла. Ты у меня всегда разумница. Шутишь — русский язык без домашних заданий ведешь! Все на уроке успеваешь! У ребятшек дома время остается. Детство им бережешь... Умница ты! Терпеливая только. Зачем оно, такое терпение? Кому оно? Из-за него дело губишь. Напористой надо! Тогда отскочат... Что, поди, по-старому уроки поведешь? Какую память-то после себя оставишь?..

Мария заплакала.

Падали звезды. В полях стало холодней, дорога скрылась в тумане. Он шел низом, тяжелый, и колыхался. Они брели по колено в тумане. И казалось, что по всей земле эта ночь, уж не придет ~~никогда~~ утро, не проснутся птицы, не покажется небо. За лесом, в ложбине мигали огни деревни, и женский голос кричал кого-то, — так голос звенел в ушах. Они пошли за ним, а голос шел впереди, точно звал их куда-то, может, к себе. Идти сразу стало легче. У Анны Ефимовны в груди стало тепло. Ей полегчало оттого, что выговорилась, созналась хоть одному человеку, что тоскует по школе. Давно знала, отчего тоскует. Да и как не тосковать? Вся жизнь ее — школа. Там познакомилась с историком Гришей, своим мужем. В школе начала стариться, болеть. В школе состарилась. Все это прошло — не вернется, но мучило, не отпускало.

Заменял в директорах Кокин, совсем молодой, уверенный в себе, с насмешливыми губами. Вначале он даже снился, узколицый, похожий со лба на дятла. Он клевал ее сухим клювом, она кричала. Потом чистил перышки, глаза у него бегали, красные, пустые.

Сны сбывались. Уже пенсионеркой, бывая в учительской, замечала, что Кокин смотрит из-под очков, а в глазах: «Зачем занесло старуху?..» Кокин был всегда уверен в себе. Думал, что самый умный в деревне. Он и был образован, знал два языка, только вот людей ненавидел. На каждого составлял свою мерку, и люди, чувствуя это, от него отдалялись. И чем дольше жил так, тем тяжелей ему было в своем одиночестве, и не было вокруг него, что бы его возвысило. Он был здесь не нужен, как сухой сук березе. Кокин смутно чувствовал это и тогда особенно ненавидел тех, кто был рядом. Ходил всегда

в блестящем плаще и круглой коричневой шляпе. Говорил всегда в нос и, когда говорил, не смотрел в глаза человеку. Она злилась на себя, что не любит его. Ей хотелось найти, узнать в нем добро, но во сне опять летал дятел. Просыпалась — во рту стояла горечь и трудно было сглотнуть слюну. Подходила к зеркалу, ужасаясь — как поседела за ночь. Седела ночами, когда бились в голове темные мысли, вспоминались все ошибки, что сделаны в жизни, все обиды, которые принес Кокин. Оживала молодость, промелькнувшая мучительно быстро, думала о муже Грише, который лежал теперь в земле далеко от дома, от детей и ничего не слышал, а рядом с этим опять вставал Кокин, сухой, в блестящем плаще, сжимавшем его тело, как панцирь, — она стучала кулаком в это твердое, гладкое, но сверху опять налетал дятел, долбил ее клювом. Каждое утро считала седые волосы. Когда смотрелась в зеркало, выглядела совсем старухой, потому что глаза были утомлены и тусклы, плечи вниз опустились, как после долгой работы, седина отливала сивым, кожа под подбородком обвисла и пожелтела. Она трогала ее ногтем, но кожа уже не слышала боли. Сердце в это время стучало еле-еле, пальцы у рук потели. Помочь ей никто не мог. В районе уважали Кокина, ведь он ездил туда советоваться по любому вопросу, ничего не оспаривал, молча и со значением выслушивал, а лицо было такое же умное, покорное. И тем казалось, что говорят они тоже что-то большое и умное, раз так внимателен Кокин, раз так широко смотрят его длинные глаза и предупредительны все движения.

По большим праздникам Кокин уезжал в район и там пил дорогое вино со своими друзьями, покорно слушал за столом их длинные хвастливые речи, значительно хмурился и так же смеялся, а потом рассказывал анекдоты из английского юмора, и все хлопали ему, многого не понимая, но думая, что это пикантно и другим недоступно, потом смотрели на Кокина восхищенно, считая его избранным другом. Анна Ефимовна знала об этом, и все знали. Если приезжал заведующий районом проверять их школу, то всегда ночевал у Кокина, свет долго не гас в больших окнах, всю ночь лаяла в ограде собака, гремела цепью, а сквозь раму пробивалась громкая музыка, голоса. Утром Кокин и гость приходили в школу утомленными, у обоих лица отекали от вина, походили одно на другое,

как два захватанных куска мела, учителя отодвигались от них смущенно. После уроков бежали к ней, сидели молча, вздыхая, в глазах вспыхивали свет и нежность. Она любила эти минуты, любила своих гостей, любила проступающую нежность в их глазах, которая у всех учителей постоянна и вечна. Уходили гости, опять оставалась одна, до боли в груди ненавидела Кокина, жалела школу. Потом приходила злость на себя. Почему сидит дома? Почему оставила школу? Почему в школу пришла беда, а она носится со своей старостью? Где ее смелость, где прямота, которой научилась от мужа? Как бы ее осудил теперь Гриша!.. Она стала мучиться этим. И теперь, в тихих полях, среди ночных берез, в тумане, наедине с Марией, мучилась снова, слушая свои слова, мысли, понимая их глубже и резче. И когда думала о Марии, о ее робости, о ее постоянной печали, хотелось защитить Марию от горя, неуверенности, обид, которые ходят в жизни за каждым. Хотелось сказать ей горячо и просто, что человек легко забывает плохое, а радость — не забывает, потому все печали проходят, а радости остаются. Пусть и она забудет Кокина, помнит только, как любят ее дети, ту нежную радость, ради которой и нужно жить на свете. Так же говорил Гриша. А ведь его жизнь прошла, погасла, и когда это случилось — разгорелось горе. Но и оно прошло, потому что Гриша ожил в их сыновьях, в ней самой, в ее мыслях, которые всегда заставляли нести другим радость. И теперь на пустой тихой дороге, разговаривая с Марией, утешая ее слабыми материнскими словами, она все время думала о себе, о Грише, начиная понимать, что муж осудил бы ее такую, придавленную Кокиным, с бесильным сердцем. Да и сама уже судила себя тяжелыми, злыми словами. С каждой минутой в ней крепло решение.

— Мария, что, по-твоему, честность?

— А-а, не надо. Куда клоните — вижу. Вообще-то каждый думает, что он честный. Давайте без этого. Я тоже всяко нажилась. Детства не видела... В войну мы Валеньку схоронили. Какая была сестренка!.. И я от голода чуть туда не ушла. Да что вам? Знаете же... Помню, первый раз мать пряников из магазина принесла. Дала один — остальные в мешочек. А я мешочек подрезала, ополовинила, а на остальных оставила зубы — мыши, мол. Так и матери сказала. Двенадцать лет было... Что скажете — украла? Украла... Я ведь тоже могла тогда за

Валенькой... А ведь думала: хоть разок досыта, чем по одному пряничку, а то вдруг война воротится, опять на всем крест... Не вздыхайте, не вздыхайте... Сколько и сейчас живут так. Какие дома понастроили, детей нарожали, и в домах-то до краев, а — вдруг война, думают. Что тогда? Опять голодуха, опять гробы,— вот и надо пожить им, подышать полной грудью, и не пугайте их честностью. Что они, люди плохие? Да будь война, они первыми полезут в огонь.

— И Кокин полезет?

— Зачем передергивать?

— Ну, вот, договорились. А он, может, тоже хороший? Зря мы с тобой... Все его парники, собаки на привязи, может, тоже от жажды. Пожить хочется, а вдруг война — и на всем крест.

— Так он же меня ненавидит...

— Эх, голова дурная. А если б любил? Другим бы стал?

— Хоть бы работала спокойно. У меня же ведь цель. Цель! Вы же понимаете... Одна в районе веду без домашних заданий. И верю в это, и ребята верят. А он меня душит, и вот это — бесчестно... Вы ответа добивались, и я вот ответила...

— Н-да. Бесчестно, честно. А если человек — артист? Ну, играет в честность. Артисты нравятся, люди любят театр. Только представление недолго идет, потом опять надо жить, работать, любить мужа, нянчить детей, с соседями ругаться... И знаешь, Мария,— опять мечтать надо!.. Да прости меня, старуху,— мечтать! И тебе надо, и мне, и всем. По-другому нельзя, тогда вот — крест.

— Я тоже мечтала. А Кокин все раздавил. Чего дрыгаться — у него власть...

— Не дрыгаться — драться, Мария, надо! Зубами рвать. А как же ты думала? Почти в каждом талант сидит. Да не каждому суждено до цели дойти. У одних нервишки сдают, у других в личном — кось-перекось. Третьих бюрократы стирают. И уж это — позор... Какой-то трухлявый пень встает на дороге — не пушу, мол, вперед,— а в него пнуть боятся, потому что он, к примеру, директор. Как бы, говорят чего не вышло... Старо, Мария. Как жизнь, старо... Не пойму тебя: цель, цель, говоришь, а сама шагнуть боишься — вдруг потоп, вдруг камень с неба? А вдруг нас сейчас волки съедят?..

— Перестаньте, Анна Ефимовна. Сами-то бросили

школу, пенсией прикрылись... Да вы не сердитесь, чего вы, не надо, я же так, так просто, — зашептала Мария, схватив ее за руку.

— А ты на уме не была у меня. А ругать — ругай. Тебе можно ошибаться, а мне уж нельзя? За кем пойдете-то, если ошибемся мы? Вон в вас сколько психологий набито... А за одно тебя не прощу. Нет, не прощу. Значит, пожить они хотят, а то война вдруг. Да они же родные братья ему. Нашему Кокину-то. У них все по полочкам. Ожирели — а как иначе: война вдруг, сала не будет... У тебя в голове всякие цели копошатся — к ногтю их. Указания нет... А знаешь, отчего оно? От трусости! Как ни крути — от трусости... А Грише моему бронь давали, и сынок у нас появился, а он — в военкомат... Попросил прощенья у меня, что одну оставляет. Всегда у меня прощенья просил, когда обижал... Эх, Мария, какие то были обиды: то на работе задержится, то в сельсовете на сессии до полночи, а я одна да одна. Для людей прожил, потому и помнят все... Нет, не дал бы он дома закрыться. Поворочали бы мы с ним пеньки...

Анна Ефимовна замолчала. С ней творилось неладное. Стали зябнуть кончики пальцев, в груди вспыхнул жар и поднялся к горлу — она ждала, что сейчас кольнет в сердце, оно заколотится и придется лечь на дорогу, лежать, пока не пройдет боль. И точно — сердце сдернулось с места, точно кто-то его ударил. Глаза ничего не увидели впереди, она шагнула, но чуть не упала, потом опять в глазах появился свет. Послышались шаги Марии, увидела низкое небо с крупными звездами — и ей стало стыдно своей слабости. Мария кашляла, но в горле не прокашливалось, оставался скрип. Не хотелось, чтобы Мария узнала про ее сердце. Капли тумана садились на лоб, холодили, и это успокоило. Чтоб проверить себя — прибавила шаг. Сердце примолкло, натолкнувшись на неведомую силу сопротивления, недоумевая, откуда она. Потом забыло про нее, стало стучать спокойно и ровно. Жар в груди угас, и в ладони зашла сила. Как всегда после боли, образовались в теле какой-то звон и слабость, немного кружилась голова.

И она поняла, что сердце сердилось на Марию, не вынесло — бросилось с кулаками, но она его сдержала. И ее радовало, что есть еще силы сдержать сердце, заставить подчиниться, значит, до смерти еще далеко.

В теплых огнях, в длинных пустых переулках стояла деревня. Они подошли к ней совсем близко. Лаяли глухо собаки. Рядом играли на гармошке. Гармошка скрипела, как дверь. Мария перестала плакать, но легче не стало. Думала, как уедет туда, где не будет Кокина, и станет легче, где найдет суженого. Об этом Мария думала всегда, думала и сейчас. Но только сейчас еще сильнее жалела себя, обвиняя кого-то за то, что одинока, живет надеждами. И сегодня снова никто не ждал дома. Было страшно заходить в пустую чистую комнату. Она часто спрашивала себя: а что, если не выйдет у нее в школе и не будет семьи? Внутри холодело. Но в школе выходило все радостно, чудно, потому что ее любили за интересные уроки, а ребята считали ее самой хорошей на свете. И жить было спокойно. На уроки ездили учителя из других школ, удивлялись: как это без домашних заданий? А потом видели, как ребята все успевают на уроке — выучить правило, написать изложение, придумать примеры, и глаза у них в это время горели, как в счастливой игре, и у Марии стучало сердце, хотелось расцеловать их, как родных. А потом в учительской, разбирая урок, приезжие вздыхали смущенно, разглядывая ее, как знаменитую балерину, но в глазах их тоже стояла радость. И она жила этим, потому что ею гордились. Все разбил Кокин. Он сказал, что вести, мол, уроки без домашних заданий — дурной повод для многих и глупо. А может быть, она изображает из себя, чтоб прославиться? В таком случае — эксперимент окупится дорого. Еехватило только на слезы. Теперь имела полное право жалеть себя. И жалела. И в этой жалости ей было хорошо, точно плыла в теплой воде, от которой разжимался комок у горла и в голове текли смутные круглые мысли, одна по одной, не сходясь, не сбегаясь. И сейчас она уже забыла про себя, а в глазах вдруг выплыла шляпа Кокина, потом и лицо его, потом потекли слова Анны Ефимовны, какие-то старомодные, давние, потом вдруг услышала, как рядом в деревне играет гармошка, и сразу же запахло туманом, мокрой травой — и руки совсем ослабли, чуть не выронили корзину. А Анна Ефимовна опять заговорила горячо, сильно, слова показались, как горох по полу, сколько горошин, столько слов, но нельзя их собрать, да и не хотела Мария, потому что пришла опять жалость к себе, и она пила ее по глоточку, а когда дошла до того, что скоро уедет — представила,

как все ее будут жалеть, не отпускать,— и Мария умилилась, запрокинула голову, подставив лицо теплomu запаху травы, которая возле деревни дышала сильнее, но так же неясно, как и в полях.

А Анна Ефимовна вдруг перестала думать о Кокине, радуясь, что прошла сегодня километров десять и ни разу не отдохнула. Значит, есть силы. Ведь она решила вернуться в школу. И как только решила, сразу стало легко, забылся длинный узколищый Кокин и то, что нужно с ним ругаться, и то, что придется работать пока почти даром — все классы разобрали, и то, что недавно ей исполнилось шестьдесят. Она всегда стыдилась быть старухой.

— Все проходит, Мария, все...— сказала она чуть слышно, подумав о том, что прошла ее злоба на себя и тоска. Хотелось, чтобы у всех было ясно.— Не уезжай, Мария! И жениха найдем. В деревне-то не парни выбирают, а девки. Давай смелей. И Кокина будем вместе лупить,— сказала она весело, засмеялась.

— Как — вместе?

— А четырьмя руками...

— Куда мне...— вздохнула Мария, закутав горло тяжелым воротником кофты. Она всегда простывала.

Началась деревня. Бросились под ноги собаки с лаем. Из окон лились белые полосы света. Анна Ефимовна обрадовалась жилью, светлым окнам, собачьему лаю, соскучившись в полях по живым звукам, по людским голосам, и теперь оглядывалась вокруг тревожно-радостными глазами, точно зашла впервые в эту длинную, бесконечную деревню, полную шорохов, вздрагивающих голосов в переулках, от которых делалось все вокруг милым и нежным. И в ее душе поднималась новая, молодая сила, от нее стало в груди горячо. Падали звезды. От этих угасающих звезд, от тихих пустых полей, которые еще жили в ней, от тумана, от слабых ночных звуков, от новых мыслей стало легко и просто.

— А трусость, Мария, тоже проходит. Мы сдавим ее в себе и выбросим. Нельзя же уйти от жизни, нельзя, поверь... Человек рождается для мечты. Это не высокие слова — пойми же, наконец. И пусть пройдет пять, десять лет, а мечта должна жить! Если потерял ее — значит, и не жил, а сидел в норе, как твои эти, которые в свои особняки заползли и закрылись... А знаешь — чего там делают? Ха-а, чего?! Водку пьют, анекдотом закусывают.

Не люди — гуси. Они-то уж честные... Не приставай к ним, Мария. У них ведь тоже не сразу...

— О чем вы?

— Не дури — понимаешь... Должна же ты!.. А если растеряешь теперь, к старости не собрать... А придется собирать...

Мария смолчала. Опять стала кашлять. Обрадовалась кашлю: можно было не отвечать теперь. Под ноги падал теплый свет. На лавочках сидели пары, и, когда они проходили рядом, пары затихали, потом опять начинали целоваться — в тихую ночь все слышно. Собаки этих двоих уже узнали, не лаяли, только забегали вперед, смотрели в глаза и скулили.

— Ничего, еще заживем... Еще заживем, Мария! И покажем! И память о себе оставим! Эх, Мария, спасибо тебе, спасибо... Я шла, все на тебя нападала, а сама, видно, на себя нападала. И докипело...

— Что докипело?

— А-а, да стыдно... Еще осудишь, вы ж крутые — молоденькие-то... Потом... Спасибо!

Они простились. Звезды падали чаще. Стало холодней, сильней заскрипела гармошка. В деревню тоже пришел туман. Лай собак стих — глотки у них осипли. Звезды над туманом сделались ярче и такие же синие, как там, за деревней. Где-то рядом фыркали кони, бились в стойлах, просясь на волю, на них кричал сторож.

Мария свернула в угловой дом в переулке, а Анна Ефимовна пошла скорым шагом в конец деревни, где стоял ее белый, уже постаревший домик, который построил сам Гриша. Ноги неслись быстро, запинаясь о сухую бровку дороги, но она ничего не замечала, не видела, точно неслась во сне, летела, ладонь к виску прижалась, и сердце жило в тугих, ясных толчках, в висках звенело, и казалось, что она молода снова, полна желаний, предчувствий,— может, жизнь сотворит ей какое-то великое чудо, точно вернется оттуда Гриша, спадет с головы седина, усталость, сгорят бесследно заботы...

Утром в кабинет нового директора школы зашли две женщины. Он увидел их и стал что-то долго писать в большой книге. Лицо напряглось, от шеи поползли вверх пятна, ручка еще сильнее заходила в книгу. Он думал: зачем пришли эти двое? И если сейчас старая будет ругать его, за молодую заступаться, то он уже знает, что ответить. Мо-

жет, просто не будет слушать, выйдет. Так даже достойней. Но они принесли заявления. Мария просила ее уволить, а Анна Ефимовна просила хоть какую-нибудь работу. Кокин потерялся и, чтоб не принимать ложного решения, сразу поехал в районо советоваться. Когда он заводил свой новенький зеленый мотоцикл, Мария сильно заплакала, стыдась, кутаясь в платок до глаз. А Анна Ефимовна радовалась, рассказывала что-то громко, шутливо, и все смеялись и поздравляли ее почему-то с новосельем. А потом стали качать на руках. Бросали кверху осторожно, потихоньку, она крутилась на руках, ойкала. Подошли ребята и стали петь песни. И когда запели «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги...», голос ее был самый звонкий. И не хотелось ей, чтоб песня кончалась.

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

Дул северный ветер. Начался он у холодного океана, прошел долгую дорогу и опустился на деревню, где жил Никита. Ветер принес снег, холод и мглу. Сразу, ровно камень с неба, ухнула на землю зима. Застыло озеро, вымерло, и только в полынье у берега нырял растрепанный гусь. Видно, от ветра он ошалел, забыл о своей стае, которую давно заперли в хлев. Никита поймал гуся, отогрел в избе у загнетки и отнес соседям.

Ветер дул сильнее. Он смешался со снегом, стучал в окно громко, по-человечьи, и пролетал дальше. За домом росли деревья, они гнулись, отчаянно раскачивая ветвями, но не ломались. Деревья были молодые, им даже нравилась буря, и скоро они к ней привыкли. Ветер от них отступился и напал на старую яблоню. Она стояла позади деревьев, широкая, в темной, старой коре, по которой вились трещины и бороздки. Летом в них жили муравьи, осенью стекались капли дождя и тихо, как капли смолы, сбегали в землю.

Яблоню посадил Никита в конце войны. В тот день принесли похоронную от Коли. Никита не верил, что от сына осталась на земле только коротенькая бумажка, не верил, что Коля никогда не зайдет в избу, не сядет за стол, не поедет с ним косить сено, не пойдет по деревне с гармошкой, не приведет в дом невесту. Никите было нужно, чтоб сын всегда был рядом, потому он и не хотел слышать о его смерти, потому и посадил он тогда яблоню в честь

Коли. Назвал ее «Колина яблоня». И когда коротенькое дерево выпрямилось над землей, раздвинуло вширь сучья, Никита размял руками возле него всю землю, вынул соринки от корней прошлогодней травы, полил эту землю — и задумался, сжав голову длинными, сухими руками, забормотал про себя, и голос его был прерывист и смутен:

— Живи, Коля. Живи давай... Ты слышишь? Слышишь? Вот оно, да... Я вот рядом, и ты живи, живи.

И то ли показалось Никите, то ли качнула яблоню сама земля, своим дыханием качнула, только он увидел, как вершина к нему наклонилась, полезла в ладони, потекла между пальцев, приближаясь к лицу, уже дуло от нее холодком и слабой горечью, уже ничего не видел Никита в себе, забыв обо всем, уже на самых щеках трепетали и бились сучья вершинки, а в глазах закачался внезапный туман, и таяла слабость в теле, уже не мог стоять на коленях, а выпрямился, но яблоня тоже поднялась за ним, прижалась к щекам вершиной, — и Никита увидел Колю. Щеки его были небриты, и когда к ним прижался Никита, они укололи, и волосы были тоже упрямы, колючи, торчали ежиком, ни вперед, ни назад не ложились, и ладонь Никиты чувствовала каждый волос, но не могла их разглядеть. Коля от него оторвался, побежал к вагону. На спине у него дергался зеленый солдатский мешок, больно бил по спине. Станция была маленькая, родная, здесь Никита родился, и Коля — тоже, и все поезда ходили свои, родные, но теперешний поезд стоял чужой и длинный. И только сын заскочил на подножку, поезд лязгнул и повернул несколько раз колеса, и все, кто был с Никитой, закричали, кинулись к вагонам, но стукнулись о железный поезд и отшатнулись. А поезд набирал скорость, выбираясь из крика и воя, и Никита уже ничего не мог впереди увидеть. Стало вдруг тихо. И в этом оцепенении люди сроднились, а потом долго не могли уйти друг от друга, и Никита тоже утих, подумав, что людей на войне много и они сохраняют сына, — и все думали так же.

В ногах совсем не стало силы, он опять сел на землю. Пылали лоб и щеки, не открывались глаза: ему опять показалось, что он гладит по волосам Колю.

— Пиши чаще. Ты пиши, ладно?... Меня не забывай, мать не забывай. Куда попало — не лезь... Берегись, только берегись. Береженого — бог бережет...

«Ах ты, бог, бог, зеленый бог», — усмехнулся Никита.

Когда был парнишкой, думал, что бог зеленый, живет в кустах над рекой, ночью выходит и отпускает сны людям: одному — хороший, просторный, другому — плохой сон, тесный до крика, а утром бог всех будит и опять уходит в кусты спать, поручая солнцу следить за землей. Вырос в большого мужика Никита, а все верил в зеленого бога, может, хитрил, что верил, но все равно боялся снов, плохих и смутных, зато радовался, когда во сне широко ходил или плавал, чувствуя под руками вольный зеленый воздух, который забивался в ноздри и в грудь, проходил приятной прохладой.

— Какой ты бог, коли не сберег Колю моего! Если смерть тебя не боится... Ну, вот оживи Колю, оживи! Коля, Колька!.. Беги ко мне... Ну беги.. Давай ножками. Ох ты, мой махонький!.. Ну, чё ты, живи давай, живи. Я тут, тут. Куда ты, куда ты?!

Гудели в ушах чугунные колеса, и далеко-далеко от поезда разносились по воздуху угасающие крики, и Колин крик терялся в них и бился, неразличимый, пока не пропал, пока не пришла тишина и надежда увидеть его живого. Одна бровь подгорела у Коли (недавно вспыхнула от молнии ферма, и он тушил пожар), а под бровью шрам означился — желтая бороздка. Под короткой спаленной бровью левый глаз смотрел ярче и улыбался, а другой глаз был печальный и узкий. Никита тогда потрогал в последний раз ту бороздку и никак не мог вспомнить, отчего она, откуда, — так и не вспомнил — загредел поезд, а теперь вспомнил. Вез он его, маленького, на телеге. Копали на пашне раннюю картошку и домой к вечеру поехали, и от круговой тишины, от усталости оба уснули. На мостике телегу качнуло, Коля на землю выпал, по щеке царапнула сухая трава, только бровь задела. Наутро запухла бровь, и лицо сразу стало сердитым и чудным.

Никита протянул вперед руку, она задела вершину, и он поднял голову. Потом поднялся с земли и выпрямился во весь рост, захотелось куда-то уйти, но уйти от яблони долго не мог. Она вернула опять все недавнее, страшное, что Коли уже нет на земле и не будет, что Никите уже нечего в жизни ждать и угасать пора, собираться в последнюю дорогу, но сама яблоня, ее голубая кора, пронзительно острые сучья и прямая вершина, влажный ствол от воздуха и от прикосновения Никитиных рук, широкие, уверенные корни, которые только что распрямились в

земле, но еще не забылись с виду, — все это легло на его мысли, как теплые ладони на щеки, и пришли надежды. Коля уже не было, но он все равно был; Коля лежал где-то в сырой земле, но он все равно за спиной дышал: не услышать теперь его голос, но он все равно в Никите горел, и тот потрогал большим пальцем голубую вершинку и вздрогнул, вроде бы Колин лоб потрогал, и опять забормотал, больно сжав веки:

— Давай живи... Давай вырастай, Колька ты, Колька...

Когда шел до крыльца, назад оглядывался, в коленях стояла усталость, знобило спину, а плечи стягивало. «Еще, поди, к ненастью», — подумал Никита. Поднял глаза. Двигалась туча. Уже капало. В избу зашел — и начался дождь. Он был негустой, спокойный, даже соседская собака у ворот не проснулась. «Хоть яблоню промочит», — подумал Никита. От дождя сделалось темно, точно пришел вечер, но дождь был тихий. Капли его спокойно садились на стекла и, совсем отяжелев, скатывались вниз, оставляя вверху после себя белые полосы. По старой мужиковской привычке Никита всегда радовался дождю, думая, что вот и опять напьется голодная земля, а теперь думал, как хорошо будет яблоне с такого дождика — расти да расти.

* * *

Через четыре года яблоня зацвела. Никита потихоньку гладил ее острые ветви, обводил ладонью теплые листья, и казалось, что под ладонью у него Колины волосы, — и все в нем застывало. Яблоня светилась белыми и розовыми цветами, светила днем и ночью — и во сне к нему приходил Коля. Он был маленький, белый, как Никита, и тихий. Они шли вдвоем в поле, а над головой летели большие белые птицы, и крылья у них не шумели. Но летели они быстро. Коля бежал за ними, коротенький, белый, и голова его качалась над самой травой желтым нездешним цветком, и в Никите начиналась дальняя старая песня: «Вырос во поле цветок, ой да а-а-аленький», — но Коля бежал все быстрее, быстрее махали крыльями птицы, и Никита вздрагивал, в груди делалось больно, тоже бежал за сыном, но он не давался, прямо из рук выскальзывала его рубаха. Никита кричал, срывалось дыхание, но Коля убегал все дальше, и голова его

качалась в траве маленькой светлой точкой. Не хватало воздуха — и открывались глаза. Он рассказывал жене о сыне, и та замирала. Шли к окну смотреть на яблоню. Она спала под луной, белая, тихая, — и они тоже стихали.

Сны повторялись, то плохие, то ясные, и каждый раз он подходил с женой к окну и смотрел на яблоню. Яблоня сияла.

Наступало лето. Никита работал на комбайне, уставал не от работы — от старости, и когда заходил домой, отдыхал возле яблони и рассказывал сыну, сколько наросло хлеба, сколько пришло в бригаду комбайнов, сколько выручил он прошлой осенью денег и что купил на них Любе. Коля слушал: листья подрагивали, пахло от них теплым и горьким.

Скоро возле яблони посадил Никита малину, смородину, семь молодых тополей. Они прижились, ушли корни в землю и крепко там зацепились, а «Колина яблоня» стала стариться. Цвела, цвела, да вот уже и кора сгорбилась, потемнела. Потом ослабили корни, а скоро и сучья заболели, стали иссыхать.

* * *

Ветер напал на нее внезапно. Сразу отломился большой сук у корневища. Но Никита еще не знал. Он смотрел в улицу, прижав ладонь к виску. Улица стояла пустая, белая от снега, незнакомая. Снег летел косо, крутился, закрывал небо. Никита ждал жену. Рано утром Люба уехала в город навестить сестру и должна была уже вернуться. Он беспокоился и тревожно смотрел на снег. Жену он любил не меньше сына и звал ее как в дальней молодости — Любой, и всегда на этом слове голос его слабел, вытягивался и выходило неловко: Лю-у-уба. После похоронной от Коли она навсегда присмирела и все в ней осеклось, пришли болезни. Никита задышался от сильной жалости к жене, никуда не отпускал ее от себя надолго, веря, что возле него ей легче от своих болезней. И ей было легче. Она тоже за долгую жизнь привязалась к Никите и часто, когда тот спал, глядела на него широкими прекрасными глазами, и губы у ней были открыты. Он чувствовал ее взгляд, но хитрил: будто бы не проснулся, но сердце колотилось сильно-сильно, — и он бледнел. Утром они вместе протирали марлей у яблони листочки, и лица у них были серьезны.

Ветер добрался до вершины, качнул ее сперва осторожно, хитря, примеряясь, потом бросился всей грудью, но яблоня только согнулась, не сломалась. Ветер отступил, закрутился над пряслом, сдирая с березовых жердей бересту. Возле малины намело сугроб, под ветром он потемнел, как от дыма, вытянулся в дугу, и верхушка дуги клубилась. По улице проехали на телеге. Колеса стучали по тонкому снегу отчаянно громко и сухо, лошадь фыркала, задирая морду. В ноздри ей летел снег и ветер, она скалила зубы, крутила хвостом, и бока ее часто западали: видно, трудно дышала. Стук от колес зашел в избу, отдался в ушах, завладел всем телом — и Никита вздрогнул, подошел к другому окну, вытянул шею. Большой сук лежал возле яблони, внизу, у корней, зиял белый излом. Никите показалось, что он дымится, растет на глазах. Он закрыл глаза, открыл снова, глазам стало больно, а от головы точно отпал затылок. Никита выбежал на крыльцо, на ходу выдирая из брюк толстый ремень, тот не давался в руки, пряжка его царапала кожу. Когда подбежал к яблоне, ветер уже нырнул в улицу, испугавшись Никиты, и в саду сделалось тихо, как до бури. Он примотал сук к стволу ремнем, ремень крепко обвил дерево, и когда Никита поднялся, то показалось, что кто-то смотрит. Он озираясь, крутил шеей, потом от усталости зажмурил глаза. Яблоня протянула навстречу ему все сучья, которые разом лезли в его ладони, укалывая кожу сухими, еще не проснувшимися почками. Высоко над головой летели полосы снега, как длинные белые птицы, и крылья их были бесшумны. «Вырос во поле цветок, ой да а-а-аленький» — пронеслось в Никите, и в горле сделалось тесно и сухо. В глазах опять встал Коля. Никита дотронулся до желтой бороздки под левым глазом, а в душе опять зазвенело больное, давнишнее — «Вырос во поле цветок...», — и сын вырвался из рук. Коля побежал по длинному полю, а впереди стреляли, а он был самый заметный, самый широкий. И он упал на траву, далеко откинув от себя руки.

Никита увидел вдруг длинную безгрудую цыганку, которую встретил тем летом в городе на базаре. В красном, изъеденном молью платье, в тусклых бусах, она была жалка, несчастна, только голос, веселый, визгливый, заставлял в нее верить. Она схватила его за локоть — от платья пахло табаком и луком — и завизжала:

— Ай, маладой, маладой. Скажу правду — не ужалю.

Ты человек добрый, оттого и страдаешь. Ай, какой добрый...

И, как многие добрые люди, он поверил цыганке. Многие думают про себя, как они добры, доверчивы и от этого страдают, а остальные вот — злы и бездушны. И как они по-всякому радуются, если им говорят в глаза, что они доверчивы и добры. А цыганка сразу об этом сказала Никите, а потом загадала на Колю:

— На седьмом кресте вижу, на седьмом берегу сидит, на седьмой раз дойдет до дому...

А с войны еще ехали солдаты, хоть она и кончилась месяц назад, и Никита шептал про себя: «На седьмой раз дойдет до дому», а цыганка лезла в лицо горячими глазами, белозубо смеялась, и Никита поверил, что сын жив, что дойдет все равно до дому. А она тараторила:

— Ты сам маладой, сын придет маладой, поженится.

И хотелось Никите отдать все этой радостной цыганке, да сгрести бы ее в беремя и пронести через весь базар, как что-то уже родное. Но ушла утешительница, заплакав от старенькой сотни, которую сгоряча положил Никита в ее длинную ладошку. Горбилась голодная спина, жарило сильно солнце, а голос опять вызывал к себе из толпы чьего-то доброго человека, а потом цыганка оглянулась — опять смеялись глаза, — и вспоминал тогда Никита опять про своего зеленого бога, — и пришли надежды.

* * *

Ветер больше не трогал деревья. Никита открыл глаза, задев потихонечку сук, он не качнулся, ремень держал крепко. Руки ныли от ветра и холодных уколов снега, и Никита пошел в избу. Улица стояла пустая, только потемнела и оттого стала узенькой, совсем незнакомой. В окнах зажглись огни. Они были слабые, желтые, еле пробивались сквозь плотные шторы и ставни. «Ну, Никита, держись!» — говорил он о себе и усмехался. Хотелось опять побежать к яблоне, но ныли ноги. Он присел к столу и ладонями взялся за колени, боль стала легче. И закопошилось в голове такое простое, понятное: «Старость — не радость». Рядом, под окнами, раздались голоса. Он вздрогнул, но это была не жена: из школы провожали ребята учительницу. Никита любил эту новенькую учительницу, красивую, с большими глазами, за

то, что звали ее, как и жену, Любой. Голоса сделались веселые, громкие, на весь дом, и он им обрадовался, и все хотел понять, о чем говорят, но не понял. «Вот бы Коле такая невеста...» Никита часто заморгал, достал с полочки у стены папиросу, взял ее далеко в зубы, крепко сдвинул посередке, но спичку не зажег, потому что курить недавно бросил. Голоса стихли, опять слышался ветер. В избе нестерпимо громко зазвенело стекло в раме, ударил ставень. Ветер обошел дом, пролетел над крышей и опять стал раскачивать молодые деревья, и те размахивали ветками, точно дразнили его, точно никогда не могли устать, и только одного им хотелось: чтобы быстрее наступила ночь, а потом быстрее прошла и встало над ними солнце большое и светлое, чтоб все кругом увидели, какие они молодые, великие от своей силы. Еще им хотелось защитить старую яблоню, выбить из ветра всю злость и смелость, но ветер опять их оставил. Никита выглянул в окно. Ветер, словно торопясь, закрутился в стремительном вихре, взлетел вверх, набрал полную грудь силы и отчаяния и напал на «Колину яблоню», свирепея с каждой секундой, крутясь у вершины в белом вихре, — и вершина треснула, тяжело свалилась на снег. Никита подбежал и выдернул вершину из снега, ободрал о сучки сухую кожу на ладонях, и все, что крепилось в нем на тяжелых давних болтах, треснуло, вышло криком; в глазах полетели белые длинные птицы, а он все кричал, задышался:

— Коля! Коля!

Но тот не останавливался, бежал по полю, коротенький, белый, туда, откуда стреляли, откуда несло на него желтое пламя. Никита не отпускал его из глаз, побежал следом, хотелось ему обогнать сына, чтобы спрятать его за своей спиной, но обогнать не мог, только кричал:

— Колька, куда ты? Куда ты? — Но голос его не доставал до Коли, может, глушила его стрельба и дальние залпы, может, забыл сын отцовский голос.

В лицо бил синий, упругий воздух, сзади Никиты тоже кричали люди, видно товарищи Коли, а впереди стреляли все громче, и хотелось ему, чтоб попали в него, а не в сына. Поле не кончалось, только все время проваливалось под ногами, но Коля не останавливался, не задышался и вел всех за собой, и за ним бежали упрямо и долго, никто не падал, хоть пламя было все ближе



и ближе. Оно уже жгло глаза и щеки, но Коля продирался вперед, и все за ним бежали, отчаянно махая винтовками. Первым упал Коля, но атака пошла дальше, уже без сына и без Никиты, и скоро кругом стало тихо и ясно. Никита добежал до сына, стал трясти его за руку, звать, но тот ничего не понимал, не слышал, видно, забыл уже про отца и про мать, про все на свете. «Вырос во поле цветков... Вырос...» — отозвалось в Никите и угасло. Очнулся возле яблони. Стало нестерпимо холодно в руках, и опять вспомнилась, как в тумане, та цыганка, и он усмехнулся — как наврала она, да и нет на свете никакого зеленого бога.

В саду было тихо. Видно, ветер выбросил на яблоню всю силу и теперь распался в воздухе на сотню бесполезных вихрей, которые понеслись дальше, сбегаясь где-то далеко в бурю. Волосы у Никиты залепил снег, залетал он в открытый ворот, потому на груди стало холодно, а руки горели. Никита ослаб от этого забытья, но щеки тоже горели. «А где же Люба? Почему она все еще не едет?..»

Зашел потихоньку в избу, присел на лавку. «Я тоже скоро умру», — подумал о себе, как о чужом, и усмехнулся. Тихо, далеко от него, стучали часы, точно капали тихие капли. Вытянул на коленях руки, они заняли много места, сухие и длинные, кожа на ладонях треснула и побурела. Эти глухие борозды уже не смывались. Никита подумал, что родился он так давно, что забыл совсем себя, молодого и крепкого в теле, только помнилось время, когда встретил Любу, и то, когда появился Коля. В голове мелькнуло печальное: «Я все равно скоро умру. Умерла яблоня, и я тоже умру...» Но захотелось вспоминать то давнее, счастливое, и оно все вспоминалось, ясно вспоминалось, поднялась от него в голову внезапная сила — и ладони стали сжиматься и разжиматься. Захотелось прожить еще до весны. «Почему до весны, почему?» — усмехнулся Никита. «Ах ты, Никита, еще тебе мало...» — опять думалось о себе, как о другом человеке, и в глазах того, другого, вдруг вспыхнуло белое зарево — цвели яблони. Они все походили на «Колину яблоню», только были ее больше и крепче. Они одеты в зеленые молодые листья, от них исходил едва ясный божественный запах, от которого беспокойно кружились мысли. Никита опять сжал голову тяжелыми, едва сгибающимися руками, но уже нельзя было выгнать из головы те мысли, но и привыкнуть

к ним сразу тоже нельзя, и он только повторял, убеждая кого-то:

— Для Коли это. Для памяти. Такой молоденький был, даже детей не успел... И меня вспомнят: мол, отец копался. Как же не вспомнить...

И опять давняя ворожба зашла в голову. Может, правду сказала цыганка и сын все же вернется: зайдет домой с белыми яблонями. Ведь не уходит добрый человек с земли без памяти.

Никита приподнял голову — и вот уж сад разметнулся далеко-далеко, стояло над ним солнце, а люди шли мимо, смотрели на Колин сад, и было им так чудно. Руки перестали дрожать, напряглись и вздулись. «Еще поработают рученьки...» — вздохнул Никита и зажмурил глаза. Опять поднялись в глазах деревья, высокие, белые. Их длинные спокойные ряды тянулись бесконечными линиями — они тоже успокаивали, и было в них что-то великое, чего не знал Никита, только чувствовал. Падал белый, неясный снег за окнами, а в глазах колыхался яблоневый сад. Никита решил садить большой сад. И этот цвет не гас, не свертывался от солнца.

На улице шумели люди — видно, пришел из города автобус. Громче всех говорила жена и смеялась. Никита радостно вздрогнул, ведь и Люба будет помогать садить этот сад вместе с ним, с Никитой, и ему стало совсем хорошо. Выбежал в ограду. Вышла луна. Ветер стал неясный. «Мы посадим его, посадим», — быстро-быстро моргал Никита и дергал ворот рубахи. В небе означились звезды. Их было еще мало, но они загорались на глазах, освобождаясь от туч, которые принес ветер. Подумал Никита: куда ушел этот ветер, кому беду понес? Звезд стало много. У ворот захрустел снег, и Никита бросился вперед через сугроб, хотелось быстрее услышать ее голос. Люба поняла его шаги и что-то крикнула громко и весело, как в молодости, в дальней счастливой молодости.

В КОМАНДИРОВКЕ

Они спорили долго, и ей надоело спорить. Оба были молодые, нравились друг другу и встретились совсем случайно. Теперь бы радоваться встрече, вспоминать недалекое детство, а они пускали друг в друга тяжелые слова — о счастье спорили. Как, мол, распознать счастье в густой путанице дней и какой смысл должны вкладывать люди в это слово. Коля Черкутин, серьезный, большеглазый парень, утверждал, что есть счастье на один день и на всю жизнь. В газете Коля работал и спорить умел хорошо. Глаза его пылали и щеки тоже. Говорил Коля, что вот написал он, к примеру, очерк. Родился очерк глубоким, сильным — в тот день Коля счастлив, своим очерком счастлив. Но есть счастье на всю жизнь: это главная цель на земле. Когда завоевываешь ее, страдаешь, борешься с собой, и этим счастлив.

Так говорил Коля. Нина Панкратова, врачиха из Падеринки, сказочно красивая, с высокой прической, в белой кофте, слушала его улыбаясь. Коля ей нравился и был дорог сейчас, когда горячился, и похорошел оттого, и в глазах его стояло сияние чистоты и силы. «Милый какой мальчишка», — думала Нина и кусала губы. Но вот она прислушалась к его словам — очарование спало. Наигранным проглянул Коля. Видно, спорил он только ради нее, чтоб умницей показаться. «Осажу-ка», — подумала.

— Счастье, Коля, у каждого свое. У тебя — свое, у меня — другое вовсе. Не подгоняют же жизнь под какую-то цель. Живем мы ради того, чтоб людям полезным быть. И в этом долг наш, Коленька, вот...

Она назвала его Коленька, вроде покровительственно

вышло: смутилась. Но он не заметил, может, обидеться не захотел.

В Падеринке Коля жил третий день. Из-за метели застрял. Не выехать в редакцию — занесло дороги. Страшно сейчас в степи. А Коле хорошо. Он встретил здесь свою школьную подругу и сидит у нее все время в гостях, никуда не выходит. В степи ветер воет на все голоса, и в Падеринке от этого тоскливо. Но Коля давно не смотрит, что делается за окном. Ночует он в сельсовете, ранним утром приходит к Нине. Сидит напротив и уж забыл давно, что в редакции его потеряли. Только одно его точит: вдруг метель кончится, дорогу накатают и нужно будет с Падеринкой расставаться и с Ниной тоже.

Месяц назад Коле исполнилось двадцать шесть, и не было у него невесты, и часто ночью, просыпаясь от чего-то и вздрагивая, грыз Коля подушку от глухого отчаяния, что не любит его никто и одинок он навек. В эти минуты отрывался весь от земли, возносился на крыльях своего горя, к людям обращался, призывая их пожалеть, обласкасть, понять тоску его. Но люди все спали — мать спала, и сестренка обнимала сонную куклу, тихонько свистела носом. Коля начинал мечтать: думал о своей девушке, еще не встреченной, потом видел ее во сне, разговаривал с ней и просыпался опять с отчаянием. Коля знал, что все девушки — люди чудесные, разговаривать с ними нельзя о простом — о чудесном с ними надо говорить. Вот и с Ниной Коля завел о счастье разговор, а вчера разрешал очень серьезный вопрос: может ли судьба человеком править? Позавчера студенческую юность вспоминал. И детство тоже припомнилось: рыбалки с ночевкой в зародах, чистое солнце рассветное, колючие озерные камыши. Детство провел Коля в деревне.

А сегодня спорил о счастье и был собой доволен, только хмурился, если глаза Нинины смеялись.

Снега под ветром лежали серые, холодные. Было видно, как ветер толкает и рвет мертвую полынь, сдирает корку с сугробов и мчится к лесу. Там сдавила верхушки берез мгла.

— Коль, знаешь, я ведь только письмами и живу, — вдруг призналась Нина. — Поди, не задержусь здесь... Не могу, знаешь. Ох не люблю Падеринку эту. Пустое место на земле какое-то. Ничего здесь не делается, и лечить некого... Представь — не болеют совсем. Степь кругом,

березы, все пчел завели, медовуху дуют... У колхоза два миллиона в банке... Бог ты мой, Коленька. Сыто живут, с чего болей-то... А я думала: практика будет, случаи... Ох, Коленька. Только бабы рожают, да и тех в район гоню на стационар... Знаешь, тут у многих по пять детей. Ужас — по пять... Зачем, а? Не могу я, Коля. Внутри все сжатое. Не могу, веришь, а? Увези меня в город, Коленька, увези, ну?.. Устрой в клинику, ведь в газете работаешь — тебе все можно. А я замуж за это возьму тебя, — засмеялась Нина страшно как-то, и Коля сжался.

Достала из сумки сигарету. Лицо у ней напряглось, глаза зашли под брови, на лбу морщинка означилась, и хотелось Коле разозлиться на длинную сигарету, на эту морщинку, но не мог, сил не хватило.

— Увези, Коля, а?.. Что думаешь-то? Что я пошлая, да? Скажи — да? Да?

Он злился на себя, что молчит, пыхтит. Раз заговорила шуточно, значит, где-то дал маху, повод подал все в шутку обратить, над ним посмеяться. А он-то радовался, что нашел ее здесь, в Падеринке, случайно, после долгой разлуки, встретил в снегах, в метель, вдали от городской суеты, надоевших людей, вдали от печали своей постоянной ночной. Может, это его печаль ночная ожила, та первая любовь вернулась и кружит как хочет.

Когда-то в школе Коля любил Нину Панкратову. Жили они недалеко от Падеринки, в райцентре, на одной улице, в одном каменном доме. В школу уходили вместе, и путь был долог и странен. Молчали чаще, не смеялись, не спорили, но не было их счастливей на всей земле. Из школы тоже шли вместе, а Коля задыхался от невысказанных слов нежности, от клятв, значительных, как вся жизнь впереди. На выпускном вечере только с ней танцевал. Забыл вовсе, что кончил школу сегодня, что расставанье будет, ведь через месяц он с матерью уезжает жить в город навсегда. Все танцы подряд танцевали, ничего не видели вокруг. Он подарил потом Нине много синих колокольчиков. Насобирав их утром в бору. Цветы завяли немножко — воды хотели, — и Коля с Ниной побежали вниз, в коридор, к бачку с водой. Тихо в коридоре, пусто, наверху в зале звучит грустный вальс. Такой грустный — прямо плачь. сторожихина кошка сидит умывается. Нина поцеловала Колю.

«Коля, не забывай меня, ладно?»

«Ладно, ладно...»

Что сказать еще — не знал, потерялся, только стал гладить рукой по волосам ее и шептать:

«Не забуду, не забуду. Вот увидишь, увидишь...»

Не виделись они долго с того вечера. И вот опять встретились. Потому Коля и страдал сейчас, что Нина сигарету зажгла, стала смеяться над ним, и выходил у ней смех плохой. А она не замечала, что Коля весь напрягся, давно в окно смотрит, а в глазах мучение.

— Коля, а из меня жена выйдет — ничего! Стану ходить за тобой, ухаживать, мужья любят уход. Я ведь ласковой могу... Не веришь? Могу. Я все могу. И посуду бить не буду, истеричкой не буду, если поссоримся... Эх, Коля, Коля... С тобой, поди, не поссоришься?.. Ну, скажи?

— Хватит, Нина. Помнишь, как прощались и вальс тогда играл?..

— Детство, Коленька... Прости меня. Я злая, да? Ну и пусть. Пусть! А ты таюй странненький... Поди, и девчонок не целовал?

Спихватилась вдруг чего-то, замолчала. Тяжело стало. За что его мучает? Совладать бы с собой. Злило ее, что он сидит перед ней красивенький, млеющий, мучило, что, поди думает, что нравится ей, еще сильнее мучило, что вспомнил ту школьную любовь — такую непонятную. Ушло потом раздражение. Даже жаль стало Колю. Вдруг и ему придется узнать скоро, что она узнала, через что прошла гордая, несклоненная. Узнать силу и страх той грубой и нелепой любви, горькой, как случайность злая. Когда он встретит любовь-тоску, будет мстить и мстить всем, что достается им чистенький, умненький. Будет зол и неистов, кто знает, может, неисправимым станет, потому что выйдет из той любви покалеченным. Нине стало за Колю мучительно. Улыбнулась ему:

— Я же не вру, что живу письмами. Обтерплюсь, может, а сейчас — нет, не могу. Жить по-людски хочется. Любить же хочется. А кого? Ну, кого? Ты приехал, а завтра уедешь. И людей вокруг не останется... Трудно, Коля... Жить хорошо хочется, а я в Падеринке сижу, без мужа, без любимого человека.

И она курила, слезы вытирала, а Коля сжался совсем, глаза щипало. Теперь было ее жалко, и когда она заплакала, то стала для него снова простой и родной, как прежде, давно, в школе, и он смотрел на нее, а сам видел

ту далекую Нину с синими колокольчиками в руках, и в голове звучала та далекая музыка — грустный вальс, — хоть плачь, и было на ней то белое выпускное платье, и Коля радостно содрогнулся: а вдруг он зря сейчас ее судит. Кто дал ему право судить? Кто? Он опять смотрел ей в глаза, она отвертывалась, стыдилась слез, а он все смотрел и казнил себя, что посмел ее судить, и все думал о той далекой девчонке в белом платье с синими цветами в руках, и та девочка целовала его и шептала тихо, невнятно: «Не забывай меня, ладно?» — и голова его кружилась, и все стало странным: то белым, то синим — синий снег в огороде, синий тополь, белые-белые стены в доме. Хлопнул ставень, оторвался с крючка, начал злобно стучать о раму, и Нина подошла к окну, прищурилась, словно там было много света, и лицо ее стало еще красивее и оттого еще роднее, и она стала совсем походить на ту девочку в белом платье, и во рту у Коли сделалось горько. Ему опять захотелось заговорить о чем-то чудесном, тревожном, чтоб за этими словами скрывалось еще что-то большое, тайное, которое когда-то они скажут друг другу, а пока — не сказать, не признаться, но его перебила Нина:

— Коль, погляди, что мне Лялька пишет. Ты скучаешь, да?

Она достала письмо.

— «Хочу, Нин, похвастаться. Целой больницей теперь ворочаю. Заведование дали. Живу от Читы — сто километров, в совхозе. В город на самолете ездим. Адрес мой на конверте. Уже огляделась — народ вокруг ласковый, помогают. Свет не без добрых людей.

Ты знаешь, я ведь в аспирантуру лезу. Не зовут, а лезу. С осени за книжки схватилась и — круглыми ночами давлу стул. Часто о тебе реву да о Паше. Он в Читу на курсы уехал. Скучаем с Наташкой. Ее в ясли таскаю. Знаешь, тут мировые ясли, в городе таких нет... Прямо люкс!.. Авчера я в концерте здесь пела. Вот. Артисткой стала». — Нина захотала: — Эх, дура Лялька. Аспирантка, а Пашка-то у ней тракторист. На тракторе ездит. Все, поди, в квартире от него бензином пропахло... Ухохота. Артисткой стала... А ты уловил, Коль, как Лялька жить хочет... А? Ты подумай.. Ну, зачем ей аспирантура-то, ну, зачем? Жизнь свою надо сшивать, а остальное приложится. Ведь человеку, чтоб для других жить, надо свою жизнь направить. Потом и для других выйдет. Ты согласен?



Коля очнулся. А ставень все еще стучал, и раскачивался тополь, совсем молодой, некрепкий, а на стене Коля увидел вдруг большой портрет Нины. Она стояла у окна, положив на подоконник руки, шурилась, фотограф гордо вывел голову, на шее лежали крупные камешки — бусы, такие живые, отчепливые, что их захотелось погладить, а далеко вверху шурились глаза; и чем больше он смотрел в глаза издали, тем сильнее видел в них какую-то насмешку, точно она смеялась сейчас над фотографом, над тем, что за окном видела, а может, вспомнила что-то давнее и над ним смеялась, может, те синие колокольчики вспомнила, такое смешное время. Она, точно чувствуя его, сказала глухо:

— Господи, до чего ты странненький... Вас бы с Лялькой спутать, верблюда б родили. Только она толстая, тебе б не понравилась... А я тебе нравлюсь, Коля? Ну?

Она стояла у окна, шурилась, водила ресницами, а он молчал, думал о Ляльке и представлял ее толстую, добрую, представлял, как она Пашу своего любит, как по ночам учится, как утром Пашу будит, как он весело бормочет, сонный, еще маленько сердитый. Она, видно, любит всех людей в совхозе, и в аспирантуру хочется, чтоб еще лучше лечить, и Коля думал, почему она сошлась с Ниной, почему Нина дорога ей и дороги ее совет и помощь? Зачем люди разные сходятся? Интересно об этом думать, интересно в лицо смотреть Нине, — неужели оно может стать родным? Ой, Коля, Коля, как много ты хочешь. А что из этого выйдет, ведь Нина так и не заговорила о синих колокольчиках, ведь Нина над Лялькой смеется и над всеми в Падеринке смеется. Так он думал о себе.

Дверь в кухню хлопнула. Вошел парень, нарядный, красный с метели, в серой мерлушковой шапке. Затоптался на пороге угрюмо, как боров.

— Ну, что вам? — спросила Нина.

Парень замялся, напрягся, покраснел, сдернул шапку — кудрявый здоровяк.

— Он язык потерял, — засмеялась Нина, поправила прическу, прикусив губу.

— Жена у меня рожает... Сегодня... — сказал парень и отвернулся.

— Очень хорошо. Пусть рожает, — смеялась все еще Нина и теребила Лялькино письмо.

— Так ведь метет, видите... Трактор с вагончиком

дали... В район отвезти. Жену-то... Может, вы с нами поедете, Нина Трофимовна? Сильно в степи несет, с врачом-то спокойнее бы. Где-нибудь сядем еще. Не лето. Боюсь я. Ребенок-то первый...

Парень на месте топтался, глаз не поднимал. Видно, было стыдно ему за свою просьбу. Нина перестала смеяться, письмо в шкатулку бросила, запахнулась платком.

— Не могу я. У меня гости... Поймите... Недалеко же. Отвезете сами. Конечно же, отвезете. Потом на тракторе вы... Я и не понадоблюсь. Вы не бойтесь — все хорошо будет ..

Парень улыбнулся и вышел. Нина посмотрела Коле в глаза:

— Видишь, только рожают... И нет мне с ними покоя.

Молчал Коля, и было ему страшно взглянуть на Нину. Он хотел крикнуть, что ехать ей нужно с парнем, ведь человек же будет рождаться, но задохнулся в непонятной ярости, душил стыд. Выбежал за парнем. Тот стоял у тополя, курил.

— Я тоже с вами на тракторе... Мне как раз в район,— осмелился Коля.

И парень сказал:

— Давай пристегивайся.

Пошли по улице, за парнем он еле успевал. Говорить с ним Коля не мог. Было больно за то, что сидел с Ниной, когда парень зашел. Вдруг тот сейчас думает, что он любит ее. Хотелось убежать в степь, в метель, остыть, потеряться совсем в степи. Почему она такая, и как жить ей, и зачем ей жить?

Парень шел молча, еле поднимал ноги, и они бороздили снег, запинались, а глаза его смотрели как-то сбоку. Коля чувствовал их и часто моргал. Снег лежал серый, в палисадниках гнулись тополя от ветра, такие же серые, живые, подбитые. В голове то вспыхивали, то тлели слова: «Коля, не забывай меня, ладно? Ладно?» — и он не знал, как их сбросить с себя, и горло от них сдавливало, как от тугого шарфа. Коля задышался, отставал от парня, хоть и шел тот медленно, как-то покачиваясь, но глаз его не мог видеть Коля, а спина была спокойна, уверенна, а Коле надо было заглянуть в глаза, и он сорвал с шеи шарф, догнал парня. Но тот не показывал глаз, и Коле опять стало душно, и он крикнул:

— Я ей покажу!

— Чего кричишь?.. — сказал парень и хлопнул себя по бедру рукавицей.

Коле стало снова стыдно, этого стыда делалось все больше, все больше; хотелось закрыть лицо руками, забиться, чтоб ушли из памяти все эти три дня, вся его страшная теперь командировка, долгие разговоры с Ниной, синие цветы в руках у девочки в белом, синий тополь под окном, который гнулся под ветром, но в ушах снова встал этот голос: «Коль, не забывай меня, ладно?» — снова закрутились эти слова, придавливая его к сугробам, но сейчас они давили на него сверху, а не изнутри, и от этого казались легче. И вдруг он понял, что хочет навсегда забыть эти слова, избавиться от их далекого, чужого теперь смысла, и он смотрел, как качается спина у парня, как тяжело и уверенно продираются его ноги в серых пимах сквозь сугробы на дороге. Захотелось идти за этой спиной, чтобы забыть эти три дня, Нину, свои с ней разговоры. И когда так думал, то чувствовал, как ему становилось легче, а внутри все смешалось, радостно путалось, оттого что не оставалось там Нины, только захотелось мстить и мстить ей за этого парня, за себя, за Ляльку, за всех людей в деревне, которых она ненавидит.

Зашли в тракторный вагончик. В углу, на длинной белой перине, лежала жена парня, агрономша Люба. Она приехала в Падеринку прошлым летом, а теперь уже ехала рожать сына. Она уже всем рассказала, что будет не иначе — сынок. И будет он Женя — в честь отца. Почти не стонала Люба. Стеснялась мужчин или уже была во власти того близкого, еще не узнанного счастья, которое стояло за спиной и медленными, упругими толчками входило в сердце изнутри. В вагончике посветлело. Далеко в холодном небе ненадолго вылезло солнце, и степь стала яркая, веселая. Люба заулыбалась — муж засиял, сел к ногам ее.

— Все хорошо будет. Вот увидишь...

— Конечно, Женя. Все хорошо будет...

Коля ненавидел Нину Панкратову. Он забыл ее, красивую, родную в своих мыслях. Он помнил ее только насмешливой. Решил написать о ней в газете. О том, что врачаха отказалась ехать с роженицей, о том, что она всех ненавидит в Падеринке, и о том, что когда-то в школе он дарил ей синие колокольчики.

Вагончик качало на сугробах, как лодку. Лодка шла покойно, и снежное море не стучалось в ее борта. Кончилась, видно, метель. Коля подложил под голову охапку соломы, и запахло от нее спелой рожью, деревенским детством, и захотелось в нее лицом окунуться, надышаться. Парень подмигнул ему, но Коля закрыл глаза, вспомнив, как с Ниной Панкратовой спорил о счастье. И лицо у него запылало. Он лег на солому вниз лицом и стал про себя сочинять статью о Нине. И когда приехал в район, статья была совсем готова. Было в ней и о синих колокольчиках. И это место особенно нравилось Коле. Но когда он хотел на листах ее записать, то опять стало стыдно. Вдруг люди скажут, что он мужество свое показывает, ведь от первой же любви отрекается, а это сможет не каждый. И Коля выбросил в статью все о синих колокольчиках и о том, что три дня гостил у Нины. Пусть никто о его мужестве не догадается. А он станет от этого крепче, чтоб родиться второй раз на земле.

КОГДА ПРОШЛИ ДОЖДИ

Деревня наша стоит в бору, на отшибе. От тракта нужно километров пять до нее пешком топать. Летом ходить весело. Шел эти пять километров часа три. Только на улицу ступил — на голову дождинка упала. Смешно. Потом не до смеха: каждый день — ненастье. Но я радовался: люди по домам засели — и весь фольклор под боком. Перешел я тогда на четвертый курс института, вот и приехал домой, чтоб записать фольклор в родной деревне. Думал собрать много песен, легенд удивительных и составить книгу. И эта книга будет самая хорошая на свете. Прославит она мою деревню на всю страну.

Первую ночь дома не спалось. Хотелось быстрее составлять книгу. Шумел дождь, в бору стонали сосны. Потом вышел леший, испугал меня. Он стучал клюшкой по деревьям, подвывал ветру, плакал и ухал. Выйди сейчас в бор — сердце лопнет. Меня воспитывала бабушка и научила верить в домового и лешего, в бабу-ягу костяную ногу, в зеленых русалок, в огненные колесницы, которые выносятся из реки в полночь, катятся по всей земле, и кто их увидит — тому счастье привалит. Стал большим, а верить в эти сказки хотелось больше и больше.

Кончил выть леший, и я заснул. Утром отправился к Ивану Закомалдину. Иван — самый старый в деревне, самый мудрый, веселый, песельник, сочинитель. Он все знал, все видел, прошел страну пешком вдоль и поперек, плавал на море, воевал в Маньчжурии, в первую мировую попал в плен к австрийцам, сбежал, потом строил колхоз в родной деревне, в шестьдесят лет стал комбайнером, в семьдесят — плотником, в восемьдесят — пенсионером.

Дом его стоял в конце улицы. Крышу Закомалдин покрыл дерном. Дерн пророс густой травкой, и домик

походил на зеленый гриб. Я постучался — не ответили. Вошел в сенки, прислушался — тихо. Перешагнул через порог в избу: на столе котенок катается. Прошел в горницу. Возле окна большая кровать, там лежит Закомалдин, под головой куча подушек, руки поверх простыни. Он повернулся на мои шаги, лоб его сморщился — вспоминал:

— А, это ты... Ну, беседуй.

— Заболели, Иван Захарович?

— Хуже... Вроде кончаюсь...

— Врача бы?

— Э-э, сыновей бы достать. Да куда уж: один в Москве — офицер, второй за женой на Север удрал, отлетел, как от сапога подметка. — Он устал говорить, задохнулся.

В горнице — сумрак, пахнет прелой кожей, березовым листом и самим Закомалдиным. Дух от него кислый, хочется чихать. В последние годы он пас скот, стал курить самосад с одеколоном, дубить овчины, и все запахи остались в нем, впитались.

Закомалдин лежал молча, строго, лицо не двигалось, шевелились одни губы. Я струсил: вдруг он умрет сейчас и унесет с собой все песни и сказки — распадется моя книга.

— Ты попрощаться, значит? Только до тебя председатель колхоза да пионеры с учителькой забежали.

Мне стало не по себе, я к окну перешел. Дождь разошелся частый, грибной. Сейчас синявки пойдут, маслята под сосенками вылупятся, потом белый гриб ползет. Из бора в открытое окно несло сыростью, в сосняке гоготали гуси; задрав хвосты, носились телята, бодались. А Закомалдин умирал. Я смотрел на его худые щеки, сухие, бессильные руки и стыдился себя, здорового, плечистого, в белой выстиранной рубахе.

— Что, дождь там?

— Дождь.

— Ненастье и подбирает стариков... Могилу в дождь копать худо. Глина липнет.

Я стал ходить по комнате, не смотрел больше на него, хотелось выскочить на волю из душной горницы, чтобы не видеть больше посиневших щек Закомалдина, не слушать его, полуживого, закрытого белой смертной простыней. Но он чем-то держал меня цепко, не отпускал, и я снова смотрел на него долгим, пристальным взглядом, чувствовал, какие холодные у него руки, — и вздрагивал.

Давно, в детстве, мы подстрелили ястреба. Дробина сломала крыло, а сам он был еще силен, горяч, царапался, щетинился, не подпускал к себе человека. Посадили его в клетку, под лавку, рядом с курами. Через ночь он похудел, высох, перестал клеваться и пить воду, а еще через ночь зачих совсем, собрался, видно, умирать. Мы жалели его до слез и бегали к нему все время. Но мой отец пожалел ястреба по-своему. Он выставил клетку на крышу дома под солнышко. «Может, отойдет», — рассудил отец. И отошел ястребок. Через неделю открыли клетку — он вышагнул на крышу, почистился, покружился на лапах, встрепенулся, взмыл в небо и улетел навсегда. К облакам взлетел, а недавно умирал... И я сейчас вспомнил, как ястребок сидел с курами и было ему тошно. Вспомнил это, потому что Закомалдин размечтался:

— Сейчас бы по бору походить. Груздков пособирать... Да, видно, отходил, откружил...

Потом поманил меня. Поднял руку и ладонью на себя помахал — иди, мол.

— Вон на полочке книжка лежит. Достань-ка.

Я подал ему большую толстую тетрадь, прошитую у закромок толстой ниткой.

— Открывай давай.

Я открыл и уже не мог оторваться от старых, пожухлых страниц. На первом листе стояло: «Год 1883. Моя жизнь с рождения и по сие время».

Читал наугад страницы и улыбался простодушной, наивной откровенности повествования. «Вчера первый раз за жись одел новые порты. Сходил в них на гулянку, после их свернул и под подушку засунул. Пусть сохраняются до оженитьбы...»

«Неделю назад из тюрьмы пришел. Отсидел за хомуты. Зря на меня указали. Хомуты у хозяина не я украл, а сын собственный Прошка у целовальника заморил. А слава-то на меня пущена. Вышло, что отсидел зазря. Сынок первый, Степа, без меня помер от живота. Кинулся Катерину бить — мол, не устерегла, — да что взять с бабы».

Все это перемежалось с описаниями знакомых — врагов и друзей Закомалдина. Он описывал по дням и погоду, и состояние посевов, делился своими несчастьями, радостями, мечтал о лучших временах, рассуждал сам с собой, переносился в фантазию, балагурил — и все это из-под пера выходило той простой страшной правдой, которая

леденит душу. Он словно наслаждался своей откровенностью, часто себя осуждал, и эти места писались особенно суровым слогом. Читал я не отрываясь и чувствовал, что Закомалдин жадно следит за мной и сейчас спросит о чем-то важном. Дальше шло описание походов в австрийском плену, в гражданскую войну, потом записи перекинулись на тридцатые годы и на сегодняшние дни.

Закомалдин не вытерпел, спросил:

— Смешно?

Я молчал. За окном дождь разошелся сильнее, на улице потемнело, а Закомалдин в потемках казался еще более бледным, только руки живые — чуть шевелились.

— Надо тетрадь дописать. Пустых мест больно много. Не могу сам-то — видишь... Хочу тебя просить.

Я удивился, промолчал. Его длинные руки пугали и заставляли думать только о них, больше ни о чем.

— После гражданской председателем колхоза поставили. Три года работал — за книжку не брался. Некогда... Эту войну в бригадах проходил, сутки — бегом. После войны в больнице лежал — спина отнималась, — тоже не до книги. Теперь вот душа на ладан... А дописать охота.

Я согласился дописать тетрадь, но только вместе с ним. Уходил от него печальный. Проклятый дождь выводил из себя: Не выйдешь ни в лес, ни на речку. Да и умирающий Закомалдин стоял все время в глазах.

Утром опять пошел к нему. Он все так же лежал недвижно под простыней. Увидев меня, приободрился:

— Давай начнем сразу... Бери книгу, на чистом листе пиши заглавие — «Моя жизнь с 1933 года по 1936 год».

Я написал заглавие, и он стал диктовать. Говорил тихо, глухо, дышал со свистом. Часто хотелось остановить его, чтоб отдохнул, отдышался, но я боялся прервать, только все ближе пододвигал свой стул к кровати, потому что голос его слабел.

Закомалдин умирал у меня на глазах и все последние силы вкладывал в слова, которые ложились в книгу. Он рассказывал о первом колхозе, о каком-то Гришке Трофимове, который пырнул его ножиком за то, что Закомалдин раскулачил его отца. Рассказывал он медленно, голос доходил до меня глухо, чуть слышно, сливаясь с шумом дождя на улице. Я быстро устал, вспотел, пальцы от ручки занемели. Закомалдин ловил мой взгляд, усмехался, один глаз открыт весь, другой сужен, почти закрыт,

и вид у старика был надменный и хитрый, как у старой, пожившей птицы. Скоро закрылся и другой глаз. Он отвернулся к стене. Потом еще немного поддиктовал и закашлялся. Сказал мне, что у него отпали легкие.

На другой день я просидел с ним часа два, и он говорил уверенней, голос звучал громче. Голос у него был хрипловатый, напевный, спать бы под него. Потом пропал и мой сон, и дождь за окном забылся. Закомалдин стал рассказывать о своей мужицкой молодости, о второй жене, красавице Варваре Клевакиной, глаза его блестели влажно и молодо, руки нервно ходили по простыне.

— Была у Вари коса... Косой этой тебя можно пять раз обмотать... Ласковая вышла жена. А у тебя есть любя-голуба?

Я покраснел, Закомалдин засмеялся. Смеялся он, словно кашлял. А я завидовал Закомалдину. У меня не было любви-голубы, а его Варя ходила тогда по земле, статная, точеная, плясунья. Такая плясунья, что всю деревню перепляшет. Когда она шла — все занавески у окон вздымались; люди смотрели на нее, головой качали — кому-то достанется... Досталась она Закомалдину.

На третий день мы записали о бригадирстве в годы войны. Тяжелые были годы. Я их сам испытал. Жили голодно, холодно. Однажды Закомалдин привез нам дров, а мать моя всю ночь проревела: вот, мол, уже чужие люди о нас заботятся, а от отца ни слуху ни духу, живой ли уж поилец-кормилец наш... А потом он корове нашей Маньке сено вывез, сметал его на конюшню, не сказав нам ни слова. Потом зашел в избу, попросил напиток, и когда пил, то смотрел на мать, и жалостливо слезились глаза. Ему казалось, что без отца мы круглые сироты, сухие пеньки, да и нам казалось так же. Летом частенько заносил в садке карасей и опять томительно долго молчал у дверей или пил медленно из ковша воду.

Закомалдин диктовал теперь уверенней, сидел на кровати, спустив на пол ноги в теплых носках. Часто он скручивал сигарку, с лица его спала серая усталость. Он оживал, голос его звучал громко, по-молодому, дышалось легче, просил прочитать, что я написал. Слушал внимательно, настороженно, всем телом накрываясь вперед, глаза его не мигали и не видели ни меня, ни книги, ни широкой горницы, а смотрели куда-то вдаль, далеко, о чем-то вспоминали.



— Вот умру, а книгу в школу отнеси... Пусть пионеры читают... — Он взглянул мне прямо в глаза и усмехнулся. Может быть, он шутил теперь, но я не понял и промолчал.

На пятый день Закомалдин уже ходил по горнице, шагая грузно, тяжело, и пол под ним скрипел. Он стал рассказывать, как вернулся с фронта старший сын Василий. Весь в орденах сын, веселый, смуглявый, и девки о нем заболели. Но Василий влюбился в соседку — Замятину Зою, вдову, с пацаном на руках. Я записал в книгу, как Василий привез ей из города шаль пуховую в подарок, как Василий с Зоей в первый раз по деревне прошелся: он — справа, она — слева, а посередине — их руки вместе. Народ завидовал Зое, ведь Василий был в орденах и красавец.

Закомалдину особенно нравилось в книге это место о Василии. Старшего сына он любил сильнее жизни, потому что был Василий от плясуньи Варвары и удался в нее, черноглазый, ласковый, черноволосый. Я также любил Василия тогда очень сильно. Я подражал ему, трогал на его гимнастерке медали, слушал, как он рассказывал о боях, о горящих танках, и мне так же хотелось беспощадно бить всех врагов моей страны, стать героем. Вот почему о Василии я писал горячо, волнуясь, сочинял от себя. И когда читал Закомалдину это место, он потихоньку гладил мою руку, мне хотелось ее отдернуть, но я боялся. А он сдохатывал и бормотал:

— Ты шибко-то не углубляйся... Оно того... Как бы Васька-то не обиделся. Ну, да ладно. Дуй...

Но я знал — он не сердится, глаза его повеселели, лучились, к щекам кровь прилила, точно вошел с морозу, точно ледяной водой умылся да сухим полотенцем растерся, потом глаза сощурились, проглянули издали — ласковые, уверенные, как у всех сильных людей, мудрые от своей силы.

Закомалдин совсем ожил. Он уже не ложился в кровать, а топил печь и кипятил чай, потом прихлебывал его из большой белой кружки и без усталости диктовал. Он весь ушел в прошлое, снова жил той жизнью: работал за семерых, провожал из дома сыновей, строил в колхозе ферму, и кровь в его жилах горячилась, будоражила тело. И я опять вспомнил нашего ястреба. Вспомнил, как он долго кружился на лапах, потом взмыл в небо, перекувыркнулся через крыло и ушел к облакам.

В нашу книгу ложились все новые страницы, пришлось подшить к обложке чистую тетрадку. Закомалдин веселел час от часу. До смеху дошло. Он гладил меня по голове, как маленького, подолгу пропускал каждую прядь через пальцы, трогал мускулы выше локтя — мерил силу, потом у себя мерил, бурчал то ласково, то сердито, распахнул в доме все створки, надел высокие сапоги со скрипом и радовался, как скрипят они громко, весело и какой чистый заходит в створки воздух, какие сизые стоят дни, какие хитрые, белые бродят под окнами телята, как потемнели от дождя сосны и стали выше. Пол колыбался под его сапогами, он потел от чаю, от своих слов и вытирался чистым платком

На другой день закончились дожди. Но книга не кончалась. Нужно было описать еще послевоенных лет. Закомалдин пожалел меня и повел в бор.

На опушках бродили тени. Сосны пахли горьким, над головой отчаянно стучал дятел.

Ступали молчаливые, царственные, ведь все кругом было наше богатство. Закомалдин шевелил губами — лицо не улыбается. В бору было душно, тропка заходила в канавы и овражки, там внизу журчали ручьи, сновали ящерицы, по лопухам скакали лягушки; шли тяжелые дурманящие запахи — прорастала трава, грибы; забиралась в глубь земли корнями молодые сосенки, гнила старая чаша, где-то рядом кричал дикий голубь и ерзали на сучках сороки. Совсем недавно здесь проходил леший — кое-где сосенки свалены с корнем. Закомалдин остановился у одной такой сосенки, перевел дух, дышал он трудно, грудь вздымалась высоко, только глаза смеялись: «Жить... Жить...»

Я его плохо слушал. Думал о том, что все равно найду книгу, которая будет самой хорошей на свете. И что бы со мной ни случилось, все равно напишу...

Закомалдин стоял на земле твердо, без палки, и улыбался. Был еще могуч, по-молодому строен, только седая, белая голова говорила, что жил он на земле долго, что он самый мудрый в деревне и знает все на свете.

Закомалдин стоял, шурился, видно, радовался, что кончились наконец дожди и пришло тепло, что он обхитрил смерть и сейчас будет жить вечно.

«ПОДАРИ МНЕ СИЗАРЯ...»

Лето стояло сухое, беспокойное, с ветрами. Солнце пылало желтое, зыбкое, в небе пусто и голо: ни облаков, ни птиц в вышине. В лесах березы свернули лист, ужались в росте, и было их очень жалко. В такую сушь в деревне ждут люди беды: неурожая, бескормицы, боятся пожаров. Делаются люди злыми, ругаются часто, ни в чем не уступают, не жди от них приветов и ласки. В такое время приехал я в свою деревню в отпуск.

Жилось мне трудно. Ушел в геологи мой дорогой друг Гриша Лобода. Бросил редакцию, укатил в Саяны. Галя, о которой я все время думал, совсем писать перестала. Видно, встретила в Москве, в своем университете, покруше меня.

Деревня задыхалась от зноя. Кончался июль. Над огородами дымилось марево, исчахла картофельная ботва, обмелели колодцы, в подворотнях, вывалив языки, умирали от жары собаки. Дожди шли стороной.

Дождь спустился через неделю. Начался он под вечер. Я сидел на завалине и смотрел, как кружатся сизари. Еще в детстве я вырвал у матери пару голубей. Хозяин за двух сизарей заломил по-старому двадцать рублей. Цена небывалая, да рядиться я не умел. Зато теперь вся стая от тех двух сизарей.

Я любовался, как стая водит круги над крышей. Ко мне подсел Ленка — сосед, мальчишка лет тринадцати, очень худой, маленький, страшно застенчивый.

— Подари мне сизаря... Хоть одного.

— Зачем?

— Кормить буду... — И Ленка покраснел.

— Подарю, но ты мне за это поиграй.

— Поиграю...

И вдруг начался дождь. Туча вылезла из-за леса. Небо побагровело, хлестнул ливень. Вот радость-то — дождались. Каждая капля — картечина. Еле Ленька с гармошкой через дорогу перебежал. Зашли в дом. Ленька обтер гармошку рукавом, положил на колени. Я забыл сказать, что Ленька был в деревне первый гармонист. Научился играть он еще лет семи на старой отцовской хромке. Играл он, конечно, без нот, но, по-моему, лучше всех на свете. Звали его на все свадьбы и гулянки. На этих гулянках он насмотрелся такого, что и во сне не увидишь. Может, поэтому Ленька рано посуровел, притаился в себе, не замечал однолетья.

Ливень скоро кончился, но все равно что-то от души отвалило: теперь любая травинка в рост пойдет. Ленька расстегнул ремни у хромки, похрустел нервно пальцами и начал с моего любимого — «На сопках Маньчжурии». Он играл, а лицо у него застывало, бледнели сильно щеки, глаза не мигали. И веселые песни он играл с печальным лицом. Если его слушали плохо, глаза Ленькины глядели виновато, брови ходили взад-вперед: он страдал.

Да слушать плохо его мог только глухой. Ленька играл, а я бродил по дымным синим сопкам, думал о Гале. Может, по таким же сопкам бродит сейчас Гриша Лобода со своими геологами, золото ищет. Где вы, Гриша, Галя, отзовитесь!

Ленька начал «Полонез» Огинского. Он любил этот полонез до слез. Ленька мне рассказал, будто Огинский сидел в камере-одиночке. Посадили его за то, что боролся за народное дело. Сильно тосковал он по воле, и потому, что тосковал, музыка сочинялась печальная. А этот полонез он написал, когда прощался с Родиной навсегда. Навсегда — грустное слово.

Играл Ленька чудесно, лучше никому не сыграть. После его игры хотелось сделать людям что-то хорошее, доброе, или самому написать песню, или пойти в бой и погибнуть за свою страну. А я всегда после его игры думал о Гале. Если у нас когда-нибудь будет свадьба, мы позовем Леньку и он сыграет «Полонез» Огинского, чтоб знали все наши гости, как нужно беречь и любить свою Родину.

Ленька кончил играть.

— Подари сизаря... Жалко, что ли?

Я полез на чердак. Выбрал двух голубей — крылья уже окрепли.

— Возьми да корми!

— Я не про себя... Про отца. Говорит, голуби будут в доме — к добру. Может, мол, пить брошу...

— Отчего ж он пьет?

— От ранения... Он так рассказывал: будто в госпитале лежал, совсем умирать собрался. Санитарка стала ему спирт приносить. Отец на ее брата походил, а брата-то убили... Со спирту сон появился, с едой направилося.. К спирту, говорит, только сильно привык. С тех пор пьет..

Я не поверил Ленке, да и сам он вряд ли верил отцу. Просто пил от тяжелого нрава и дремучего бескультурья. Кончил всего четыре класса и был один такой на всю деревню. Ходил сычом, ни с кем не здоровался, может, и о голубях возмечтал с похмелья.

На другое утро Ленка ушел на луг. Мать послала его пасти корову Зорьку. Зорька должна вот-вот отелиться, и ее взяли из стада. В стаде ведь всякое бывает — еще теленок затопчут. Ленка унес с собой гармошку. Он сидел на лугу один-одинешенек и наигрывал для себя да для Зорьки. Вернулся он поздно. Гармошка болталась за плечами, Зорька, широкая, пегая корова, шла сзади, тянулась к гармошке языком. У ворот красовался Ленкин отец в хромовых сапогах, в черном суконном костюме. Костюм сзади отвисал, брюки над сапогами вспучивались, но отец мнил себя щеголем. Увидев меня, приподнял кепку:

— Айда в клуб, циркачи приехали... А твои сизари у меня весь хлеб сожрут...

От клуба я отказался, зато похвалил его костюм. Он ушел от меня веселый, довольный собой, что вот, мол, и трезвый сегодня, и в клуб, как все люди, пошел.

Ко мне заглянул Ленка. Сегодня он стал играть свое, грустное, тягучее.

— Ты давно музыку сочиняешь?

— Давно, а это сегодня выдумал, когда Зорьку пас..

— Почему грустное выходит?

— Ну, дак!

Гармошка вздрогнула, раскололась на тысячу звуков, и звуки эти взяли в долгий и сладкий плен, и я услышал шум весеннего леса, говор вешней воды и гул поезда, в котором Галя приехала. А потом стихло половодье,



умчался поезд, вошла в дом белая береза. Ленька так и начал с мотива «Во поле березонька стояла...». Потом пальцы выжали из клавиш что-то бурное, радостное, похожее на радугу. Радуга взяла все звуки, щеки Ленькины побледнели, и хотелось бежать за радугой на край земли и плакать от счастья, но вот в дом снова вошла береза. И я молил: останься со мной подольше, пошуми надо мной подольше.

Отшумела береза, глаза Ленькины глядят виновато:

— Не нравится?

— Я люблю тебя, Ленька...

Он покраснел, и я тоже.

Утром он опять увел Зорьку и захватил гармошку. Уходил Ленька веселый, в серой клетчатой кепке, смущался этой кепки и моего взгляда приветливого. Зорька косилась на меня черными мутными глазами и двигалась за Ленькой тяжело, вперевалку, задние ноги еле поднимались и не хотели шагать. После дождя вставало утро розное, туманное, и с полей прилетали запахи меда, горького чабреца. Ленькина спина и Зорька растаяли в тумане.

Прибежал Ленька в обед взмокший, несчастный, гармошка на одном ремне тащится.

— Потерял Зорьку... Найти не могу...

Такую беду видишь не часто. Я чувствовал, как это было. Сидел Ленька в траве, гармошка в коленях. Музыку сочинял. Хорошая получалась музыка, и он забыл обо всем на свете. А Зорька забралась в ложину, клевер языком стрижет. Чем дальше — все больше клевера, трава гуще. И ушла Зорька на все четыре стороны. Да Ленька-то здесь при чем? Но отец этого понять не мог. Он пригрозил:

— Зорьку не найдешь — изувечу...

Зорьку в тот вечер мы не нашли.

Ленькин отец напился, слонялся по ограде, пинал наколотые утром дрова. Ленька прятался у меня. Отец звал его, грозился, приваливался лбом к поленнице и ревел пьяными слезами о Зорьке. Подвывала ему и мать Леньки. Зорьку называли голубушкой, кормилицей, ягодкой. Ленька оцепенел. Потом отец стал бегать по ограде, заглядывать во все углы и кричать:

— Изувечу, изувечу!!

На глаза ему попала гармошка, забытая Ленькой на крылечке. Он сгреб ее в беремя, подтащил к колодцу и бросил туда. Ленька застонал, метнулся от дивана

к окну, сжал кулаки. Потом взглянул на меня виновато и спросил, точно гвоздь в сердце забил:

— Зачем жить теперь?..

Я думал, он сходит с ума. Он не разговаривал больше, глаза сделались пустыми, плечи обвисли.

— Не плачь... Мы найдем Зорьку. Все равно найдем

Но Ленька не плакал. Ему было еще хуже. Под окном орал отец, крушил поленницу.

Зорьку привели утром. Погнал Степан Чукомин пасти лошадей за Тобол, смотрит — в кустах корова стоит и пегого теленочка облизывает. Тому от роду часа три. Признал Степан, чья корова, и весть подал. За теленком послали подводу.

Отец встретил Зорьку опять пьяными глазами, облапил ее за шею. Еле оттащили горемычного, увели досыпать. А я поехал в город. Передо мной стояли Ленькины виноватые глаза: всю ночь он мне снился, маленький музыкант. Сидит у меня на завалине и клянчит: «Подари мне сизаря... Хоть одного подари...»

В городе в первом же магазине я купил новую гармошку и синий футляр для нее. Все это привез Леньке. Он не ожидал:

— Ты с ума сошел... Лучше возьми себе...

— Бери, Ленька, играй... Бери навсегда.

— Как расплачусь-то?..

— Как да как... Всю жизнь будешь расплачиваться песнями... Играй давай!

Ленька взял гармошку, положил на колени, обтер рукавом. Подышал на нее и снова обтер всю до синего блеска.

— Как это ты додумался? Поди, дорого, а? Возьми себе, буду к тебе ходить. Каждый день буду ходить. Ну, возьми ты. Возьми...

— Чудило ты, Ленька. Кто от подарка отказывается? Давай играй, не разговаривай даже...

В это лето я был очень счастливый. Ленька играл, а я слушал. Всю бы жизнь мог слушать. Пришли в гости к нам песни, и веселые, и грустные, но все они звучали по-своему, как хотел Ленька. А он хотел, чтоб у меня все время на душе было весело, чтоб быстрее ко мне приехала Галя из Москвы, чтоб чаще письма слал с далеких Саян Гриша Лобода, чтоб жизнь моя была очень счастливая. И я каждый вечер бродил по седым, мгlistым сопкам,

плавал по синему морю, водил хороводы с березой, слушал стук поезда, на котором Галя ко мне ехала. Хорошо играл Ленька, никому так не сыграть.

Однажды ко мне явился его отец. Посреди избы расцелся, угрюмый, небритый, дым в глазах.

— Неужто из Леньки музыкант будет?

Я вспыхнул, вскочил, заходил возле него кругами:

— Вы не стоите своего сына! Не стойте! Эх, вы...

— Понятно.— И он попятился спиной из избы, подмигивая мне левым красным глазом.

На другой день на улице снова остановил:

— Скажи, голуби просо клюют?.. Хочу табун, как у тебя, развести. Сейчас ведь не пью... Не веришь? Ни грамма — отсек. Леньку хочу поднимать... А ты не врешь, что из него артист выйдет?

— Выйдет!

— Ойё, артист...— И зашагал к своим воротам.

Через неделю я встретил Галю. Привез ее тот самый поезд, о котором играл Ленька. Я был такой счастливый, что не мог заснуть ночами. Свадьбу мы справили в деревне. Ленька играл для гостей и «Полонез» Огинского, все свои чудесные песни. А гости не могли отличить, где Ленькина музыка, а где музыка, которую написали великие люди. И у Леньки опять побледнели щеки, а глаза сияли, потому что у нас с Галей все так замечательно кончилось. Напротив меня сидел за столом его отец в дорогом сером костюме, белый воротник рубахи поверх пиджака навывпуск. К вину он не притрагивался, сидел тихо, молча, смотрел на сына гордо. Я видел даже, что Ленька ему улыбнулся.

А потом Ленька сыграл мой любимый вальс «На сопках Маньчжурии», и я поднял тост за нашу Родину, за то, что если будет надо — отдам жизнь за нее и все мои друзья тоже. Рядом со мной не было самого близкого друга — Гриши. Но я знал, что он думает так же. Я знал, что так же думают и Галя, и Ленька, и все гости на свадьбе.

Ленька заиграл про родные березы. Про то, что когда-то прошла война на земле и с тех пор не могут заснуть березы. И все подпевали Ленькиной игре, и пели широко, стройными, просторными голосами, и улетела песня в поля, в ночное раздолье. И когда кончилась эта песня, все обрадовались, что спели ее хорошо, чисто, по-русски просто и душевно. Ленька хотел повторить ее, но Галя мах-

нула рукой. Она встала в белом платье, красивая, за-
рделась вся, начала говорить о нашей Родине, о ее лесах,
полях, реках, о ее хороших людях, о Ленькином счастье.
А счастье у него было в музыкальном училище, о котором
Ленька так мечтал, что и не опишешь. Отец Леньки
заплакал и сказал про себя о сыне:

— Золото мое...

Он сказал тихо, но все услышали за столом. Покраснел
Ленька, выжал из клавиш что-то бурное, похожее на
радугу. И мы пошли за ней следом. А Ленька играл еще,
и плечи у него распрямились, в глазах вспыхнул реши-
тельный огонек, и стал он сразу походить на большого
сильного человека. А потом пришло утро, но мы не за-
метили, как взошло солнце.

ТАНЦУЕМ БЕЗ ПЕРЕРЫВА

Колеса стучали громко, напористо, и поезд летел как на крыльях. Часов через девять он уже полетит по Сибири, а пока за окном все еще мелькали сосны и ели, а чуть поглубже за елями синели холмы и пригорки, а за пригорками — снова синь-синева. То ли небо это, то ли снова холмы, то ли явь, то ли правда... «Нет, нет, я не выдержу! Это ж Рерих прямо, Куинджи...» — шептал про себя Витя Черкасов и нервно курил. Он стоял в тамбуре, на железном полу, в тонком легоньком свитере и не замечал сквозного, холодного ветра, который дышал уже осенью и бедой. Но Вите почему-то было тепло, даже жарко. Наверное, потому, что он ехал домой на целых три дня, на три дня подряд и три ночи. Наверное, потому, что на вокзале в Свердловске он выпил бутылку пива и хмель от него все еще гонял кровь и натягивал нервы... А может быть, потому, что завтра, ну конечно же, завтра он увидит Женю Смирнову...

Господи, как хорошо, как чудесно!.. Как хорошо ехать в поезде и представлять, вспоминать ее, и пусть колеса стучат сейчас громко, неистово, и пусть ветер во всех углах, — ему все равно хорошо, хорошо. «Женя, Женя...» — шептал он и щурил глаза, как будто на огонь смотрел, на яркое пламя, а то наоборот: глаза широко раскрывались и по лицу бежало какое-то внезапное сияние — страдание... И он опять курил и курил. И вдруг он вспомнил про письмо ее, которое пришло вчера утром, — и он уже целые сутки носил его в себе и повторял как молитву. И вот опять он стал повторять про себя эти строчки: «Здравствуй, Витя! Добрый день или вечер...»

«Вот смешная — у кого она научилась? Неужели нельзя писать по-другому», — улыбнулся Витя, не то восхищаясь ею, не то осуждая. Но это письмо уже охватило его, завладело, и он опять стал вспоминать, повторять про себя: «Большой привет тебе, Витя, от моей мамы, от всего нашего класса. И ой-ой, чуть не забыла, я получила от тебя два письма и дорогую посылку. Особенно рада я за артистов — ты молодец, постарался. Теперь накопилось у меня их больше ста — и есть даже итальянцы, французы... Ты, наверное, все еще на уборке, и ваш институт — на замочке. У нас недавно тоже были студенты. Привезли их на картошку. Так они все в желтеньких куртках — умора, а вечером мы танцевали все до упаду. И я тоже приходила в клуб к этим желтеньким — так их прозвали девчонки. Но это все ерунда, а учусь я неплохо. Пиши мне, Витя. Но если тебе трудно писать сейчас — пока не старайся. Вот пройдет какое-то время — и ты снова напишешь. Да, Витя, чуть не забыла. В нашей школе — большая новость. В десятом «А» теперь своя дискотека. Мы ее называли «Танцуем без перерыва». У нас была даже пластинка с таким же названием, но мы ее не сохранили — разбили. Если попадется тебе в магазине, то привези, когда будешь. Вот и все. Найдешь ошибку — считай за улыбку. Ты не смейся — это мамина поговорка. Она сейчас сидит за столом и машет тебе ладонью. До свидания, Женя...» Последние слова он повторял несколько раз, и в душе осела такая тяжесть, как будто перед слезами. Но он достал сигарету и взял себя в руки...

В тамбуре стало еще холоднее, запахло снегом. Дальние холмы за окном стали совсем зыбкими, истончились. Наступал вечер, близилась ночь, и Вите показалось, что он уже видит звезды. Он смотрел на них сквозь стекло, и они то гасли, то опять выплывали — наверное, по небу шли тучи. А потом он внезапно услышал холод. У него как-то враз замерзли и руки, и ноги. Он хотел зажечь спичку, чтоб раскурить сигарету, но не вышло — пальцы еле гнулись от холода, и спичка сломалась. Он вздохнул и открыл дверь в вагон.

Здесь плавал сумрак, пахло кислой капустой и почему-то громко звенело радио, точно бы в наказание. Витя сделал шага три вперед и остановился.

— Сынок, уйми ты эту говорилку; — попросил его ста-

ричок с нижней полки, и Витя с радостью повернул выключатель.

Но радио все равно тихонько шипело, потрескивало, как будто разгорались дрова из осины.

— Вот теперь ушам легче,— сказал старик и предложил Вите стакан чаю, но тот отказался.

А через минуту он уже лежал на своей верхней полке и смотрел в потолок.

Вагон бежал очень плавно, не дергался, и у Вити закрывались глаза и ноги немели, да и все тело куда-то проваливалось, просилось на сон. Вскоре он задремал. Ему снилось, что он пришел в свою школу, прямо в кабинет к Борису Григорьевичу, и директор сразу стал спрашивать про Свердловск, про горный институт, куда Витя поступил сорок дней назад и куда стремился с самого детства. И еще о многом хотел знать директор, но Витя уже не слышал этих слов, потому что мешала Женя. Она была где-то рядом, может за дверью, и Витя даже слышал ее дыхание. А потом она нашла его и повела с собой в танце, и он сразу ей подчинился, только почему-то боялся в глаза взглянуть, и она тоже на него не смотрела. Она не смотрела, а ему было больно, и он не знал, что придумать. А вокруг них что-то все время кружилось, что-то желтело, переливалось, и когда он всмотрелся — то были куртки, одни желтые куртки, и ему сразу сделалось страшно. Он сдвинул Жене руку, он задышался, а куртки все равно кружились, кружились вокруг, точно соединяясь в каком-то танце. «Но откуда они? Почему?..» — шептал он и еще сильнее сжимал Жене руку, а этого желтого казалось больше, все больше, оно уже занимало все пространство. И в этот миг он проснулся. Разбудили громкие голоса и шум рядом, на нижней полке. Витя повернулся на другой бок, но внизу опять зашумели. К мужским голосам присоединился женский, и Витя сразу узнал его. Это говорила проводница:

— Господи-и, что за работа? Каждый день воюю с пьянчужками.

— Мать, я не пьяный, я просто веселый. Неуж не отличишь брюкву от репки? Ха-ха-ха... — Громкий смех поднялся до потолка, и Витя не утерпел, свесил голову.

Знакомого старика уже не было, а вместо него сидел краснощекий мужчина в длиннополом сером плаще и в резиновых сапогах, как будто ехал с рыбалки. На голове

у него аккуратно лежала кепка, но он быстро сдернул ее и подмигнул проводнице:

— Не шуми, мать. Мне ехать-то рядом...

— Ты вот что,— проводница покачала головой,— хоть причешишься, а то народ испугаешь...

— Ох строгость! — удивился мужчина, но все-таки достал расческу и начал причесываться. Волосы не слушались, распадалась по сторонам, и он нервничал, еще сильнее краснел.

— Ну, ладно,— пожалела его проводница.— А теперь билет давай и не нарушай распорядок.

— Какой билет? — Он сделал большие глаза.— У меня удостоверение. Оно позволяет.

— Давай документ!

— Ишь ты, родная! Оно у меня в шестом вагоне лежит — сестра там с чемоданами.

— Так, так...— улыбнулась вдруг проводница и подняла вверх глаза и взглянула на Витю. Глаза были сухие, усталые, и даже улыбка не оживила — и это пугало.

Витя где-то видел такие глаза и лицо ее видел. И вот вспомнил, нашел в своей памяти. Такое же лицо было у Жениной матери — такое же больное, усталое. И он бы еще вспоминал, но отвлекла проводница. Она наступала опять на мужчину:

— Ну, вот что... Вот что! — повторила она снова и покашляла в кулачок.— Придется тебе все же сбегать в шестой вагон. Это рядом — минута...

— Тебе рядом, а у меня ноги прострелены. Война, мать, инвалид второй группы...— Он чмокнул губами и опять хотел поправить прическу, но волосы не лежали, топорщились, и он с досады мотал головой.

— Вторая группа — не шутка...— сказала задумчиво проводница, а потом посмотрела ему прямо в глаза: — Послушай, с какого ты года?

— Ой, мать, не спрашивай. Мои года — мое богатство! Так, что ли, поет Кобзон? — Он покосился на Витю. А проводница нахмурилась:

— Нет. Эту песню другой поет, а ты ушел от вопроса.

— Ну, мать, ты — промокашка! Да мне уже пятьдесят пять — хочешь знать. Две пятерки, одна в уме. Меня уж давно зовут дядя Ваня...— Он тяжело вздохнул и стал расстегивать плащ. А проводница неожиданно засмеялась:

— Вот и поговорили, сынок. Мы же с тобой ровесники.

А я войну-то пионеркой была, а ты, стало быть, воевал.

— Правильно, мать! Давай крой меня, прочищай, но только помни — я, может быть, пошутил. Да-а, я шутить люблю, а ты подхватила... — И он еще хотел что-то сказать, но проводница оборвала:

— Хватит, наговорились! Или документ, или в милицию...

— Ты давай потихоньку... Мы — сами милиция, народный контроль.

Он откинул голову, захохотал. Зубы у него были вставные, тяжелые, а по лицу разбежались корявинки. От них шло добродушие. И если бы не глаза... Лицо смеялось, а глаза не смеялись — смотрели вперед цепко, внимательно. И вдруг они заметались и замерли. Витя посмотрел направо — в проходе стоял милиционер. К нему сразу подошла проводница:

— Давайте поближе, товарищ сержант. У нас тут небольшое чепе... Я уж хотела бежать за вами, а вы подошли...

— Ну, что тут? — как-то нехотя произнес сержант. Голос у него был мягкий, мальчишеский, да и самому ему было лет двадцать — не больше... — Кто нарушает? — опять спросил он и стал расстегивать папку. Пальцы у него были короткие, белые, а на лице стояла такая строгость, как будто он поймал опасного, злого бандита.

— Я нарушаю, товарищ капитан, — ответил ему пассажир. — Хорошо, что подошел, сейчас разберемся.

— Покажите документы, — нахмурился сержант и стал развинчивать ручку. Она была у него красивая, иностранная, и Витя сразу залюбовался — ему бы с такой ходить в институт. Ручка стала что-то писать в продолговатом синем блокнотике.

— У меня документы в шестом вагоне. Честно слово, товарищ капитан.

— Я еще не капитан... — улыбнулся милиционер, но сразу же сжал губы, нахмурил лоб, точно испугался своей доброты. А глаза у него в упор смотрели на нарушителя, точно что-то знали уже или догадывались. — Значит, ничего нет при себе. Ни вещей, ни бумаг?..

— Вещи есть, есть! — оживился мужчина и достал снизу небольшой чемоданчик. Потом рывком открыл его и поднял над головой.

На полку посыпалась разная мелочь — зубная паста



и мыло, какие-то флаконы и тюбики, рисовальные кисти, пластинки, а сверху упало махровое полотенце, и все это теперь лежало грудой, как будто нарочно... Все замолчали, а Витя вздохнул — кисти напоминали о школе, об изостудии, где он занимался три года. Проводница глухо покашляла в кулачок, ей, видно, надоело молчать.

— Господи, сколько флаконов-то! То ли шампунь?

— Э-э, мать, бери выше. У меня сын рисует. Так рисует — одно наказание...

— Почему? — спросила весело проводница и переглянулась с сержантом.

— Не говори! Одни краски да кисточки — в месяц по сорок рублей...

— Как же ты подсчитал? — удивилась опять проводница, и в глазах у нее что-то мелькнуло — то ли смех, то ли лукавство, то ли тень от какого-то костерка.

— А я счет люблю! — ответил мужчина. — И вам советую, дорогие. Сберег копеечку — хо-ро-шо! А через год эта копеечка рубль принесет.

— Потому-то и билет не берешь, скопидон? — сказала обидчиво проводница. — Ты с ним разберись хорошенько, а я пол подмету. Насорили, как в полевой избушке. И никому не скажи! — Она посмотрела почему-то на Витю и отошла.

А сержант снова открыл блокнотик. И вдруг мужчина положил ему ладонь на плечо и наклонился как заговорщик:

— Ты убери свою самописку. И послушай, как тебя?..

— Я — Николай Иванович. — Сержант надул щеки и смешно заморгал, как будто его обидели.

— Ну вот, Николай... Я тебя по-простому... Ты неуж меня не узнал? Да посмотри хорошенько, припомни. Ну давай! Я же — Сойкин Иван. Ну забыл — ты сказал тогда: у тебя, мол, птичья фамилия...

— Какая? — хмыкнул, ничего не понимая, сержант.

— Да птичья же. Сойкин ведь, так и по паспорту. — У мужчины было растерянное лицо. — Ты сам в прошлый раз сказал. У тебя, мол Иван Петрович, редкая фамилия...

— Ничего не понимаю... — замотал головой сержант и вдруг нервно сжал скулы и дернул нижней губой. — А ну показывай документы!

— Ох, Николай, Николай! — заворчал мужчина и стал качать головой. — Да как тебе говорить-то? Ты же был

человек. — Он вздохнул и обиженно заморгал: — Эх, люди, люди... А я ведь сразу, прямо сразу признал. Только та законница помешала... — И он махнул рукой в сторону проводницы.

— Ну дела-а! — рассмеялся сержант и посмотрел вверх на Витю, то ли ища сочувствия, то ли приглашая на разговор.

— Да какие дела? Да я тебя хоть ночью узнаю, хоть одеялом мне глаза закрывай...

— Каким одеялом? — Глаза у сержанта уже вовсю смеялись, играли, и лицо сразу посветлело и подобрело.

Он снял фуражку и вытер щеки платочком. И сейчас, без фуражки, рыжеватый и синеглазый — он так походил на Жениного брата Володьку, что Витя чуть не вскрикнул чуть не назвал его по имени, но хорошо, что сдержался. Да и голос у сержанта другой, да и рост не Володькин.

— Ты дурочку мне не строй! Ты документы подавай! — И он снова сделал важное лицо и нахмурился. Но вот ресницы взметнулись, и глаза заблестели, расширились, и опять забрался в них чертик и сразу заиграл и запрыгал, и сержант подмигнул, не сдержался: — Зна чит, и ночью меня узнаешь?

— Узнаю, узнаю! — затараторил мужчина. Он сразу почувствовал перемену и теперь спешил, ловил момент. И голос тоже спешил, запинаясь. — Значит, вспомнил? Неуж не вспомнил? Ты ж весной забирал меня. Ну, да — на этом же поезде... И спасибо тебе, спасибо! Меня и надо было забрать, изолировать, а то бы — ух ты, прямо беда! Беда, беда... — повторил он несколько раз и задохнулся.

Сержант не перебивал его, и тот опять начал:

— Век буду помнить! Ты — молодец, ты — орел, ты — сам знаешь кто! Я ведь сразу тебе тогда благодарность. Да-а, вот этой самой рукой. Взял ручку и написал про тебя. Честно слово, да-а. Вот этой самой рукой... — Он сжал ладонь, потом снова разжал и погрозил пальцем Вите: — Ты, падцан, не подслушивай. Давай отвернись. Это наше дело, двоих... Смотри в окно, там вроде снежок...

— Я не падцан, — обиделся Витя, но на большее его не хватило. У него задрожали губы, и он отвернулся.

За окном летело что-то слабое, белое, как будто трепыхалась под ветром простынка. «Неужели снег уже?

Неужели метет?...» — подумал Витя и начал представлять, что делает теперь Женя. «Она, наверно, сидит за уроками, а может быть, в клубе... опять танцует с этими желтенькими. Танцует, смеется. Неужели ей не противно... Неужели она такая. А я-то думал...» Но ему не удалось поругать ее, потому что снизу мешали. Густой, напористый голос поднимался до самого потолка, лез прямо в уши:

— Ты мне сказки не сочиняй! Никакой благодарности не было. И вообще время тратим...

— Как это не было? Как это так? Ты уж людям не веришь. А я вот этой самой рукой. Взял бумажку и написал: так, мол, и так, сержант ваш спас от гибели человека. Снял его с поезда, задержал...

— Ну ты и тип! С тобой не соскучишься...

И после этого Витя слышал смех. Смеялся сначала один, потом сразу — оба. И Витя не утерпел, свесил голову. Они продолжали смеяться — лицо у сержанта точно подпухло и округлилось, вместо глаз синели только узкие щелки. Наконец мужчина не выдержал, он наклонился над сержантом низко-низко, чуть лбом с ним не стукнулся и сказал, как ребенку:

— Хватит, хватит. Похохотали, и ладно. А про благодарность не сомневайся. Я ведь на область выслал, прямо на управление. Так что пока почта, да пока разбирают, пока то да се, сам знаешь, как у нас не торопятся. А потом, глядишь, тебя вызовут да перед строем поставят...

— Как перед строем? — улыбнулся сержант. — Я вот слушаю, время трачу, а у меня куча дел.

— А ты время не жалеешь. Время-то — оно не твое, государственное. Правильно я говорю? — Мужчина поднял вверх глаза и взглянул с надеждой на Витю.

— Правильно, — поддакнул ему Витя и почему-то смутился.

— А ты, значит, стеснительный, аха? Тебе, милый, трудно придется. Это уж да, кому что написано...

— А ты не уводи! — перебил его сержант. — Раз говоришь, что я тебя спас и снял даже с поезда.. то как все же было?

— А было так... — Он лениво зевнул, обнажая слабые, бескровные десны. — Фу, черт, не выспался, да-а. Я ехал тогда все из того же Свердловска...

Он немного подождал, точно что-то припоминая, а может быть, и приметил проводницу. Она встала не-

далеко от них и слушала разговор. В глазах у нее опять бегала лукавая змейка. Витя видел, что ей хочется засмеяться, но она не выдавала себя, крепилась. Потом покачала укоризненно головой и отошла. Сержант тоже поднялся и посмотрел на часы.

— Ты не уходи, подожди! — сказал громко мужчина. — Я сейчас тебе кратко, по-быстрому. Значит, так... Слышишь?

И сержант снова покорно сел.

— Значит, так. Вез я с собой ружье — ТОЗ-34. Купил бескурковку в Свердловске — ну и доволен, конечно. А ты бы не был доволен? А что? Парень, правильно я говорю? — Он посмотрел на Витю.

— Правильно, — согласился Витя и улыбнулся.

— А ты спрячь зубы, не улыбайся. Дальше-то будет невесело. Ох, как невесело! — Он снова зевнул, потянулся, но это вышло нервно, наигранно. — Значит, еду я и бескурковкой играю. Играю, значит, вытащил из чехла.

— Как играешь? Это ж ружье! — перебил его раздраженно сержант. Щеки его напряглись опять, глаза потемнели. Даже плечи как будто бы поднялись, точно на него собирались напасть.

— А ты не взбуривай, я не боюсь. У меня, между прочим, и имя есть, даже отчество. — Он хмыкнул и вытянул скобочкой губы. — Значит, так. Я буду Сойкин Иван Петрович. А может, даже по-нашему — дядя Ваня, и все. Я же для вас кто еще — дя-день-ка! А вы для меня кто? — Он поднял глаза на Витю. — А вы просто ребятишки. Ребятки-цыплятки, да-а. Вас еще надо учить да воспитывать.

— Ну а дальше-то? — перебил его сержант. Голос у него теперь был уже другой, какой-то виноватый, подавленный.

— А дальше, что дальше... Сажу в вагоне да бескурковкой любуюсь. То собираю ее, то разбираю. Ну и в дуло, конечно, смотрю: какая нарезь да что за смазка. А возле себя положил патроны. Купил две сотни в бумажных гильзах. Ну и патроны тоже смотрю. А возле меня уж народ собрался: где купил, мол, почему?.. И вдруг народишко как отхлынул, я оглянулся — это ты идешь. Вот в этой фуражечке, при погонах. Не успел дойти, а уже кричишь — убери, мол, пушку свою! Убери с глаз долой! А почему, отвечаю, почему, мол, горло дерешь,

я еще никого не убил. Не убил — так убьешь, — это были твои слова. Ружье-то, мол, раз в году без дробы стреляет. Неуж не помнишь?

— Не помню, батя. Убей — не помню, — сказал смущенно сержант.

— Где уж тебе — тыща дел на дню. Но все же я доскажу. Значит, ты закричал: оштрафую, мол, на первой станции сдам. А я тоже поднялся — не имеешь, мол, права. Я, мол, на свое купил — и никто не указ. А потом, что потом... Говорить тебе или промолчать?

— Молчать не надо, — усмехнулся сержант и приветливо посмотрел на Витю, приглашая в союзники.

— Ну, хорошо, ребятки. Уговорили вы Сойкина, молчать не буду. И ты, парень, слезай, подвигайся ко мне. — Он посмотрел на Витю, но тот замотал головой:

— Мне сверху лучше.

— Ясненько. Мне сверху видно все — ты так и знай. — Он рассмеялся, пригладил волосы. — Вот и сажу я тогда, хочу себя защитить, а ты уж за дуло взялся, стал ружье вырывать. Так, так, думаю, чья возьмет. А потом вошло мне в голову, дурачку: да кто же, мол, с милицией спорит? Как подумал — так ружье отпустил. Ты его на плечо да в тамбур. И патроны взял. А там уж поезд стал тормозить, и вот уж проводница кричит — Китайск! Кому сходить на Китайск?.. Это рядом, под Шадринском, недалеко...

— Поди, знаем, — засмеялся сержант.

— Знаем, да-а, а мне-то не легче. Ты ведь ружье-то мое — на плечо и мне орешь: собирайся! А мне собираться — минута. Чемоданишко в зубы — и за тобой. И вот уж поезд наш загудел, а ты даже не оглянулся. Только идешь и, помню, ворчишь: надоели, мол, эти пьяницы, измотали. Это на меня намеки делал. А какой же я пьяный — я просто веселый. Но тебе разве докажешь? Идешь тогда, и бубнишь, и стрекочешь: мое бы, мол, право — отрубал бы им правую руку, тогда бы живо пить перестали...

— Чепуха! — остановил его сержант и посмотрел долгим взглядом на Витю. — Не мог я так говорить, это не я. У меня, Иван, Иван...

— Иван Петрович! — подсказал мужчина и запахнулся плотно плащом. В вагоне почему-то похолодало.

— Так вот, Иван Петрович... На этот счет у меня особое мнение.

Сержант опять посмотрел на Витю, и тот тоже потянулся к нему глазами. И взгляды их встретились, примеряясь друг к другу и изучая, а потом Витя отвел глаза, улыбнулся. Он бы и сам не сказал, почему улыбнулся, но сержант тоже в ответ улыбнулся — и опять между ними ожила какая-то ниточка, как будто знали они друг друга давно, а потом потеряли — и вот снова рядом, и ничего им не страшно. Сержант махнул ему рукой: слезай, мол, и садись возле меня. Но Витя повел подбородком: мне, мол, и тут хорошо. И опять они поняли друг друга без слов, но зачем слова... Зачем эти слова, если Витю и так уже все в нем притягивало: и его голос, какой-то веселый, напористый, и его глаза, зеленоватые, как у девушки, и его волосы, похожие на одну легкую луговую травку, а какую — забыл название. Но особенно нравилось Вите, что сержант походил на Володьку — Жениного братишку.

— Вы что друг на друга не наглядитесь, — заметил пассажир. — Эх, молодо, как говорится, да зелено. А я ведь тебя жду, Николай. Ты заикнулся про свое мнение.

— Вы знаете, Иван Петрович...

— Да брось, Николай, зови меня дядя Ваня, и ладно. Я же вам, ребятки, в отцы гожусь. Ребятки мои выцпляютки. Побежали — цып, цып, цып...

— Пусть по-твоему, дядя Ваня. Но мне не смешно. С пьянством — надо с умом... Надо отвлекать на культуру — проводить разные вечера, дискотеки, стадионы открывать им с утра до вечера...

— Не-е, Николай! Танцульки — тоже не дело. Да и как танцуют-то — срам... Не разбери их поймешь. Но я не буду, не буду, не буду. А то ишь как Николай на меня засмотрел! И тогда тоже несешь мою бескурковку, а сам глазами на меня — зырк, позырк. И патроны мои несешь в двух желтых коробочках, в каждой, да-а, будет по сотне штук. Я хочу кого-то сказать, оправдаться, а ты — прекрати разговорчики, вот проспишься — поговорим. Ну, ладно, решаю сам про себя. Все по закону вроде, все по уму, но только за это «проспишься» обиднехонько. Я веселый просто, ребятки. Я всегда веселый, а что... Живу хорошо, чего и вам желаю. И кушаю не с базара — все свеженько. И машина у меня, и дача, и даже два гаража... Я в одном, Николай, оборудовал мастерскую. А что? У других есть, почему мне нельзя? У меня и станочек там — я же все могу по железу.

— Неужели станок? — удивился сержант и стал что-то писать в своем синем блокнотике.

— Не дури, Николай. Убери ручку и завинти. Всех-то нас не запишешь. Сейчас много крепко живут, а все сами, сами, государство не обижает. Сейчас вон и в деревне по две коровы держат да по восемь свиней. А что не держать? Им и корма, им и ручки пожимают, их и в президиум... Ну и я, ребятки, не похаю себя. Иван Сойкин — тоже на уважении. Я в своей автоколонне — двадцатый год. Да я все могу! Я и шофер, и слесарь, я и по электричеству...

— Веселый, значит, вы человек, — усмехнулся сержант и как-то загадочно покачал головой.

— А ты не смейся! Я тебе не навру! Меня и в молодости звали — Ванька-веселый. Меня огнем жгли, а я стою похохатываю. Как-то на пилораме дело было, да-а... Меня пилой-зубчаткой задело, так не поверите. Из руки кровина хлещет, а я хохочу, хохочу да насказываю. Вот глядите — отметина...

Он быстро снял плащ и закатал рукав у рубахи. На руке, возле локтя, синел рубец, похожий на змейку. Сержант причмокнул языком, а Витя закрыл глаза — он не выносил таких откровенных картин.

— Ну, как, ребятки, видели? Поглядели? А я боли не боюсь. Честно слово, — как заколдованный! Меня даже комары кусают — не слышу. Нет, не слышу! Не верите? Как-то пчелы налетели, целый рой — жу-жу-жу! Другой бы помер или штаны потерял, а я стою похохатываю... Не верите?

— Верю, верю вам, дядя Ваня или как вас — Иван Петрович... — Сержант вздохнул глубоко и головой опять покачал: — А у меня ведь время в обрез, товарищи. Сейчас, пожалуй, ваши документы проверю — проводница все же просила, — а потом пойду дальше, надо бы повидать бригадира...

— Ты чего, Николай! Как неродной, ясно море. Сколько раз смотреть мои документы... — Он взглянул вверх на Витю: — Ты, парень, скажи, прав Сойкин или, может, не прав?

— Прав, прав! — кивнул Витя и переглянулся с сержантом.

— Во-во! — обрадовался мужчина. — Он уже глядел раз мои документы. Несет, значит, мое ружье, а уж сзади народишко: кого поймали? Кого повели?

— Но я тебя что-то не помню,— опять признался сержант.

— Ну где же, где же! У тебя сотня дел на день, а тут еще я подвернулся. А на меня и протокол надо, и допросы снять надо. Но у тебя уж все по закону, все по уму. А сперва ты завел меня в отделение, а там уж как ждали нас — и никакой, понимаешь, очереди... — Он вытянул губы и покачал подбородком, то ли подражая кому-то, то ли так — что-то вспомнил. И теперь заговорил тихо, почти что шепотом, точно сообщая какую-то тайну: — Ружье там, конечно, мое забрали и патроны тоже забрали. А теперь, кричу, и меня забирайте. Мне сразу — потише, Сойкин, потише! Ты сейчас, мол, отправляйся к какой-нибудь теще, а приходи пораньше с утра. Будем с твоим ружьем разбираться. Ну что... Ночь уже, где-то хулиганы свистят, а меня прогоняют. Хорошо, что у меня родня в этом Катайске. Я и пошел к ним... А ты, Николай, в отделение остался. А сам из лица выпал, устал. Прямо постарел лет на пять...

— Во-во, с вами, милыми, постареешь! — повеселел почему-то сержант. Ему, наверно, нравилось, что его пожалели. И он даже покраснел немного, как будто чуть поддурманили, и лицо сразу стало добрей. И это сразу ухватил Сойкин и опять стал пытаться:

— Значит, не узнал меня, как же так! А я тебя, бо-о-о-же мой... Эх, Николай, честно слово, слов не хватает. Вот ты в форме сейчас, в синей фуражке, а я тебя и в гражданском узнаю. Да с твоим лицом, хочешь знать...

— С каким лицом?

— А-а, ясненько, не притворяйся! Да с тебя хоть пиши картину. Ой, ой, я что-то знаю!

— Ну, что? — совсем растерялся сержант, почувствовав какую-то хитрость, намек.

— А то, дорогой, ведь тебе, наверно, от девок проходу нет. Ну, что, угадал тебя Сойкин, не отопрешься! — Он победно взглянул на Витю, потом опять на сержанта. В глазах мелькнул свет, но сразу погас. И голос вышел ленивый, усталый: — Эх вы, ребятки-цыплятки! Молодость — это льдинка. — Он потянулся и с наслаждением зевнул. — Да-а, это льдинка на жарком солнце. Так что хватай, бери, пока можно и неможно, бери и устраивайся,

а то жизнь наша маленька. Жив — и нету! Николай, у тебя есть невеста?

— Ну что вы! — Сержант закрутил головой и покраснел.

— Ах, что вы, кто вы, рыба-кит. Сам знаю, что есть, Ивана Сойкина не обманешь. — Он вздохнул глубоко. — А я уж в ваши годы, ребятки, женился. Пришел с армии — и обкрутили. А время тяжелое, на одной картохе сидели. Вот так и жил я с женой семь лет или восемь. А потом сменил работу — взяли в автохозяйство. И тут я ожил, да и добры люди дали намек: ты, мол, Иван, на самом деле дурак или дураком притворился? А что такое? Я не пойму! А то, мол, что у тебя же машина. Да она бортова. А нынче кто при машине, тот и хозяин.

— Ну, как — выручает машина? — спросил лукаво сержант. Глаза его вспыхнули, как будто он что-то вспомнил, но в этот миг уже Сойкин отвечал на вопрос:

— А я, Николай, как все. Все строят дачи, и я построил. Как-то делал к дачке веранду да решил утеплить. Ну а как? Ведь нужна стекловата. А у нас теплотрассу вели в район — я и поехал туда. Там этой стекловаты — целые горы. Я накидал полный кузов, отвез. Так потом и себе хватило, и соседей всех наделил и ни копейки не взял с них. Вот какой я! — Он захохотал. — Сам не похвалюсь, так никто не похвалит. — Он посмотрел внимательно на сержанта. — А я ведь, Николай, тебе не соврал. Я благодарность сразу отправил. И за ружье тебя похвалил, и за внимание.

— Какое внимание? — удивился сержант.

— Хы-ы, — Сойкин снова захохотал. — А я пришел тогда в Катайске к родне. Ну, выпили чаю, поговорили, а меня сродный брат и берет за плечо. Ты знаешь что, Иван, а ведь сержант тебя по всем правилам взял. А если бы не взял, тебя в поезде мужики угостили бы, а у тебя с собой ружье и патроны. Ты бы знаешь, что мог натворить! Да ты, ясно море, убийство бы сделал. Тебя бы сразу за хобот — да высшую меру... Могло быть такое? Я правильно говорю? — Он посмотрел вверх, на Витю. Тот кивнул головой.

— Правильно.

— Вот парень! Все время согласен. — Сойкин сказал с восхищением, а потом добавил медлительно, пригла-

живая волосы, придавляя их к самой коже: — Жить надо так, ребята. Соглашаться-то соглашайся, а от своего не отступай... Ну, что там, по степи-то метет?

Этот вопрос Витя принял к себе и сразу ответил:

— Дует сильно, белым-бело.

— Что-то рано нынче, как бы наоборот не пошло. В октябре-то снег, а потом наворожит дожди...

Витя повернулся к окошку и прислушался к ветру. Какой был ветер! Он то подвывал и постанывал — прямо в потолке и на крыше вагона. А то начинал подражать голосу какой-то гортанной птицы, и вдруг Витя вспомнил эту птицу и этот печальный крик тоже вспомнил. Так кричал однажды дикий гусь недалеко от деревни. Его ранили на озере и не достали, и вот он выплыл на середину и стал звать свою стаю. А той уже нет, она улетела. И гусь кричал и одновременно прощался. А над озером тогда кружилась вот такая же белая крупка, и этот снежок был, наверно, последний в гусиной жизни. «Последний, конечно, последний...» — повторил про себя Витя, и ему стало тоже печально. Вот он завтра увидит Женю, а потом снова надо прощаться, а зачем это, кто виноват... И он опять стал вспоминать то письмо ее, особенно последние строчки: «Но если тебе трудно писать сейчас, то пока не старайся. Вот пройдет какое-то время, и ты снова напишешь...» Но какое время? Ты, Женя, смешная. Ты забавная. Господи, какой же она ребенок...

— Ну, как там, значит — снежок? Не стихает? — опять спросил Сойкин.

— Не стихает, — ответил Витя.

— Вот тогда тоже снегу в Китайске! И за окном полетело да закружило. Но тот снег тяжелый, весенний. А этот кого, как крупка. Так крупной и пройдет. Может, даже грязи не будет. А тогда утром встал — голова болит от чайку-то, а за воротами — целая болотина, а на мне — только шишетки. Хорошо, братан дал свои сапоги. Но зато уж начальник твой встретил меня по закону. Как ждал меня, дожидался. Не успел я в коридоре протопать, а он уж дверь распахнул и сам улыбается — проходите, Сойкин, садитесь. Ну я и прошел. А он брови сжал да как рявкнет: «У тебя охотничий-то билет с собой?» Я даже чуть не присел, улыбочка-то была, мол, обманна...

— Значит, рявкнул? — остановил его сержант. Потом в раздумчивости покачал головой: — Что-то не то, батя,

не совпадает. У того голос-то всегда тихий, спокойный. Ни на кого не повисит...

— А на меня повисил! Ах ты, говорит, Сойкин, да что ты за Сойкин? Я сейчас лишаю тебя права ружья. Ты же вез с собой двухкурковку. Да в вагоне играл с ней, прицеливался. А если б что натворил? Так что отдай, мол, билет и не плачь. А не можешь из ружья — стреляй из рогатки. Воробьев-то нынче не считано.

— Нет, не то... — опять заволновался сержант. — Порядок у нас такой. Я тебе сейчас расскажу.

— Не надо, не надо! — замахал на него рукой Сойкин. — Конечно, ты все знаешь, до тебя не достать. Тебя и в школу, поди, зовут ребяташки. А ты им доклады, да-а... Учишь, как через улицу надо шагать. Чего замолчал? Я правду люблю... — Он повел глазами по верхней полке, но Витя задумался, весь ушел в себя. Это, наверно, от холода, от сильного сквозняка.

Вагон теперь сбавил ход, но все равно дуло из всех углов. «Ветер? Откуда ветер?» — машинально повторял Витя, точно повторение это согревало и успокаивало. И тогда Сойкин опять спросил:

— Ты, Николай, будешь слушать или же как?

— Давай, давай... — сказал вяло сержант.

— Ну ладно, продолжу. И ты, Виктор, слушай. — Сойкин постучал ладонью по верхней полке, и у Вити сбилось дыхание.

— Откуда знаете мое имя? Откуда?! — переспросил он и замер, ожидая чего-то плохого.

— А у меня у самого сынок — Витька. Вот всех и называю, привык... Эх вы, ребятаки-цыплятки! Всех бы вас так и собрал бы в беремя да обнял бы вот этой самой рукой! — Сойкин вытянул правую руку и сжал в кулак и кому-то погрозил: — Вот за кого мы воевали! Вот за кого по госпиталям грешное тело таскали. А ты, Николай, цени!.. И ты, Витенька, помни!

— Так вы же не воевали... — сказал Витя тихо и сразу же пожалел, что сказал. Но Сойкин даже не рассердился. Он ответил тоже спокойно и даже зевнул как будто:

— А ты, Витя, не лезь, не высовывайся. Шарик наш из подворотни высовывался, так ему мотоциклом нос отрубило. Все бывает, ребятаки. Но ты, Витя, не обижайся. Поди, студент еще? К маме едешь?

— Студент, — ответил нехотя Витя и прислушался к ветру.

За окном свистело, гудело. Ветер не успокаивался, и вагон все так же качался, поскрипывал, и в душе Вити начинала расти, подниматься тревога. «Но почему мне страшно? Чего я жду? Чего выдумал?» — вопрошал он себя и не мог найти выхода. Так прошла минута, другая, и выход нашелся. Он стал думать о Жене. И вспомнилось то письмо, и те забавные смешные слова: «Найдешь ошибку — считай за улыбку». И он опять начал повторять про себя эти слова, и сразу отлегло на душе, и он тоже стал улыбаться. А потом стал представлять лицо ее... Как она его увидит, как подойдет к нему завтра, как покраснеет... «Господи,— облило его всего жаром,— просто даже не верится, неужели?.. Неужели уж завтра они пойдут вместе в клуб, а там будет музыка, а потом он пригласит ее, и они пойдут танцевать и будут танцевать до закрытия. И он сам будет выбирать себе музыку — самую лучшую, самую красивую, самую нежную. Неужели все это случится?» И он закрыл глаза, вздохнул обессиленно, и сразу же в голове началась эта музыка, и он нырнул в нее, как в спасение, потому что уже устал от дороги, от Сойкина, от сильного ветра за стеклами, и только одного хотелось уже: быстрее бы доехать, быстрее бы! Но Сойкин опять был рядом, опять поднялся его медленный, поучающий голосок:

— Вот ты, Витя, студент, и это не шутка. С вас, ребятки, все и пошло. Сегодня вы студенты, а завтра уже врачи, прокуроры...

— Учителя, инженеры...— продолжил его сержант. И в глазах ожило озорство.

— А ты не смейся! Я с вами, как отец, откровенно. И наберитесь терпения.— Он обиделся и закрутил головой.

Но это длилось недолго, через минуту он уже опять говорил:

— Эх вы, ребятки. Послушайте старика — может, что пригодится. Вам про то и мать родная не скажет, а я скажу.

— Ну, ладно, извиняюсь, беру слова...— заворчал сержант.— Но только больно вы долго. Очень долго рассказываете. За это время уж и зима пришла. Вон как метет! — Он показал рукой на окно.

— А куда нам спешить, ребятки. Поезд привезет, а мы поговорим. Значит, ты, Витя, студент... И у меня есть такая Нинка Савостина. Третий год уже в медицинском...

Значит, скоро диплом. Так я ей к каждому празднику в переводе — десяточку. Примай, мол, пособие от Ивана Петровича.

— Алименты, что ли? — громко засмеялся сержант.

— А ты, Николай, осторожно. Эта Нинка — моя соседка, живет с бабкой, родители — алкоголики. Она от них отказалась. Вот и шлю ей, а что?

Сойкин достал из кармана платок и стал вытирать глаза. Они у него почему-то слезились, моргали безостановочно. В вагоне зажгли сильный свет — глазам стало нехорошо, и он их осторожно вытирал и сушил платочком.

— Значит, вы — благодетель. Установили пособие... Второй год работаю, а такого не слышал. Сержант переглянулся с Витей и покачал головой.

— И не услышишь, Николай, не услышишь. Умных людей немного. Ну, вот. Сам себя не похвалю — так от вас не дожدهшься! — Он захохотал, и глаза еще сильнее заслезились. Он их промокнул платком и поморщился: — А я ведь и Тольке Кнышу помогаю, тот у меня в юридическом. Через два года приедет. А что? Все по закону. Как праздник — так и Тольке десяточку. На сигаретки там, на лимонад... Молодые ведь...

— Зачем это вам?! — опять удивился сержант.

— Неуж не понял? Тебе, Николай, непростительно. Милиция-то все видит, все знает! — Он усмехнулся, поправил волосы. — А отгадочка тут простая. Вот закончит моя Нинка институт, и будет у Сойкина свой хирург. Самый надежный — любую справку напишет, любое лекарство...

— А из Тольки будет свой прокурор. Так, что ли?

— Молодец, Николай! Сдогадался...

Сойкин откинулся и захохотал так громко, что в стенку сразу же застучали: потише, мол, вы не одни...

— А что, ребятки, от меня не убудет. На одно трачу, на другом экономлю. Кака-то десятка — и весь интерес. Правильно, Витя, я говорю? — Он поднял глаза. — А если нет, поправь дядю Ваню

— Я не знаю... — сказал Витя сухо и отвернулся к окну.

— А ты, студент, гордый, да? — Сойкин хихикнул и сморщил нос. — В интеллигенцию записался, да? — Он опять издал носом неопределенный звук. — Смешно, ребятки, да хохотать не могу. Где она, ваша интеллигенция-то? Где, студент, подскажи дяде Ване. Может, это те,

которые в шляпе да на окладе? Молчишь, значит, Витя? И тебя, Николай, не слышу.

Он достал расческу и долго, со значением, разглядывал ее на свет, потом опять в кармашек положил.

— Нет, ребятки, я лучше в кепочке прохожу да досыта поем. У меня вон Зойка — жинка, шестой год на буфете. Зарплата, конечно, куриная, но зато все свое: у меня теперь, Витенька, и балычок, и колбаска. Вот так, цып-лятки мои. Я ведь тоже математику проходил. Так что на мою кепочку не глядите. — Он тяжело вздохнул, как будто устал от слов.

Сержант начал нетерпеливо покашливать и только хотел что-то сказать — Сойкин взмахнул рукой:

— Обожди, Николай — у нас тут интеллигенция завелась. — Он поднял глаза на Витю и рассмеялся: — А ты слушай, Витя, не кукси нос. Нынче все перепуталось — на котором там шляпа, на котором фуражка... Но только все равно — мы наверху! Наверху мы, студент, и запомни, скажи другому. — Он опять тяжело задышал и обмахнул платком щеки. Сержант кашлянул, но Сойкин закрутил головой: — Николай, ты обожди! Ты возьмешь свое, а вот студенту надо послушать. Надо, надо ему... Он вот завтра побежит у нас на танцульки, а я денежки буду делать. Чего и вам пожелаю, ребятки. Будут они, милые, и свой врач будет, и прокурор...

— И парикмахер! — засмеялся сержант. Его глаза жгло какое-то нетерпение, но ему не давали сказать.

— А ты не смейся, милиция, не о смешном говорим... Вот ты, Витя, на кого учишься, а?

— Ох, батя, батя! — Сержант хлопнул себя по колену. — Вы и этого хотите засвоить? Ну, с богом — ему тоже десятка не помешает.

— Нет, Николай, ты злой, у тебя уж подпорчены нервы. А вот студент у нас добрый, да. Правильно, Витя? Ты добрый у нас?

Витю душил стыд и обида, и все это вместе слилось в какой-то камень, и он крепко давил на грудь.

— Вот так, ребятки, я ведь с вами как на духу. Нажить денег — это пустяк. Я уж за последни годы все перепробовал: я и рыбку продавал, я и лыко драл и сдавал, я и цветки разводил в теплице, — но это все ерунда. Вот малинка — это подарок. Такой подарок, ребятки-и! — Он вздохнул глубоко и присвистнул: — Намоешь этих чер-

вячков — да в коробочки. А один спичечный коробок — два рубля! А рыбаков у нас — гим-гимзит. Так что за неделю бывает по три куска.

— По триста рублей, значит! Вторая у вас зарплата... — уточнил сержант.

— А что? Государство не обеднеет — ну и мы в барыше. Как, ребятки, вы денежки ни ругайте, а они всегда за себя постоят... А что? У меня все по закону.

— По закону-то по закону, но как же у тебя с ружьем дело закончилось? Ведь ты меня туда путал.

— Зачем путал? Я тебе, Николай, написал благодарность. Я бы и в Катайске еще оформил, но начальник тот помешал... Да, ребятки. Он решил меня, Сойкина, — на испуг! Больше, говорит, ты на гусей не пойдешь, и на уток ты не пытайся. Мы у тебя охотничий билет изымаем. А сам бровки опять сжал и кулаком стучит по столу... А я ему обстоятельно так отвечаю: нет, мол, товарищ начальник, ты хоть обривай меня наголо, хоть холодной водой обкачивай, но я уж десять лет ее в рот не беру. Язва, мол, у меня, стенокардия, гастрит. Если не веришь, за меня поручится сам Глеб Александрович. Телефон у вас, полагаю, есть. Есть, говорит... У меня целых три телефона... Тогда, говорю, звони ему в область. Мы с ним — кореша по охоте. Он без меня и курка не взведет, он за мной как собачка на поводке.

— Кто такой Глеб Александрович?

— А тебе стыдно, Николай, стыдно! Его вся область только по отчеству. Я тебе, пожалуй, даже вслух не скажу. Ну, вот, звонит ему начальник по красному телефону, а сам глаза на меня — неуж я его обманул. А я молчу. Выжидаю. Потом вижу — он вспотел маленько, рука с трубкой стала подрагивать. Тот, видно, на другом конце уже голос повысил, а может, ругаться начал за Сойкина. Без меня-то ему — ни шагу. Ну, вот. Он положил трубку — и на меня: почему, мол, сразу молчал, почему моему сержанту не выложил. Вот он кончил, а я ему — за сержанта вы не страдайте, я ему pošлю благодарность, что я, Николай, и сделал. Честно слово, добросовестно... Так что скоро тебя качнуть надо. Я и Глеба Александровича просил за тебя...

— Ну, кто он — твой Александрович? — спросил неторопливо сержант.

— Ох ты, дите ты еще, прямо дите! Его же вся область знает, его и подальше знают.

— Нет, ты скажи мне фамилию? — упорствует сержант, и щеки у него наливаются чем-то вишневым.

— Ну какая тебе фамилия! Его знают и без фамилии. Только скажи, что Глеб Александрович попросил, — и любая дверь настежь, любые запоры тебе — не запоры... Но у меня с ним дружба. Ох и дружба, ребятки! Я ему кричу — жми на курок, Глеб Александрович! И он сразу палит из обоих стволов. Потом сидим с ним, беседуем. Обо всем, ребятки, переговорим, да-а-а, от меня не убудет! — Сойкин помолчал. Потом встал в полный рост и стал собирать чемодан. И в это время в коридоре закричала проводница:

— Шадринск! Скоро Шадринск! Сдавайте белье!

Витя уже стал собирать свои вещи, а сержант не торопился. На него оглянулся Сойкин и как-то забавно хихикнул:

— Ты чего, Николай, заболел? Тебе куда ехать?

— Туда же, куда и вам... Но ты мне задачку задал. Вот и сижу, все думаю, думаю. А я ведь не забирал тебя с этим ружьем! Нет, нет! Кому угодно скажу...

— Да брось ты башку ломать. Забирал ли, не забирал. А благодарность не помешает. Это я тебе говорю — Сойкин. Ха-ха-ха-ха! — Он засмеялся на весь вагон — лицо расплылось, даже не видно глаз.

— Так, значит... Значит, ты обманул? — вдруг понял что-то сержант и зажмурил глаза, как от боли.

— Да брось ты, Николай! Мы сидели, время проводили. А ты доверчивый, да? — Он снова захохотал и начал оглядываться, точно ища себе поддержки, а может быть, восхищения.

Но рядом стояла проводница и держала в руках билеты.

— Так, так, Николай... А благодарность тебе будет, никуда не уйдет. Только жить начинаешь... Я обещаю. А ты, Витя, возьми вот пластиночку. Сынку вез, да попала эта в двух, как говорят, экземплярах. Вчера зашел в универмаг, взял из стопки, а они слиплись — не отодрать. Но я и раздирать не стал...

— Значит, заплатил за одну, а две в сумку положил, — сказала тихо проводница и посмотрела на Сойкина. В глазах у нее было темно.

Угадала, мать, угадала. А только не кипятись — государство не обеднеет .

— Ну, ладно, беги-беги, пока я не злая. Доехал ведь, освободи теперь место.

Проводница опять посмотрела на него в упор. Но Сойкин уже не видел ее глаз. Он быстро-быстро перешагнул через Витин чемодан и пошел торопливо по коридору. Проводница погрозила ему кулаком.

— Зачем вы так? — удивился сержант.

— Так он же без билета ехал. От самого от Свердловска. Из вагона в вагон гулял, потом к вам присосался.

— Почему не сказали? — нахмурил брови сержант.

— А потому, потому, что все кончается на «у», — засмеялась проводница. — Да и больно уж складно он вам врал да насказывал. Посмотрю, сидите, мордочки подняли, как суслики. Эх, да что говорить. Руки об таких надоело марать. — И она зевнула, потом посмотрела на часы.

— Нет, надо бы вам намекнуть. Правда, я сам сомневался, догадывался... Да что уж! Ошибку сделал! — Сержант кусал губы и морщился.

— Успокойся, сынок. Молодость — вот она, ваша ошибка. А наставить-то вас по-доброму некому. Беда с вами, честное слово. — Она замолчала и оглянулась в глубь коридора. — А что, мальчики, пойдемте в мою комнату, у меня же купе. Я вам чайку разогрею.

— Нет, нет! — замотал головой сержант. — Мне же сходить здесь, чуть не проехал...

— И мне здесь, — сказал Витя и взял в одну руку чемодан, а в другую — пластинку.

— Ой, ой, я же билеты не отдала. Да бегите скорей, а то не успеете! — закричала им вслед проводница.

Но они уже не слышали, они уже были в тамбуре и торопливо открывали железную дверь.

На перроне было по-зимнему холодно, сумрачно. По асфальту перегоняло снежок, и Витя сразу вспомнил того далекого гуся. Как он кричал тогда, как метался по озеру, как крутился над ним белый гибельный снег. Но вот Витя услышал чье-то дыхание. Оглянулся — к нему подходил сержант.

— Слушай, ты Виктор, что ли? Тебе, может, надо помочь?

— Спасибо, — ответил Витя и сразу повеселел.

И сержант уже тоже отошел от обиды. Глаза его

влажно поблескивали в темноте, и опять, опять между ними образовалась какая-то ниточка-притяжение. И вот ниточка натянулась сильнее, сильнее, а потом сразу лопнула.

— Ну, друг, прощай! Благодарю за компанию.— Сержант пожал ему руку и пошел вперед, не оглядываясь. Шагал он широко и уверенно, только спина немного кривилась, покачивалась — сержант косолапил.

Витя вздохнул глубоко и огляделся по сторонам. Окна в домах темнели узенькими квадратиками, а возле них кружилась пороша, и люди в домах еще спали, не знали, что в город пришла зима. Витя опять вздохнул и шагнул вперед. Вначале он просто шел без разбора, а потом появилась цель. Рядом с домами белелась большая площадь, и Витя повернул на этот призывный свет. Он жалел теперь, что не спросил у сержанта ни его адреса, ни фамилии. Но ведь и тот тоже ни о чем не спросил...

На площади сильнее дуло и сильнее сыпал снег. Он сыпал как-то косо, стремительно, точно спешил быстрее лечь на землю, соединиться с ней и растаять. Под ногами у Вити что-то уже хлюпало, как будто он шел по лужам. Иногда по площади на полной скорости пролетала машина, потом опять — тишина, тишина. И Витя радовался ей и дышал на полную грудь. Иногда он поднимал лицо и начинал слушать снег. Снежинки падали прямо на щеки и холодили их, как будто ласкали. А потом они превращались в струйки и стекали вниз под рубашку. От этих струек он начал мерзнуть, потому зашагал побыстрее. Но все равно спешить было некуда. Автовокзал открывался только в шесть утра, а в семь часов будет Витин автобус. Он и повезет его к Жене, к матери, к Борису Григорьевичу. И минут через сорок он будет уже в родной деревне. «Неужели это случится?! Неужели?!» Все в нем уже обрывалось от нетерпения, и он шагал все быстрее, быстрее. Лицо его покраснелось, снег залеплял ресницы, но Витя все ускорял шаги. Его подгонял вперед еще холод. Наконец под ближним фонарем он решил потуже затянуть курточку и вдруг увидел в руке пластинку. А до этой минуты он совсем забыл про нее. Но сейчас, на ярком свете, опять вспомнил... Он взял ее в поезде совсем машинально... Он поворачивал пластинку медленно-медленно и так же медленно подносил к глазам и опять убирал. На пластинке было написано: «Джеймс Ласт. Танцуем без

перерыва». «Так это же! Это же...» — стало доходить до него, но он не хотел еще верить, не хотел понимать. И он опять крутил ее, в яркой желтой обложке, точно угадывая, проверяя себя: «Не сон ли это? А может, сон?» И наконец он понял все: «Так это же та пластинка, о которой писала Женя. Она просила ее, она сообщала в письме... Ну так что же? Я привезу... Но... нет, нет!..» Витя закрутил головой и закрыл глаза.

«А ты, студент, гордый, да? В интеллигенцию записался, да?»

Витя вздрогнул и оглянулся — за спиной у него никто не стоял. Но через секунду этот тягучий голосок возник снова, и он был уже теперь везде, он лез уже и в лицо, и в уши, он наступал на него, он издевался:

«Да-а, ребятки-цыплятки. Вас надо еще учить всех да воспитывать...»

— Откуда он?.. Откуда? — шептал медленно Витя, как будто что-то вытягивая из памяти.

Потом лицо его передернулось — он опять увидел у себя в ладони пластинку. И сразу же из груди вырвался вздох облегчения. Он поднял руку и бросил пластинку. Она взлетела высоко, как игрушка, об нее ударился ветер и поднял, закрутил ее. Этот же ветер отнес ее дальше, и она беззвучно стукнулась о дорогу.

СОЛОВЬИ

Соловьи рано оживают. Много их весной в Березовке, тихой просторной деревне. Она стоит у реки, в березах вся, в дикой малине. По берегу бегут избы белым пологим изломом, и кажется, упадут скоро в воду, утонут. Здесь, у перевоза, живут соловьи. Слушает их по ночам перевозчик Ваня.

В мае река кипит, мост снимают, льдины, как быки, ворочаются, роют берег гладкими, веселыми лбами, колются, погибая в воронках. Льдины проходят, и начинается гудеть моторка. На другой берег, пологий, безлесный, она везет трактористов, повариху Нюру с бидонами, Олю Михайлову — книгоношу. Они на пашню торопятся, на сев, а к вечеру — опять к перевозу. Часто и ночи прихватят.

Ночью караулит у воды Ваня Шевалдышев на смоляной плоскодонке. Через месяц он уезжает в Находку. Будет жить там у дяди, работать на консервном заводе, где дядя — начальник смены, может, и на траулер примут, потому смотрит теперь на все прощально, с ухмылкой, думая, что больше сюда не вернется. Еще никому из березовских парней не удалось почему-то отсюда уехать, а он уедет, и оттого ему весело, хоть пой песни.

Ночью у воды холодно, страшно, и Ваня часто курит, кашляет в руку, в теле от дыма теплеет. Думает Ваня, как станет жить в Находке, на берегу океана, где ходят огромные пароходы и гонятся за ними чайки... Но приезжает на велосипеде повариха Нюра. Она толстая, подсадная, дразнят ее Квашней. Она его не видит.

— Где ты, Ванька-а? Опять отлегся!..

Он садит Нюру на корму, сгружает велосипед, бидоны и гребет, презрительно щурясь, пыхая в темноте папиросой.

Лодку сбивает течением. Нюра повизгивает от страха, сваливается набок, шатает лодку.

— Ой, парень, уронишь... Кому говорят — уронишь...

Он гребет сильнее, хохочет. Нюра воет:

— Ойёчиньки, Ванька-а... Язви его парничка!..

Ваня успокаивает ее, интересуется дочкой:

— А где ваша Оля?

— Газету рисует... Бригадира-то все ж продрали... Ну да... А ты чего?

— Когда, говорю, кончит?

— Ох, Ванька-а... Я тебя знаю...

Нюра тоже хохочет, снимает с головы платок, и конец его падает в воду, она не замечает. Все смотрит на Ваню, любовно проводит глазами по крепким плечам, по круглой голове и вдруг представляет его в шляпе — и вся трясется, закатывается до слез, не остановиться, а Ваньку все ведет под руку Оля, а на нем — шляпа на голове крутится, и он серьезен, ноздри раздуты. Не проходит долго виденье.

— Ты шляпу хоть раз одевал? Поглядеть бы!..

— На курицу в юбке погляди...— сердится Ваня, а она все хохочет и уже воды не боится, да и берег близко. Уже у берега лезет в карман на кофте, достает горсть жареных семечек, сует Ване:

— На, разглуздайся...

— Язык смозолю.

— Здравствуйёшь, зятек... Что губу-то отквасил, ну-ко, ну-ко!

Ваня протягивает вперед ладонь, и она сыплет ему семечки. Лодка о берег стучается, и Нюре совсем весело...

— Хы-ы-ы, река — не река... Айда, зятек!..— Вытягивает из лодки бидоны, они сильно гремят, пугают тишину.

Обратно Ваня гребет сильнее, ему жарко, губам сухо, и на середине он долго пьет, свесившись из лодки.

Приходят трактористы и Оля. Их перевозить интересно. Олю он оставляет на последний раз, когда уж совсем сходит ночь, и луна напрягается от синего света, и березы и река светлеют, и вместо воды видится большое белое поле, по которому не плыть бы, а босиком бежать — забежаться. И вдруг открываются соловьи. Они быстро входят в охоту, хоть и далеко до рассвета — на улице еще

народ, хоть у клуба их гармошка перешибает, хоть и мешают они говорить Ване. Но если бы замолчали, было бы хуже, потому что он боится Оли, вдавливая до боли ногти в ладонь, делается для себя злой, незнакомый, и когда садит ее в лодку, то берет за руку и замирает. И уже в лодке все сжимает Олины пальцы, и та чуть не плачет, кусает губы, кричит на Ваню, бьет его сухой, крепкой ладошкой, но это в уме только — не в жизни.

— Ты очень устаешь, Ваня? Очень?

— Привыкший.

— А ночью не боишься? Все ж ночью?..

— Светло ведь...

— Светло. И соловьи...

— Какие соловьи. Я вот на восток ездил — там соловьи... А тут — пигалки...

— А ты когда опять едешь?

— Через месяц...

— Подыщешь там какую-нибудь, специальность заведешь, — и больше не вспомнишь... До нас ли... Гребни-ко давай скорей!..

— Ты не надо. Ты, Оля, не смейся...

— Эх, Ваня... Я напишу тебе? Ладно? Ну, чего ты?.. Ты говори, говори... Чего ты?

Ваня сомлел, потерялся, губы зашевелились, забухало сердце, слились березы в белую мелькающую черту, и закричали соловьи, громко, надсадно, — и выпали весла. Они заболтались в уключинах, лодка пошла вбок, а весла в воде застревали, булькали, и лодка стала кружиться на месте, потом понесло ее боком.

— Куда мы, Ваня?.. Ты гребни, гребни. Я не буду... Не буду. Ты говори только. Ты на меня смотри. На меня. Ну, чего ты! Я буду спрашивать, а ты говори, а, Ваня?.. Ты когда поедешь? Неужели через месяц? Ты слышишь?.. А у меня папку зовут тоже Ваней, да ты знаешь... Я с ним везде хожу, он меня зовет Лелей... Ты зови меня так, ладно?.. Хорошо, правда? Оля — Леля... Ваня? Ну скажи... Я говорю, говорю, а ты... Опять поют...

— Они ненастоящие...

— Ну и пусть!.. А у тебя как отчество?

— Мартемьянович...

— Ух ты!.. Здравствуйте, Иван Мартемьянович... А у тебя отец двоедан?

— Рядом не стоял...

— Я же так, так... Ты обними меня... Обними... Ну, что ты?.. Ты еще никого не обнимал? Никого?..

У Вани губы спеклись. И он думал: то ли во сне все, то ли не во сне. Река неслась. Соловьи кричали. И ему опять страшно пить захотелось. И когда он наклонился, чтоб напиться, вдруг увидел в воде свое лицо, плечи, они зыбились, дрожали, и снова Ване стало страшно, неспокойно, что все это сон, ненастоящее — и Леля, и соловьи, и река, и березы, и слова Лелины, которых было ждать не дожидаться, а сейчас вот они, слушай, лови, милые, неожиданные,— а лодка уже давно шла сама. До одного берега было близко, к воде кусты спустились, и казалось, что они из воды растут и она их бережет.

— Ваня? Куда мы плывем?.. А как обратно? Ты почему не гребешь?

— Я не знаю... Пускай, Леля. Пускай...

— Ты еще повтори. Ну, повтори. Повтори. Как ты меня назвал?

— Леля, Леля...

— Ну, хватит, хватит... А то надоест... Тебе надоест, Ваня?

— Что ты, Леля?.. Я тебе тоже буду писать.

— А океан какой?

— Даже не сказать. Вода, вода. Темная, в реке — светлее. А утром — лучше. Солнце из воды встает. Сперва закраина вылезет, потом все — как пятак, и свет от него другой... Как вишенье вода горит.

— Ваня-а, ты б не ездил?

— Кого я здесь вырублю? А там, может, на траулер уйду... По крайней мере — в океане!

— А я как?..— Оля смеялась, уже привыкая, что Ваня ее боится, робеет, а она уже этим гордилась, начиная любить себя за то тайное, счастливое, чего так боялся Ваня.

Лодка пошла тише на повороте. Кончился поворот, и вдруг совсем широкой стала река, и если повдоль смотреть, то она как океан — нет берега, нет конца, и он — белый, глубокий,— у Вани закружилась голова, и он стал курить. Соловьи сделались тише, но стало от них грустней, точно пели они где-то взаперти, не пели, а старое вспоминали, переговаривались. И Ване захотелось вдруг новых Лелиных слов, обещаний, потому что уезжал он навсегда к Тихому океану и жить будет трудно без Лели.

А она сидела тихо, только гладила его руку и пугалась его больших, сильных пальцев и думала, что у них с Ваней родится дочь когда-то и назовут Лелей по маме, чтоб любил ее отец и берег, а потом они так же возьмут лодку и поедут. И когда так думала, на затылке билась жилка от крови, и становилась вся разбитая, для себя непонятная. Но смотрела на него и опять видела свою дочку, беленькую по Ване, и в глазах все белело, распадалось, и вместо реки она видела большой белый океан.

Река делалась все шире, луна все светлее, соловьи то пели, то замолкали, впереди мелькнули огоньки — новая деревня. Она прошла мимо лодки тихо, бесшумно, не говорили на улицах люди, молчали собаки, и деревня тоже стояла на берегу в березах, и дома тоже чуть не падали в воду, и если б их напугать, то упали б со страху в воду и утонули.

Опять на берегу ожили соловьи. И про них вспомнила Оля:

— Неправда, что ненастоящие... Соловьи и у нас бывают.

— Может, бывают... Ну пусть бывают.

Ваня обнял Лелю. Соловьи закричали громче. А он думал о Леле, о своей жизни, о своей земле, по которой еще не ходил, не ездил, о своей деревне, где самые хорошие люди на свете: и Леля, и Нюра — Лелина мама, и его папка; думал о реке, о белой ночи, о том, что вот и к нему любовь пришла, а он ее боялся, только об ней думал, только видел во сне, — и понял Ваня, что никуда ему не уехать из дому, все равно затоскует. И когда так решил, в душе что-то освободилось, растаяло, дышать стало легче. На воду от луны села мгла, вода покатилась совсем светлая, слышней захлюпали весла, заныли уключины, а он прижимал к себе Олю, и та присмирела, стихла и думала, что плыть бы им так долго, как по Тихому океану, чтоб не приставать к берегу, чтоб никого больше не видеть и ночь бы не кончалась, не заходила луна, не останавливалось течение. Ваня мучился, что она молчит, вздыхает, может, сердится, может, что не так, в груди опять собралась теснота, — и вдруг поднялся во весь рост, она тоже к нему метнулась, он схватил ее за локти, притянул к себе, она вся задрожала, а лодка заколыхалась, бросились от нее в стороны волны.

— Ваня, не уезжай! Зачем тебе этот океан? И здесь

океан. Гляди — воды-то... Сколько воды-то! И ты — как капитан! И все тебя любят. А там? Без тебя людей — тысячи, кораблей всяких — тысячи... Теснота в океане-то...

— Ну, ладно... Я и сам решил.

— Сам-сам... Ты все сам с усам.

Ваня сел на скамейку. Оля — тоже. Он замолчал, спустил пальцы в воду, им стало щекотно, усмехнулся, вспомнив ее слова — «Ты — как капитан!», — опять промелькнула в памяти вся прошлая поездка в Находку и то, как первый раз увидел желтую воду океана, как вглядывался в горизонт до рези в глазах, потому что не верилось, что океан у ног, можно его потрогать рукой. А потом за неделю привык к нему, забыл о нем, только когда домой вернулся, часто мерещился ему во сне медленный шум океанской воды, только она была зеленая, под снежной пеной, и корабли плыли такие же снежные, с золотом от солнца на бортах. Потом привык к такому океану — снежно-зеленому, сонному, и сейчас, когда решил к нему не ехать, в душе что-то растаяло дорогое, но на смену пришло новое, счастливое, от которого содрогалось сердце.

— Ваня, Ваня?.. Ты говори, говори... Ну я не знаю...

Но сама тоже молчала.

Лодка пошла совсем тихо, упало течение, потому что река стала громадной и до берега даже голосом не достать, соловьи замолчали, и понял Ваня, что он любит Лелю, и эту реку, и березы, и всех людей на свете, и будет жить он вечно на этой земле, не погаснет.

— Ваня, а теперь не поют...

— Я слышу...

ВОСПОМИНАНИЯ О СОКОЛЕ

У каждого из нас что-то не сбылось в жизни, не вышло, но только эта история совсем не об этом. Но о чем она — я и сам не отвечу. Может, она о любви — самой первой, самой нежной, печальной. А может, моя история — обычный случай, каких тысячи в каждой жизни. А может... Но в этот миг меня отвлекли:

— Я ухожу в аптеку. А ты вскипяти чай, подогрей бульон. Когда вернусь — будем ужинать и будем выздоравливать... — Это голос моей жены. И вот скрипнула дверь — она ушла за лекарством.

А болею я сам — третий день подряд. И болезнь какая-то странная: с утра держусь еще на ногах, а под вечер — температура, озноб и какие-то тяжелые, монотонные мысли. Эта монотонность, наверное, от дождя. Он идет уже всю неделю, и я думаю, что он будет идти еще месяц, а потом продлится еще на год... А потом — еще на несколько лет, и на земле начнется всемирный потоп, от которого погибнут люди, машины. Но это меня совсем не печалит. Даже хорошо, что наконец-то погибнут машины. Я их давно ненавижу. Мне кажется, они знают об этом, потому все время мучают меня и поддразнивают. Вот и сейчас они гудят веселыми, нахальными голосами. Я подхожу к окну и хлопаю форточкой — теперь я от них избавлюсь. Но все напрасно — они гудят уже через стены. И тогда я решил лечь на диван и закрыть глаза — покориться. Будь, мол, что будет. И в этот миг ко мне явилось чудо — спасение. Я не успел даже дойти до дивана, как услышал пронзительный лай собаки. Это и было спасением. Собака лаяла торопливо, захлебываясь, она сразу

же заглушила гул машин и троллейбусов, она даже шум дождя заглушила. Я подошел к окну и раздвинул штору. Из-за плотного дождя ничего не увидел, но знал, что это лаяла наша Соседка. Я давно уже выделял ее из всех знакомых собак, хотя внешне она — настоящая замухрышка. Но что внешность — лишь бы душа была, а у этой собачонки она, конечно, была.

Я впервые увидел ее года два назад. Она бежала по тротуару, маленькая, желтобрюхая, на тонких, упрямых ножках. И мордочка у нее была такая же тоненькая, хитренькая, но хитрости, если признаться, у нее ни на грош. Наоборот даже — собачонка была прямолинейна, как карандаш. Каждое утро, еще до солнышка, она выбегала за ворота и начинала лаять заливисто, без разбора, как будто выполняя чей-то приказ. Она лаяла на машины и на прохожих, она лаяла на обрывки старой бумаги, которые шелестели, катились весело по асфальту, она лаяла просто на дождь и на ветер, а ночью она лаяла на луну. Но это случалось редко, потому что ночью ее хозяева закрывали.

Я уже давно придумал ей простую и легкую кличку — Соседка! Наверно, у ней было и настоящее имя, но я про него не знал. Да и что в этом имени — раз она такая шумная, глупая. Но согласитесь, ведь и у глупости тоже бывает душа. Вот почему я любил эту собаку, а еще больше того — жалел.

Вот и сейчас я опять пожалел ее — она, наверно, уже вся вымокла, но все равно стоит у ворот и храбро лает на дождь. Я стал грозить в ее сторону кулаком — дурная, мол, ты, безмозглая, разве можно лаять на дождь. А она лаяла все громче, настойчивей, как будто злила меня, испытывала. Но я не сердился. Наоборот, я стоял возле окна и представлял ее там, мокрую и взъерошенную, с кривыми, тонкими ножками, как у паучка, и мне делалось все сильнее и сильнее ее жаль, а как помочь — не можешь.

Но зато машин стало меньше. Они, конечно, боялись Соседки — облает ведь, не пропустит, — потому и объезжали наши дома стороной. А вот дождь ее не боялся. И какой дождь! Я стоял у окна и смотрел, как льются с неба бесконечные густые потоки. Голова моя слегка кружилась, туманилась — может, снова температура. Вот Соседка, наверно, никогда не болеет. Я позавидовал ей

и улыбнулся. Потом глаза прищурил, прислушался — и вдруг с собакой моей что-то случилось. Она почему-то раздвоилась, распалась напополам, и стало их две, целых две собаки. И лаяли теперь две, тоже две собаки, но только тот, другой, лай был послабее, потише. Это и не лай даже, а как будто поскуливание, но я сразу узнал, да и как не узнать. Я бы от тысячи голосов отделил его, ведь так мог лаять только Сокол — мой далекий Соколко. Бедная Соседка, да что ты наделала?! Я тебя слушал, жалел тебя, а ты мне Сокола привела. И вот он бежит, большеухий и рыжий, а за ним — моя память, короткими шажками, короткими... И быстрее нельзя ей, потому что это больно, невыносимо. Так больно, что я закрываю глаза. Но все равно уже не могу удержаться. У меня еще сильнее кружится голова и очень ломит, теснит в груди. Как будто кто-то мучит ее и всю распирает. Вот так же, знаю, — на речке теплым апрельским днем. Лед на ней уже станет слабым, непрочным, а под ним начнет греться, густеть вода. А потом проходит еще день-другой, и ломается, погибает лед, и освобожденная вода заливает сразу все луга и ближние пашни. А потом мчится дальше, все дальше... Так и со мной, вначале стал думать о Соколе, а потом уж — дальше, дальше, все больше. И вот уж зашумела в голове эта вешница и понеслась, прорвала все запруды — и мысли мои тоже понеслись, понеслись... И вот уж принесли они меня в одно далекое-далекое лето, в мою родную деревню, на материнский порог...

А было мне тогда двадцать лет. Только-только исполнилось, а я уж стыдился своего возраста — такой, мол, осложпан, а что толку. Ведь ничего еще в жизни не сделано и ничего-то со мной еще не было — ни большой любви, ни надежд. Правда, надежды, конечно, были — я даже в театре играть собирался, но это, наверно, от зависти. В ту пору я завидовал многим актерам, особенно очень красивым, талантливым. А сам я учился в педагогическом, переходил уже на четвертый курс. И вот тогда-то и решил его бросить и уйти в театральный. Посмотрел фильм с участием замечательной Жанны Болотовой и сразу сказал себе — я тоже буду актером! Но дело, ясно, не только в этом. Дело в том, в том... что даже стыдно признаться: я полюбил тогда Жанну Болотову и решил, что она станет моей женой. Я даже собрался в Москву за ней, но друзья — спасибо — отговорили. Куда, мол, ты собрался, деревня несчастная. Она же

артистка, она же красавица, ее же вся страна знает, а может, подальше. Но я стоял на своем, а они убеждали снова, посмеивались: ну какая, мол, из нее жена, ты подумай. Да при первом же случае изменит тебе твоя Жанна, убежит, мол, с таким же красивеньким. И не будет у тебя ни семьи, ни детей. Насчет детей получилось у них убедительно, потому что мне хотелось тогда не столько жениться, сколько иметь своего сынка — какого-нибудь толстенького и рыженького мальчишку. А рыжего потому, что у меня у самого волосы горели как медь.

Прошло месяца два, и я стал забывать свою Жанну. А в театральный уходить мне мать запретила. Разревелась однажды, заумирала — ты один у меня, на тебя вся надежда. Такую, мол, войну пережили, отца с тобой потеряли, а ты в театральный... И я обещал тогда матери: ладно, мол, забуду про театральный. Но все равно мать после того точно бы подменили — она стала болеть, истончаться. И началось у ней: то сердце, то нервы, то ноги ноют перед дождем. Может, не только я был причиной. Все-таки она тридцать лет отбухала в школе, и война за это время случилась, и похоронка от мужа, и дочку схоронила, и голодуха тоже была — одну мороженую картошку ели с крапивой... Да что там! И железо бы тут согнулось, а не только она — моя мама... Но вот пришел праздник и для нее — мать послали лечиться в Ялту. Вначале мы не поверили — учителям в те годы редко давали путевки. Но верь не верь, а вот уж и чемодан уложен, вот уж и прощаться надо — и мать простилась, поехала. А я с бабушкой домовничать остался. Наступал август — у меня были каникулы.

Эх ты, бабушка, моя бабушка! Почему же ты мне не сказала, что живешь последнее лето?! Ах, если б знать, если б чувствовать... А может, и хорошо, что не знал. Порой знание — хуже беды! Вот сказали бы любому из нас, когда он умрет — в такой, мол, день и в такую минуту. И тогда бы жизнь стала мученьем.

А лето в тот год было жаркое, пеклое, только ночами спадала жара. Но мы с бабушкой жили весело и почти не замечали жары. Она стала, правда, плохо слышать, но все равно еще любила пошутить, посмеяться с соседками, но уж со мной-то всегда была ласкова, ведь я ее единственный внук. И только одно меня пугало, расстраивало — она путала меня со своим сыном. А чего бы путать — он погиб в

первый год войны. И даже была похоронная, но бабушка той бумажке не верила. Потому посмотрит на меня и скажет тихонько: «Женя, принеси-ка водички в ковшике, а то внутри все сгорело». Я кричу ей, машу руками, что не Женя я, а меня зовут Николай! Но бабушка только головой покачает и снова — Женя да Женя...

А под вечер жара спадала, и мы выходили за ограду, садились на лавочку. У бабушки сразу веселело лицо. Она любила поговорить, порасспрашивать, да и дом наш стоял на главной улице, так что все видно, все слышно. И вот уж солнце заходит, начинает смеркаться, — и в эту минуту появляется стадо, коровы выступают медленно, вперевалочку, а рядом с ними шагают овцы, телята, а за телятами тянутся гуси. Бабушка посмотрит на стадо и вздохнет тяжело: «Вон чё какое войско. А у нас с тобой, Женя, ни гусей, ни баранов. Даже коровушки мы не нажили. А тоже называемся людьми. Нет, Женя, каки же мы люди. Нет, видно, мы не люди — мы жители...» Она опять вздохнет и прищурится. А я опять кричу ей в ухо: «Да не Женя я, бабушка! Меня зовут Николай». Она глаза откроет и усмехнется: «Да какой же ты Николай! Ты же Колька еще, и не взбуривай! Давно ли ты в качалке лежал да пустушку просил, а тоже мне — Николай...» А потом она начинает вспоминать — какой я был в три года, в четыре... И так переберет лет десять — двенадцать. А потом к нам соседи придут, и бабушка теперь опять оживает — она любит людей. И соседи ее тоже любят за доброту, за приветливость. Но особенно любят ее за сочувствие — за то, что каждого успокоит, подаст надежду. А человеку это дороже всего.

Чаше других с нами вечеровала Маруся Сорокина. И разговор у ней — только о муже, о своей несчастной судьбе. Подойдет к нам и сразу:

— Ой, бабушка, бабушка, мой-то опять шары нараспашку. По ограде бегают, зауголки пинат. Еще дом уронит, а ничё не скажи.

— Ты б ушла от него, Маруся, — говорит ей бабушка подавленным голосом и начинает гладить ее по плечу. А у той уже слезы и голосок вот-вот перервется:

— Ой, бабушка! Ты для меня как родна... Ты жалеешь меня, я понимаю... Но куда я уйду? Ведь дети! Да кабы не дети...

— Ну, крепись тогда, милая. Может, и найдет на него добрый ум.

— Нет, бабушка. Ждать устала, сильно устала я. Так ведь обидно! И чё только на мне не было. И горшки, и ухваты... Он бы и печь в меня бросил — мой Мишенька, бросил, бросил бы... А за чё?! И детей ему наносила, и с мужиками не обманула ни разу. И чистоту веду — круглы сутки мою, стираю. Он у меня всегда уж — на чистой простынке да на подушечке. А все равно — пусты мои хлопоты. Не угодила ни разу, добрых слов не сказал. Да еще как-то сдумалось ему ревновать. А это уж совсем пусто дело — кого же меня ревновать. Я уж вся выроблена, как береза дуплиста...

— Нет уж, нет уж, Маруся! — возражает ей бабушка. — Ты еще сойдешь за молоденьку. Да и мужик, чую, твой переменится. Придет день, придет час.

— Ой, не придет! Нет, нет, нет! Раз у него дороже человека вино. А я еще полагаю, что это — болезнь...

— Не пойму тебя, Маруся, кака же болезнь? — Бабушка смотрит на меня, а в глазах удивление. — Да кака же болезнь?

— А такая, такая. Я давно за ним замечала. Как-то гости от нас ушли. А время ночное было — я уж задремала. Но если честно вам, то притворилась, что сплю. А мой-то Миша сидит на стуле, да нервничает, да на стол все косит. Потом на меня, а я уже сама не своя. И чё-то чувствую, слышит кровь. А он опять на меня, а я сильнее того зажмурилась — ну и пошло. Ну и пошло да поехало. Он давай бутылки со стола хватать да в один стакашик сливать. А потом взял стакашик да разболтал его — и в себя! С одного маху, как молочко. И ведь даже, стыд какой, не поморщился. Да, бабушка, так неуж не болезнь?

— Так ты, Маруся, с ним разведись. — Бабушка хмыкает и покачивает головой. — У вас ведь, не наше дело, — полный дом всего. И коровки две, а там куры, овцы да гуси. Да и в горнице есть на чё посмотреть. Вот и поделись с ним — пускай уходит. А ты успокоишься, поживешь...

— Бабушка-а! Да куда же он денется? Кому надо тако добро? Ну вот скажи? Ты бы его, к примеру, взяла?

— Я уж, Марусенька, старая, мне уж не до мужей. Один был, да и тот в первую германскую потерялся. Все говорили — без вести пропал, ждите — может, дождетесь. А мы и теперь ждем. Вот и вышло, что пропал навсегда...

— Ясно дело,— соглашается соседка и задумчиво говорит: — А только мне Михаила, полагаю, не сбыть. Ой, господи-и! От себя бы еще отдала коровешку в придачу да всю бы сберкнижку положила, только б берите его, забирайте!

— Неуж отдала бы?! — смеется бабушка и вдруг цепко смотрит вперед: — Ойёченьки, кто это? Какой-то лохматко бегат, честно слово — лохматко! — И она опять ойкает и смотрит вопросительно на Марусю.

— Это наш, бабушка. Вчера сестра привезла да оставила. Они, видишь ли, горожане, купили билет да поехали в Крым. А собачку сюда.

— У нас тоже хозяйка уехала. Ох оно море, да что оно за море!.. — улыбается бабушка. — Пусть отдохнет, покупается, а мы с Колей домишко покараулим... Нет, Маруся, я не могу. Кака дельна твоя собачка!

— А у ней имя есть! — веселеет соседка. — Сокол, Сокол, пойдй сюда!

Собака высоко поднимает морду, и теперь я вижу ее во всей красе. Но лучше бы не видел, лучше бы не смотрел. Потому что передо мной стояло чудо или лучше того. Таких часто рисуют, фотографируют и ставят на стол. И сразу веселеет, смеется комната — и в ней больше света, больше тепла. А если зайдет сюда посторонний, то не оторвется уже от рамки и забудет, зачем пришел. И забудет, и заволнуется, потому что в этом портрете все хорошо — и шерстка, и морда, и уши. Но особенно уши! Они висят как два полушария, как два лопуха.

— Сокол! Сокол! — снова зовет Маруся, и он кидается к нам со всех ног.

— Ты у нас — лохматко, лохматко? — шепчет счастливо Маруся, а собака бодает ей мордой колени, и соседка смеется. А собака уже лижет ей ладонь, слюнявит, и та еще сильнее смеется, взвизгивает, и бабушка тоже смеется и тянет руку вперед. И вот рука находит собаку и начинает гладить ей уши.

— Ну вот и встретились, познакомились. А ты, вижу, добра собачка. А где ты жила? — И бабушка откидывает голову, и опять ее душит смех. — Ох, Маруся, родная моя! Я уж давно не хохотала так. А он ведь — чистый лохматко и все понимает, оправды! Вон чё скулит как, насказывает! Давай, Коля, погладь его.

И я подчиняюсь, начинаю царапать у Сокола за ушами.

Шерсть у него сухая, темно-коричневая, а на ощупь как шелк. И в это время раздался крик:

— Эй вы, товарищи-граждане! Отпустите собаку на покаянье!

Я вздрогнул и поднял голову. Напротив нас, за воротами, стоял высокий белобрысый мужчина. Он был в сапогах и в фуражке, несмотря на жару. Через секунду он уже был возле нас и разминал задумчиво папироску.

— Ну чё, Соколко, покурим? Покурим давай, посмолим...

Собака на него косит желтым глазом, но не отходит от нас. И тогда он делает шаг вперед и командует:

— Соколко, за мной! Кому говорят — худо будет!

Но собака опять не подходит.

— Миша, не выступай! — просит мужа Маруся, а тот смотрит на меня долгим взглядом. И неожиданно говорит:

— Почему студенты на воле? Почему не в колхозе?..

Но я молчу и только глажу Сокола по гладкой горячей коже. Он благодарно моргает и стучит по земле коротким хвостом-обрубешем. Я хочу понять, почему у него такой хвост,— и вдруг понимаю, догадываюсь: да он же у нас спаниель! Ну конечно же, он — породистый! А мужчина кричит опять:

— Соколко, домой! Я три раза не повторяю.

— Миша! Да хватит уж. Иди отдыхай...— просит его Маруся жалобным голосом.

А ему это не нравится, он нервно курит и все время дергает головой, как будто над ним комары. Потом все-таки не выдерживает и уходит. Сапоги у него громко поскрипывают — и не поймешь, то ли случайно они, то ли он специально их сделал скрипучими. Но скоро я забыл про него, да и Сокол отвлек. Он стал легонько поскуливать, точно призывая к себе. Я наклонился пониже, и он сразу протянул лапу, и я ее крепко сжал. И вот оно случилось, и вот пришло... Я знаю, я чувствую, что именно в ту секунду мы стали друзьями, именно тогда я его полюбил, а потом привязался, как к брату.

Да, так и было, как к брату... И на следующий день все опять повторилось. Мы вышли на лавочку, и к нам подседа Маруся. А потом за ворота выскочил Сокол и сразу — к нам. Маруся смеется:

— Ох, Николай, уманишь у нас собаку!

— Да почему?! — удивляюсь я.

— А ты гляди, как он смотрит! Он же глаз не сводит с тебя! Ну дак чё — ты парень, и Соколко у нас паренек.

Она трогает у него за ушами, и он лижет у ней ладони и потом переходит ко мне. Глаза у него влажнеют и чуть не плачут от радости. А чему рад-то? Чему? Но я и сам чуть не плачу. Мне даже казалось, что у него какая-то другая, совсем не собачья душа. А может, он когда-нибудь был человеком?! Ну конечно же, был он — раз у него такие глаза! Да, да, я верил... Я тогда думал, что у людей нет смерти и нет могилы, и если кого-то схоронят, насыпят холмик, то это не страшно. Нет, нисколько не страшно, потому что душа наша не умирает. Она у нас бессмертная, как из сказки, она у нас все время кочует. И кочует-то очень смешно, без разбора: сегодня, мол, ты человек и зовут тебя Николаем, а потом, после гроба, ты родишься снова, мгновенно, и станешь уже лошадью или собакой... А может, даже деревом или травинкой, а потом опять все сначала, сначала...

А Сокол не отходил от меня ни на шаг. Он ложился возле моих ног на траву, и уши у него чутко вздрагивали, шевелились. Он слышал любой чужой шорох, любое движение. Иногда из створки к нам долетало радио — и эти звуки его удивляли. И снова все начиналось с ушей. Они смешно поднимались до половины, затем резко падали и опять поднимались. Но вот радио замолкало — и он крутил мордой, он удивлялся. Тогда я начинал успокаивать:

— Дурной ты! Это же радио. Поговорит, поговорит, а потом перестанет.

И Сокол поскуливал, он меня понимал.

А через два дня к нам привезли мою племянницу Олю. Ей исполнилось недавно шесть лет, и она уже знала буквы и понемногу читала. А с виду Оля так походила на куклу! Она была маленькая, толстенная, с удивленным круглым лицом. И глаза у ней тоже выглядывали, кругленькие, серьезные — Оля очень-очень редко смеялась. Но вот она увидела Сокола, и тот тоже ее увидел! Но как же рассказать это, как выразить! Какие надо слова?.. Но у меня нет их, нет таких слов... Зато я вижу, как наяву вижу тот час.

Мы сидели с бабушкой, разговаривали. В ногах у меня лежал Сокол и скукал от жары. И вдруг он вздрогнул, вскинул высоко морду и заскулил. Я обернулся — в двух

шагах от нас была Оля и тоже смотрела на Сокола. А потом все смешалось и перепуталось: Оля завизжала от радости и Сокол тоже издал какой-то ущемленный счастливый звук и сразу кинулся в руки к девочке. Они точно ждали этой встречи всю жизнь. И вот дождались. Но как рассказать?! Оля схватила его за шею и стала обнимать, прижиматься к нему всей грудью, всем телом. Ей даже хотелось поцеловать его в нос, а Сокол стыдился, увертывался, но иногда ей все равно удавалось — и тогда собака повизгивала. А потом Оля повалила его на спину, и они покатались кубарем по траве. Я захохотал, а бабушка заворчала:

— Да чё дожили, жители. Пускам до лица собаку, да разве можно? А если она заразна?

— Она у нас хорошая, не заразная, — защитил я своего друга, но бабушка не сдавалась:

— Куда же годно! Не знат ни чистого, ни поганого. А ну-ко, Ольга, вставай с травы!

Но Оля не слышала бабушки. Она все так же повизгивала и тянула собаку за уши. А Соколу нравилось, ох как ему нравилось! Глаза у него блестели от счастья...

С того часа и началась их дружба. Теперь каждое утро собака приходила за Олей. Каким-то особым слухом сквозь толстые деревянные стены Сокол слышал, как Оля начинала ворочаться на диванчике, как начинала во сне постанывать, бормотать слова. А потом она просыпалась, и в это время Сокол стучал по двери. Он стучал лапой, царапался, и я бежал открывать. Он никогда не ошибался ни на минуту. Только Оля откроет глаза, а он уже у кровати. Она смеется и бьет в ладоши, а Сокол лезет к ней прямо на простыню, мотает мордой, повизгивает. А потом Оля вскакивала с диванчика и сразу — на улицу. За ней следом бросалась собака. Они снова падали в густой конотоп, начинали кататься, повизгивать, и непонятно даже — где голос девочки, где собаки. Потом они уставали и затихали. А сверху уже палило нещадное солнце. Но Сокол любил солнце, и Оля — тоже. Девочка ложилась на спину и хитро зажимивалась, точно готовила для Сокола какой-то секрет, ловушку, но тот не догадывался. Так они и лежали рядом, а потом Сокол начинал беспокоиться: почему же, мол, она не визжит, не смеется, не бьет в ладоши. Но в это время его отвлекал какой-нибудь жучок или букашка. Он неотрывно следил за ним,

принюхивался — и в это время на него всем телом падала Оля. И опять все начиналось! Сокол пулей носился по всей ограде, а его догоняла Оля, но где уж. Она делает один круг, а Сокол уже пять или десять. Они могли бы бегать, наверно, весь день, но в этот миг появлялась бабушка. Она выходила на крыльцо и опиралась на тросточку. В последние дни ее подводили ноги, и она прибегала к опоре. А тросточка была легкая, алюминиевая и сверкала на солнце. Бабушка ложилась на нее всей грудью и тяжело, надсадно дышала. А глаза потихоньку рассматривали ограду. Зрение у ней тоже ослабло, и быстрый счастливый Сокол казался ей, наверно, юркой рыженькой пчелкой, которая все время кружит возле цветка. А цветом, конечно же, была Оля. Но вот проходила минута, и глаза у бабушки ко всему привыкали и уже узнавали, хорошо узнавали ограду, и Сокола, и, конечно же, Олю. И в глазах зажигались не то удивление, не то умиление:

— Ох, Ольга, привадишь собаку! А потом уедешь и бросишь.

— Не брошу! — кричит ей девочка, и у бабушки веселеет лицо. Вот уж и глаза смеются, и щеки, вот уж и сама она сходит с крыльца.

— Ох, старая стала, худая... А то бы тоже побегала, повизжала. А чё! Я тоже любила бегать...

Она проходит шагов десять и останавливается посредине ограды:

— Соколко ты, Соколко! Нет же у тебя ума. А может, сильно много его. Чё-то не разберу.

Сокол услышал свое имя и сразу подбежал к ней. Сел возле ног и подал ей лапу. Бабушка с трудом наклонилась и легонько пожала лапу:

— Ну, здорово живем! Как житуха? Ничево! Ну, ладно — ты хорошей, хорошей. Ты еще молодой, а я — стара, стара. Не понял? Ничё — скоро поймешь. Нынче стары-то в тягость, а я тебе, значит, не в тягость... — Она смеется. — Не в тягость, значит, а в радость.

Потом бабушка медленно шла за ограду и, наконец, опускалась на лавочку. И все это время Сокол был возле нее, наблюдал. Но вот она уже на лавочке, вот уж тросточкой чертит на земле какие-то узоры — и тогда он подходит к ней поближе. Он подходил к ней как-то боком, отчаянно виляя обрубком, точно бы извиняясь за себя, за свою решимость подойти к ней, поразговаривать. Он на-

чинал тихонько поскуливать — все это я считал разговором. Наверное, так и было: ведь говорить как-то иначе Сокол не мог. Он поскуливал и поднимал кверху лапу. И вот опять, опять он своего добивался. Бабушка трясла эту лапу и что-то снова наговаривала, смеялась...

Так мы и жили: я, бабушка, Оля и Сокол. Раз в три дня к нам приходили письма из Анапы. Мама писала, что купается в море, очень скучает и рвется домой. Но ей надо было еще жить в санатории две недели. Но зато к нам скоро приехала Лена. Она училась тоже в педагогическом: я был филолог, а она — физик, но дело не в этом. Дело в том, что она была еще второкурсницей с розовыми смешными мечтами. Конечно, я только потом понял, какого цвета эти мечты, а тогда мне все, почти все нравилось в Лене. И как она говорила, как одевалась и как она танцевала на наших студенческих вечерах. Но больше всего нравилось, как она читала стихи. Лена знала их множество. Скажешь любое слово, например «весна», — и она сразу продолжит: «О весна, без конца и без края...» Или скажешь «небо» — и она подхватит: «Солнечный круг, небо вокруг...» Лена и песни многие не пела, а читала нараспев, как стихи. И не дай бог перебить — сразу фыркнет, надует губы — не подступись. А иногда и обзовет как-нибудь обидно и горько. Надо мной она всегда старалась командовать. Она считала, была уверена, что я влюблен в нее, что я давно страдаю и даже могу от этого умереть...

Она приехала утром, когда только-только начиналась жара. И мы сразу сели за стол и стали чаевничать. А Сокол в это время уже томился в ограде. Он ждал сигналов от Оли. Но вот он услышал сквозь стены, как она зашевелилась под одеялом и замычала, — у него встали уши. А Оля уже стала потягиваться, сама с собой разговаривать, и он стремглав юркнул в открытую дверь и сразу — в комнату. Оля протянула ему руки — и он стал лизать их, стучать хвостом по деревянному полу.

— Ну, ладно, хорошей, хорошей... — обратилась к нему бабушка, а гостя наша надула губы.

— Да вы что! Собаку надо из дома гнать!

— Пошто это? — удивилась бабушка и посмотрела на Лену внимательно. Но та уже была в комнате и ругалась на Сокола:

— Пошел вон! Грязнуля!



— Он, может, почище нас с тобой, девушка...— тихо сказала бабушка, и Лена не слышала. А через секунду ее голос опять звенел, надрывался:

— Уберите же отсюда собаку! Я не могу...

Сокол недоуменно взглянул на Лену, а Оля заплакала. И это гостье придало решимости:

— А ну пошел, пошел, пошел!

И Сокол, к нашему общему удивлению, поджал свой обрубок и вышел из комнаты. Бабушка сразу громко закашляла, а потом поднялась со стула, заохала:

— О-хо-хо, когда же смертна придет? Разве это жись — кажно местичко болит, никому не пожелаю. О-хо-хо...

Я знал, что такие слова она говорит, когда ей что-нибудь не нравится, когда ее обижают.

А через пять минут мы все-таки опять собрались за столом и стали пить чай. Но этот час был тяжелый, томительный. Всем хотелось что-то сказать друг другу, но никто не решался. Только я и Лена понемногу переговаривались. Я задавал вопросы, а она отвечала и все время исподлобья поглядывала на бабушку. И та тоже поглядывала на нее. Губы у бабушки были сухие, поджатые, они таили обиду. Я два раза выходил на крыльцо. Сокол лежал в ограде. Глаза его вопросительно моргали — кто это, мол, приехал? Такая сердитая?.. Я погладил его, и он немного повеселел.

А после обеда мы собрались на озеро. Сокол тоже засеменил за нами, но Лена нахмурилась:

— Не люблю собак. От них один запах.

Сокол сразу остановился, почуяв что-то недоброе.

— Пойдем, Соколко, пойдем! — ободрил я его, и Лена еще больше нахмурилась:

— А ты упрямый. Тебя в деревне испортили.— Лена рассмеялась, я ее успокоил:

— Да хватит тебе о собаке. Лучше почитай что-нибудь! Я так люблю...

И Лена сразу изменилась, как будто даже покраснела немного:

Идешь на меня похожий,
Глаза опуская вниз.
Я тоже была, прохожий...
Прохожий, остановись.

Лена продолжала читать, а Сокол понял эти стихи как прощение себе. Дорога его опьянила. Он приняхивался к траве и к дорожной пыли, часто приседал на задние лапы и задира морду. Посидев так секунду, вдруг срывался с места и летел, как пуля, за ним гналась Оля, но где же, где же. Он не бегал, он просто летал, кружился, как птица. А его уши торчали вразлет и походили на крылья. У Лены дрожал голос и прерывался: на нее тоже действовала природа — и зеленая трава, и воздух, и небо. А я шел с шемющим сердцем — сейчас, мол, покажу ей озеро. Она на него посмотрит и... Но я даже не мог представить, что будет с Леной. Просто мне хотелось чуда, какого-то огромного чуда, — и это ожидание уже было моим мученьем.

Озеро мы увидели еще издали, когда поднялись на пригорок. Оно лежало голубоватое, длинное и походило издали на мираж. Но вот мираж рассеялся, и мы вышли к воде. Берега у озера заросли клевером и таким густым конотопом, что я не признал его. А потом пригляделся — знакомая травка...

— Тебе нравится, Лена? — спросил я, весь замирая, но она промолчала.

Я опять повторил вопрос, и снова — молчание. И когда уже я устал ждать, она сказала:

— Когда мы с тобой поженимся, то будем приезжать сюда на целое лето...

Я вздрогнул от ее откровенности и ничего не ответил. Я просто не ожидал таких прямых слов, я опешил. Лена покусывала травинку и смотрела вперед. Наверно, вспомнила чье-то стихотворение. А Оля стояла возле меня и бросала всякие палочки. Там, в воде, их ловил Сокол и выносил обратно на берег. Он только нырять почему-то не мог, а может, собаки вообще не ныряют...

Лена присела на травку. В мою сторону она не взглянула. И тогда, чтоб забыться, чтоб сбросить оцепенение, я решил искупаться. Разделся я в две секунды и бросился в воду. А Сокол точно бы ждал меня, и мы стали плавать на пару. Лена теперь смотрела на нас, улыбалась. И у меня отлегло на душе. А Сокол плавал кругами, и все круги были возле меня — он скулил и хлопал ушами, а вода была теплая, почти что парная. Наконец я утомился и стал выходить на берег. Лена посмотрела на меня долгим-долгим взглядом с лукавинкой. Я никогда не за-

буду эти глаза и эту лукавинку. Глаза были такие же голубоватые, длинные, как наше озеро. И в этом голубом стоял зайчик. Он смотрел прямо на меня, не боялся:

— Вы мне не неприятны...

Лена иногда меня называла на «вы» и вот опять назвала. А я смутился, но сделал вид, что не расслышал. Я хотел побыстрее одеться, но почему-то не мог, не слушались пальцы. Да и боялся. Ох как я боялся, что она разглядит сейчас мои смешные незагорелые ноги, мою грудь узенькую, как у грачонка... Мои руки в веснушках, точно бы в кляксах. И в это время она опять что-то сказала, я оглянулся, она повторила:

— Ну подойдите же ко мне! Какой вы неловкий...

Я растерялся еще сильнее. И тогда она сама подошла ко мне и попросила:

— Поцелуйте же меня! Да, да, поцелуйте! — Она нахмурилась, прикусила губы. А я так и не понял, то ли она пошутила, то ли сказала правду. Я, наверно, очень побледнел, растерялся.

Лена сделала ко мне еще шаг и поцеловала меня сама. Оля, увидев это, захлопала в ладоши, и Сокол тоже обрадовался, стал бегать вокруг нас и поскуливать. Я видел, что Лене это не нравилось. Она то и дело косилась, поглядывала на собаку, и губы у нее нехорошо подрагивали, а щеки зарумянились, как от мороза. Она была теперь красива, как Жанна Болотова, а может быть, даже лучше.

— Какой ты все-таки смешной!.. Какой ты тихоня. — Она опять перешла на «ты». — Я вот займусь тобой, переделаю... — Она усмехнулась. Потом опять приказала: — Ну поцелуй же меня еще! — требовала она и смеялась.

И я думал, что и озеро тоже смеялось. Вода то поднималась круто вверх, то падала вместе со мною. А может, это небо падало вниз, а совсем не вода. Но вот смех прошел, и я отдышался. Сердце мое стучало уже ровнее, спокойнее, но все равно что-то уже случилось, что-то было не так, что-то сломалось.

— Пойдем обратно, — сказала Лена, и в голосе была опять строгость.

Она пошла первая, а я ступал за ней, как невольник. В висках у меня стучало, и было стыдно. Мне казалось, что Лена разрушила какую-то тайну, но что это за тай-

на — я пока не знал и не мог понять, догадаться. Но все равно чувствовал — была, была эта тайна...

Шли мы тихо, молчали. Только Оля чуть слышно похныкивала — она устала уже от жары и от озера, ей хотелось быстрее домой. Лена шла впереди, не оглядывалась. Она, наверно, сердилась, но за что, почему? Эти вопросы не отпускали меня, и я мучительно искал выхода, но его не было. Лена все еще не оглядывалась. Зато Сокол не унывал. Он во весь опор гонялся за бабочкой, а та играла с ним, как хотела, дразнила. На какой-то миг я увидел ее — она пролетела у меня над головой, крылышки у ней переливались, горели, это был маленький оранжевый лоскуток. Нет, не лоскуток даже — это была капелька солнца, настоящего солнца, потому Сокол и гонялся за ней. Как он не уставал? Бабочка то садилась прямо на нос к нему, то щекотала глаза, то снова взмывала вверх — и все это сразу, в одну секунду, — и у Сокола уже язык был наружу. Но как он веселился!

Мы шли теперь не по степи, а свернули в бор, где было кладбище с деревянной оградкой. Я специально повернул на эту дорогу — мне хотелось показать Лене могилу сестренки. У меня когда-то была сестренка, она умерла еще в войну, прожив на свете всего два года. Я и сам тогда чуть не умер. Но что поделаешь — вся наша деревня голодала, и мы, дети, страдали со всеми...

Я шел теперь рядом с Леной, а Сокол с Олей немного отстали. В бору стоял сумрак и было душно. Лена повернула ко мне лицо и спросила:

— Ты меня любишь?

— Зачем ты, Лена? Нас же услышат. — И я показал глазами на Олю.

— Что, девчонка услышит? Или, может, собака?.. — Она засмеялась. И этот смех почему-то обидел, и мне опять стало стыдно. И вдруг я понял, почему мне у озера было стыдно и вот сейчас опять тяжело.

Я вдруг понял, что мне все время мешала близость этого кладбища — близость сестренки. И когда я купался в озере, и когда мы целовались с ней, и когда я стихи слушал. «Да, это правда!» — подумал я и стал спешить. Мне хотелось быстрее, быстрее увидеть этот холмик, чтоб сестренка простила меня.

— Куда ты меня тянешь? — спросила Лена и замедлила шаг.

— Зайдем на кладбище, у меня здесь сестренка...

— О-о-о, господи! Какой ты забавный...— засмеялась она.— Знаешь, у Есенина есть строчки...

Но я отвернулся и не стал ее слушать. И она, наверно, почувствовала свою вину.

— Ты не сердись, не надо сердиться. После таких кладбищ я плохо сплю. Все время потом лезут в глаза какие-то веночки, оградки. Ты сходи один...

Но один я туда не пошел. Только дома я чуть-чуть успокоился. Да и обстановка располагала. На столе уже шумел самовар, и в вазочке переливалось варенье, а рядом с вареньем возвышалась горка с чайными чашками. И свежий хлеб был нарезан, и молоко в широкой стеклянной банке — это, конечно, Маруся принесла нам молока...

Бабушка нас встретила стоя, и в глазах у нее была большая обида:

— Куда же годно — ушли на озеро, и на весь день. Я уж думала да гадала — неуж с Олей чё? А случись беда — меня бы, старую, завинили. Да где она, Ольга-то?

В этот миг моя племянница забежала, а за ней — Сокол, радостный опять, деловой. Бабушка на него посмотрела, прищурилась, что-то хотела сказать и поджала губы. Но Сокол все равно ее понял по-своему: он закрутил весело мордой, а с языка у него капала слюнка. И это заметила Лена:

— Опять тут этот! Скоро и на стул его посадите, и чашку дадите...— Она посмотрела с надеждой в мою сторону — ей хотелось, чтобы хоть я ее поддержал. Но я молчал.

Тогда она зафукала на собаку. Сокол поджал хвост и медленно побрел к порогу. И пока шел, то все время оглядывался на меня и на бабушку. А в глазах плавал какой-то вопрос. Возле порога он лег и притворился, что задремал.

— Ишь ты, расстроился, хорошей-то наш...— сказала бабушка и стала покачивать головой.

За столом наступила тягостная минута. Я решил ее сгладить и начал рассказывать что-то веселое. Потом взял у Лены чашку и налил ей чаю. Ей это понравилось, что я сам ей налил, и она томно скривила рот:

— «А по утрам они чай гоняли, как будто для того и родились...»

Бабушка навела на нее ухо:

— Ты чё-то интересно, девка, сказала? Хоть бы повторила, а то худо слышу.

— Это стихи, бабушка.

— Ну как же, я понимаю — все молитвы читаешь да молитвы. А собаку пошто-то гонишь...

— А вам она не надоела?

— Соколко-то? — переспросила бабушка. — Да он же у нас хорошей. А вот вы, товариши, нехороши. Тут вам и варенье, тут и молочко свеженько, а вы — того не хочу да то не надо. Нонче все какие-то обкормлены. А я вон как-то мешочек из-под сахара считай что полгода лизала...

— Как это? — удивилась Лена и сделала большие глаза.

— А так вот, милая. В войну сахарку-то нет, а я чай морковный любила. Вот и лизала мешочек. Там и сладости-то один запашок, а все равно в роту хорошо.

— Надо говорить во рту, — поправила ее Лена и подмигнула мне.

— А старых-то учить — только портить.

Бабушка почмокала со значеньем губами, потом обернулась к окну в сторону створки. Там, по улице, поднимая пыль, шло утиное стадо. Утки шли неторопливо, переваливаясь с боку на бок, побрякивая, постанывая, наверное от жары. Бабушка вытянула шею и сказала про себя нараспев:

— Ох ты, уточка моховая, да где ты ночесь ночевала? Под мостом да под мостищем, под городом-городищем... О-хо-хо! Уточки вы да утятки. Не дают вам полетать наши охотнички. Только оперитесь да откроете глазоньки, а по вам уж из оружей палят. Да и собак на вас напускают. Она чоп-чоп по воде — и вот уж схватила уточку за крыло и к хозяину тащит. Нет, ты, Соколко, не поддавайся. Тебя тоже за уточками скоро пошлют, но ты птичек этих ни за что не губи. Всем пожить охота, поплавать да полетать. Ну чё ты, где ты, Соколко? — позвала она, и Сокол сразу забежал в комнату и встал возле бабушки. Она у него уши погладила, и он ей уткнулся в колени. В глазах у Лены мелькнул огонек:

— Да уберите вы эту псину! Как будто назло...

— О-хо-хо... — заохала бабушка. — Прямо гонит она тебя, а за чё? Ты бы хоть, Соколко, сказал?

И снова над столом повисла тягостная тишина. Сокол

смотрел на Лену. В его глазах опять встало что-то хорошее, человеческое. И сейчас хотелось мне, прямо до боли хотелось ободрить его, приласкать, но меня что-то связывало, опутывало. А может быть, Лена?.. Но все равно я уже себя ненавидел. А Сокол смотрел теперь на меня, и ресницы его покорно моргали.

— Вон какие глазоньки-то! — не выдержала бабушка и поставила свою чашку на блюдец. — Прямо знают чё-то, не говорит. О-хо-хо... Если бы могли сказать наши собаки да кошечки. Сколько бы про себя мы узнали! Разных бы историй наслушались. А поди, больше плохих... — Она головой покачала и переставила стакан с молоком поближе ко мне. Но не успел еще я из стакана отпить, как Лена заговорила. И голос громкий, с обидой:

— У вас тут только собаки да кошечки. А я за сто километров приехала. А вы только — Соколко, Соколко!

— Правильно, Лена, — поддержал я ее. — Не все же нам о собаке... — и не успел я докончить свои слова, как Сокол посмотрел на меня укоризненно и потихонечку побрел из комнаты. Он и в кухне не остался, а пошел на крыльцо.

«Надо же — недотрога!» — подумал я с укором и начал пить молоко. Зато Лена без собаки развеселилась:

— Ох, ушел наконец. Как гора с плеч. Теперь можно поесть.

Она откусила печенье, потом за молоком потянулась. Бабушке это понравилось.

— Кушай давай, наводи живот...

— Ой живот! — засмеялась Лена. — У меня в городе есть знакомый мальчишка. Такой забавный... Валька. Четыре года исполнилось. Как-то пошел с матерью в магазин, а сам бегают, прыгает, не стоит на месте. Мать с ним измучилась, не удержать. А в это время им толстый мужчина попался, вот с таким животом. — И Лена нарисовала в воздухе какой-то арбуз. — Ну вот, Валька увидел мужчину и кричит: мам, а почему у дяди большой живот? Мать смеется: а потому, мол, сынок, что он много прыгал и родителей не слушался. Валька как услышал, так и перестал дурить. Ну вот, идут дальше. А навстречу им — беременная женщина. Плывет, как гусиха. Валька сразу в ладоши захлопал: мама, смотри, тетя тоже много прыгала, да? — Лена засмеялась от всей души, а бабушка нахмурила лоб:

— Нехорошо над тем хохотать.

Ма.— Да ну вас! — обиделась Лена и встала из-за стола.

Бабушка посмотрела на нее внимательно и ничего не сказала.

Потом я с Леной вышел на крыльцо. Она стала искать свои босоножки. Одну нашла сразу, а вторая — как провалилась. И вдруг мы увидели Сокола. Он бегал весело по ограде и что-то подбрасывал. Зубами схватит с земли и подбросит. Я не сразу понял, что в зубах у него была босоножка. И не успел я опомниться, как Лена уже сбежала с крыльца и стала вырывать босоножку. Сокол мотал мордой и не отдавал ее. Он, поди, думал, что с ним играют. Лена потянула изо всей силы, но он заворчал. И тогда она ударила его по морде второй босоножкой. Сокол и теперь ничего не понял. И тогда она стала хлестать его изо всей мочи — лицо у нее покраснело, точно кумач, и на этом багрово-красном сверкали глаза. Сокол уже давно выпустил эту злосчастную босоножку, но Лена все еще хлестала его, избивала. Он почему-то не убегал, а только визжал. Почему он ей не вцепился в руку — я просто не знаю. Ведь зубы у него были крепкие, молодые.

И в эту минуту вышла на крыльцо, наша Оля. Она увидела, что бьют Сокола, и закричала. Этот крик и остановил Лену, и отрезвил. Она дышала тяжело, запаленно, как будто это ее только что били, а не собаку. Потом подняла голову, перевела глаза на меня:

— Ну что, Коля, доволен?.. Тебе собака дороже! Вот и сиди с ней... — Она еще что-то хотела сказать, но не смогла, разрыдалась.

Я хотел ее успокоить, положил ей ладонь на плечо, но она вырвала плечо и забежала в дом. Я даже не успел ничего сообразить, а она уже стояла передо мной с дорожной сумкой.

— Не провожай меня! Я сама... — И сразу же хлопнули воротца. Я даже не пытался ее догнать, потому что знал, что она не простит.

Так и вышло, что не простила. И в то лето я ее больше не видел. Я мучился, обвинял себя, но через день пришло новое горе — заболел сильно Соколко. Хозяйка его, Маруся, сказала, что он поел у них старого супа и отравился. Она пробовала его полечить, давала какие-то таблетки, но таблетки не помогали. А Маруся не отступала. Она решила влить ему в горло топленого масла. Сокол сжимал

крепко зубы, и ложечка с маслом стукалась о зубы, как о преграду. Вот тебе и лечение. Зато воду он пил охотно. Наверное, в теле у него стоял жар.

Я пришел к нему на следующий день. Он лежал в сених на старом одеяле. Я хотел приласкать его, но он оскалил зубы и посмотрел на меня, как на врага. «Так мне и надо! Так и надо!» — подумал я с раздражением, потому что уже ненавидел себя, да и болела душа. Если б в тот день пришлось мне умереть, я б ухватился за это, как за спасение. Но я не умер, со мной ничего не случилось. Зато через три дня не стало Сокола.

Я никогда не забуду, как это случилось, как мы узнали... Хотя за час до этого бедой и не пахло. Да и день начинался какой-то особенный, мягкий. Такие дни случаются часто в августе. И это самые чудесные, благословенные дни. Мы попили за завтраком чаю, а потом вышли на лавочку. Оля рылась в песочке и строила пирамидки, а у бабушки тоже было хорошее настроение. Она радовалась, что уехала Лена, что ее любимый внук лишился невесты и теперь опять будет принадлежать только ей, только ей одной. Она чертила тросточкой какие-то фигурки, а сама посматривала на меня. В глазах ее мелькали веселые светлячки. И голос вышел такой же веселый:

— Чё-то, внучок, нас Соколко забыл?

— Он же болеет.

— Хватит, поди, болеть. А кто за него будет лаять-то? Денежки свои зарабатывать?

— Какие денежки?

Но бабушка не ответила. Она смешно хмыкнула и замурлыкала песенку:

У нас денежки ведутся,
Как водичка в решете-е-е...

Я засмеялся, прервал ее:

— Богатой стать хочешь. Ну-ну...

— И не говори. В богатеньких-то я никогда не была, а вот поись-покушать любила... А чё — я не хвастаю. Я правду говорю... Вот сейчас сию, размышляю — так бы и свекольников испекла!

— Каких свекольников?

— А неуж не знаешь?

— Не знаю, — признался я.

— Ну, я тебе расскажу.— Она положила тросточку рядом, на лавочку, и начала бодреньким голосом: — Это пирожки, Коля, так называются. Но сперва надо достать добру свеколку. А потом помыть хорошенько да изрезать на дольки. А их тоже надо в печку — да высушить. А потом ломтики истолочь и смешать с ягодным отваром. Ох хорошо будет! Сильно вкусна выйдет начинка! Я еще в детстве ела да не забыла. Ох и хорошо! Каждый раз прошу твою мать — давай сделаем такие пироги! Но чё-то не могу допроситься. Так и умру — пирожков не попробую.

— Ты, бабушка, еще двадцать лет проживешь! — утешил я ее, но она на меня рукой замахала:

— А не болтай! Я уж с печи — а ветер встречи. Мне бы хоть еще пару годиков... Это сколько же будет дней?

— Зачем вам?

Она любовно погладила свою тросточку и положила в колени.

— В старости, Коленька, каждый день выходит за год. Вечером вот в постелю ложишься, а душа замирает: то ли проснешься утром, то ли, мол, нет... А вот покушать — не отопруся еще. Я бы и доброй солонинки попробовала. Как ты, Коля, на это?

Я не ответил, как будто прослушал. А у самого в голове засело — зачем она спрашивает про всякую ёрунду. И вдруг понял я, догадался — она же отвлекает меня, отвлекает... Чтобы я про Лену не думал, не мучил себя. А бабушка опять гудит мне на ухо:

— Ране-то как мы солили! Теперь уж не солят так — все время нету да недосуг. А у нас было время.— Она вздохнула глубоко-глубоко.— Сперва, бывало, посолишь огурчики, а на них слой капустки положишь да придавишь кирпичиком. Капуста-то из огурчиков возьмет весь сок...

И в этот миг открылись соседские ворота. Вышла Маруся с опущенной головой. Увидев нас, подошла к самой лавочке:

— Соколко-то у нас умер... Горе на горе и горем покрыло. Вчера еще пять гусят потеряла, а сегодня — собака. Да хоть бы он старый, а то совсем не старый...— Она замолчала и села рядом со мной.— Ты бы, Николай, им занялся.

— А что надо?..— спросил я тихо, потому что сжалось дыхание.

— А надо бы унести на степь... Прибрать к земле

надо,— сказала она о нем как о человеке и сразу заплакала.

Бабушка тоже засопела, поднесла платочек к глазам. А Маруся повторила:

— Так я надеюсь на тебя, Николай.

Так я получил это задание, но лучше б не получать... Мне было стыдно и тяжело. Я же ведь Лену во всем обвинял и себя вместе с Леной. Отхлестали, мол, оскорбили его, и вот он умер с расстройства.

— Так ты уж постарайся,— сказала опять Маруся.— Не сохранили дак. Эх ты, Соколко, Соколко...

Часа через два я зашел к ним в ограду. Сокол лежал в сенках на том же месте. Мне вначале показалось, что он спит, но когда потрогал — он был как чугунный. Я хотел поправить у него лапы, но они тоже не гнулись. Я завернул его в старое одеяло и положил в картонную коробку, а коробку стянул бельевой веревкой. Так и понес его на руках... Так и понес... Когда он был уже за оградой, ко мне подошли бабушка с Олей.

— Ну чё, Соколко, прощай давай. Все там будем, да не в одно время...— Бабушка еще хотела что-то сказать, но ее душили слезы. Наконец переломила себя: — Ты, Коля, его в сухое место зарой. Не приведи господь — в мокроту... Потом и меня так же, Коленька. В сухой песочек положьте...— Она опять задохнулась, мешали слезы.— Ну, прощай еще, Соколенок. Мало пожил ты, да много сделал...— Она покачала обессиленно головой и оперлась на тросточку.— Одни уж, Коля, идите. А у меня ноги чё-то отказывают. Идите...

И с той минуты я жил как во сне. Я не помню, как прошли мы деревню, как оказались у самого бора. Я не помню, как вырыл на степи ямку, как положил его туда, как забросал землей. Я не помню, что делала тогда Оля. Но вот что-то спросила она, и я очнулся. Передо мной был дом и наша ограда, а за спиной уже кричала Маруся. Я видел, что она кричит, но понять все равно не мог. Тогда она подошла поближе:

— Николай, зайди к нам на минутку. Мой-то муженек проснулся и тебя требует. Какой-то разговор есть...

Я пообещал. И только повернул к их воротам — у меня отказали ноги. Они все слышали, чувствовали, но шагаты не могли. Я еле-еле добрал до лавочки и почти упал на нее. Сердце колотилось, выскакивало.

— Николай, да где ты? — кричала Маруся. — Мы ждем тебя! Заходи-и...

.. Но я не отозвался. Я ничего не мог делать. Я не мог говорить. «И не будет тебе прощенья, не будет!» — металась душа. И везде чудились мне глаза его. Я поднял голову, а на небе туча, дождь собирается. Но нет, нет, это не туча, а это Сокол бежит по небу, это его уши, его морда, глаза... Но меня отвлекли:

— Колька, сколь ждать тебя! — Это кричал сам хозяин дома.

Михаил стоял на крыльце, очень высокий, сердитый. Он смотрел на меня и точно не видел.

— Нету его, — сказал он кому-то и повернулся спиной.

— Нету его. Нету Соколки... — повторил я за ним и зажмурился. Мне совсем не хотелось жить.

Но я не умер, а умерла моя бабушка. Маруся говорила, что это Соколко ее туда утянул. Одна душа, мол, другую окликнула, вот она и ушла.

...И все мы тоже уйдем, но будет ли встреча? И где ты, Сокол, сейчас? Где ты, бабушка? Где же ты, сестренка моя, где отец? И будет ли встреча наша, соберемся ли на том берегу...

Собака лаяла торопливо, захлебываясь. И я опять погрозил кулаком — дурная, мол, ты, безмозглая, разве можно лаять на дождь... Но прошла минута — и у меня отлегло... Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкусит сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего. И ты, Соседка, тоже лай, веселись, пока можно. И я улыбнулся, опять пожалел ее. Стоит сейчас, наверное, вся мокрая и взъерошенная... Но в это время раздался звонок.

— Вот и мы. Сейчас будем лекарство пить и выздоравливать... А ты почему какой-то другой?

— Да вот Соседка расстроила. Стоит и лает часами. Из-за нее, наверное, и дождь идет.

— Из-за нее! Конечно, из-за нее! — смеется жена. — И в глазах у нее что-то мелькает, что-то торопится... И все любят эти глаза...

— Ну так будем лечиться? — Глаза смеются, играют. Они так на кого-то похожи, эти глаза. И я опять вспоминаю о Соколе.

СОДЕРЖАНИЕ

И. Стрелкова, Дом на родной земле

3

ПОВЕСТИ

Над зыбкой	9
Легкая	78
На чужой стороне	108

РАССКАЗЫ

Все пройдет, Мария...	231
Северный ветер	243
В командировке	254
Когда прошли дожди	264
«Подари мне сизаря...»	272
Танцуем без перерыва	280
Соловьи	305
Воспоминания о Соколе	311

Литературно-художественное издание

Для старшего возраста

Потанин Виктор Федорович

НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ

Повести и рассказы

Ответственный редактор *О. Б. Третьяченко*. Художественный редактор *Г. Ф. Ордынский*.
Технические редакторы *Г. Г. Рыжова*, *Е. В. Буташина*. Корректоры *Г. Ю. Жильцова*,
А. П. Саркисян.

ИБ № 10891

Сдано в набор 12.05.88. Подписано к печати 14.10.88. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. книжно-журн. № 2. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 18,48. Уч.-изд. л. 16,92. Тираж 100 000 экз. Заказ № 8699. Цена 1 р. 10 к. Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М., Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Росглаволиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сушеский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Larisa_F





